

А. С. ГРИН



3

— А. С. ГРИН

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

А. С.
ГРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 3

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Вл. Россельса.

Составление
В. Ковского, Вл. Россельса,
Е. Прохорова.

Иллюстрации художника
С. Бродского.

© Издательство «Правда». 1980.
(Составление, Примечания).

АЛЫЕ ПАРУСА

Феерия

Нине Николаевне Грин
подносит и посвящает

Автор

ПБГ, 23 ноября 1922 г.

I

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой, он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее, у детской кровати — нового предмета в маленьком доме Лонгрена — стояла взволнованная соседка.

— Три месяца я ходила за нею, старик,— сказала она,— посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

— Когда умерла Мери? — спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы — будь теперь они все вместе, вдвоем — был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы, заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

— У нас в доме нет даже крошки съестного,— сказала она соседке.— Я схожу в город, и мы с девочкой переберемся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».

Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза,— сказала она,— и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходилась, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же,— прибавила она,— без такого несмышленища скучно.

Лонгрэн поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, заноса ножку через порог, Лонгрэн решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное

сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрэн добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» — на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымысленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрэна — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгрэном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочек.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, поглядывая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревестишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повищенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрэн выходил на мостик, насланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого досчатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность,— так силен был его ровный пробег,— давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равня действием глубокому сну.

В один из таких дней, двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, курая, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено-плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю,

сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

— Лонгрен! — закричал смертельно перепуганный Меннерс. — Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!

Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее.

— Лонгрен! — взывал Меннерс, — ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрен, — донеслось к нему глухо, как с крыши — сидящему внутри дома, — спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул:

— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Асоль, проснувшись, увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

- Спи, милая,— сказал он,— до утра еще далеко.
- Что ты делаешь?
- Черную игрушку я сделал, Ассоль,— спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не устывая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, порашил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери,— им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Меннерсу — большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они — поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачум-

ленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два — три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, перемимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз-навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения; она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: — «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль, — говорил Лонгрэн, — разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». — «Как это — уметь?» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, оставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, — забраться к нему на колени и, вертась в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, — диковинным,

поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем может быть слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. — «Ну, говори еще», — просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. — «Эх, вы, — говорил Лонгрен, — да я неделю сидел над этим ботом. — Бот был пятивершковый. — Посмотри, что за прочность, — а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег.

Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрэн отпускал ее в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрэн сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, — размышляла Ассоль, — она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. — «Ты откуда приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: — Я приехал... приехал... приехал я из Китая. — А что ты привез? — Что привез, о том не скажу. — Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать

слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: — «Ах, господи! Ведь случись же...» — Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обжевав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском боль-

шом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.

Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком — выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые как песок и блестящие как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

— Теперь отдай мне, — несмело сказала девочка. — Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?

Эгль поднял голову, уронив яхту, — так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был оваян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полуоткрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, — сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту. —

Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экнпажем, была выброшена на песок трехвершковым валом — между моей левой пяткой и оконечностью палки. — Он стукнул тростью. — Как зовут тебя, крошка?

— Ассоль, — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

— Хорошо, — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. — Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

— Лодочки, — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, — потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала — ведь так?

— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. — Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

— Я это знал.

— А как же?

— Потому что я — самый главный волшебник.

Ассоль смутилась: ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, вели-

чественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой поворот.

— Тебе нечего бояться меня, — серьезно сказал он. — Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. — Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, — решил он. — Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет». — Ну-ка, — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), — ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь; словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как невымытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова.

Подумав, он продолжал так:

— Не знаю, сколько пройдет лет, — только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. — «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. — «Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко

отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

— Это все мне? — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. — Может быть, он уже пришел... тот корабль?

— Не так скоро, — возразил Эгль, — сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? — это будет, и конечно. Что бы ты тогда сделала?

— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. — Я бы его любила, — поспешно сказала она, и не совсем твердо прибавила: — если он не дерется.

— Нет, не будет драться, — сказал волшебник, таинственно подмигнув, — не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окapyвая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

— Ну, вот... — сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватила обеими руками за передник отца. — Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погоня за упущенной яхтой.

Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:

— Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

— Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?

— Придет,— спокойно ответил матрос,— раз тебе это сказали, значит все верно.

«Вырастет, забудет,— подумал он,— а пока... не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего — шутка! Смотри, как сморило тебя,— полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».

Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо.

— Дай, хозяин, покурить бедному человеку,— сказал он сквозь прутья.— Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отравя.

— Я бы дал,— вполголоса ответил Лонгрен,— но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.

— Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.

— Ну,— возразил Лонгрен,— ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.

Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:

— Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудака-чудаковский, а еще хозяин!

— Слушай-ка,— шепнул Лонгрен,— я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, чтобы намылить твою здорвенную шею. Пошел вон!

Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой,— для себя, разумеется,— сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:

— И не дал мне табаку.— «Тебе,— говорит,— исполнится совершеннолетний год, а тогда,— говорит,— специальный красный корабль... За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому,— говорит,— волшебнику — верь». Но я говорю: — «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.

— Кто? Что? О чем толкует? — слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:

— Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут — тетки, вам бы не прозевать! — заморского принца, да еще под красными парусами!

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

— Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону вос-

клицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высывая языки. Вдохнув, девочка побежала домой.

II

ГРЭЙ

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов — серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью — извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть — воображаемое продолжение галереи — начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно несклонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грэе еще

тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т. е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

— Зачем ты испортил картину?

— Я не испортил.

— Это работа знаменитого художника.

— Мне все равно,— сказал Грэй.— Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неумоимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутылки зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками: везде — плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего Аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попросить, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блеснули в его повеселевших глазах.

— Ну, вот что,— говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком,— видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал ее «Рай», и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца,— так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: — «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив», но и то, по зрелом размышлении...

— Кажется, опять каплет из крана,— перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом.— Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: — «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю»! Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой — на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опусто-

шит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.

Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

— Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

— Я выпью его,— сказал однажды Грэй, топнув ногой.

— Вот храбрый молодой человек! — заметил Польдишок.— Ты выпьешь его в рай?

— Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? — Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак.— Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клочкотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; веселые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры; там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там — репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть

главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу.

Грэй замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.

— Очень ли тебе больно? — спросил он.

— Попробуй, так узнаешь, — ответила Бетси, накрывая руку передником.

Нахмутив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный как мука Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.

— Мне кажется, что тебе очень больно, — сказал он, умалчивая о своем опыте. — Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!

Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.

Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не

может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.

Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, вышившую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.

Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения,— эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге — их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну.

Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.

Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил — не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными семейными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец — в смерти всех князюшек. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.

Таким образом, Грэй жил в своем мире. Он играл один — обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребями, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно-пестрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.

Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем получив стройное выражение стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада — просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол — во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, все — в прекрасном, поражающем соответствии.

Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверх была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створки;

надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные горами книг. Там — раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там — свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали; здесь — чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.

Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бугшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бугшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчатъ судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего собственно

не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела — взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал — но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты, с черным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных

экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.

В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался, где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея.

Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди.

Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шкуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.

В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть — для настоящего и будущего — проиграл в карты. Он хотел быть «дьявольским» моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купаньи, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял все, кроме главного — своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.

Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: — «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: — «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном «Роза-Мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: — Да. Ступайте к «Розе-Мимозе».

Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грэй шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось,

что петель якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.

Однажды капитан Гоп, увидев как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал:

— Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.

И он стал читать — вернее, говорить и кричать — по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».

В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю. Но если бы ты ви де ла, как я; посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я: приложи к уху раковину: в ней шум вечной волны; если бы ты любила, как я — всё, в твоём письме я нашел бы, кроме любви и чека, — улыбку...» И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок.

Все было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.

Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, восторжеслись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему сказали, где мать; он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на

поседевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием: ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца.— «О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных»,— слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: — «и мальчику моему...» Тогда он сказал: — «Я...» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела: в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах — вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь.— «Я сразу узнала тебя, о, мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя — во всем, что он утверждал, как истину своей жизни,— видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Таковыми игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ,— здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием,— теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели все, что было на буфете и в кухне.

Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем; трехмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грэй плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лисс. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится с своими игрушками.

III

РАССВЕТ

Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэй «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка.

Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.

Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.

В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда.

Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях.

Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак: смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне

черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грэй, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды; мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум черного города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.

— Передай Летике,— сказал Грэй,— что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки.

Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загредев о борт веслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.

— Куда прикажете плыть, капитан? — спросил Летика, кружа лодку правым веслом.

Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.

Грэй взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали весла, все остальное было морем и тишиной.

В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: — «Я жду, я вижу, я скоро узнаю...» — но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения.

Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носи-

лись искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибывало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.

— Здесь будем ловить рыбу,— сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.

Матрос неопределенно хмыкнул.

— Первый раз плаваю с таким капитаном,— пробормотал он.— Капитан дельный, но непохожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.

Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.

Грэй сел у костра.

— Ну-ка,— сказал он, протягивая бутылку,— выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.

— Простите, капитан,— ответил матрос, переводя дух.— Разрешите закусить этим...— Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: — Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную.

Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал:

— Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?

— Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.

— А вы?

— Я? Не знаю. Может быть. Но... потом.

Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на

что был мастер, к великому восхищению команды:

— Из шнура и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист.— Затем он пощекотал пальцем в коробке червей.— Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался — и его сомы съедят.

Наконец, он ушел с пением:

— Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, селедка,— удит Летика с горы!

Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» — не здесь.

Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырал и затек. Бледно светились звезды; мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не долее тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и рассматривал из любопытства в рот пойманным рыбам — что там? Но там, само собой, ничего не было.

Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва — с впечатлением, что под самой спиной Грэя — шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растек-

лась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.

Летки не было; он увлекся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымились и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, на- сильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.

Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого темной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригнулся к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина.

Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке: спали темные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал:— «Капитан, где вы?» — но капитан не слышал его.

Когда он наконец встал, склонность к необычному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с таким удивлением, с каким, верно, смотрел Иона на пасть своего меблированного кита.

— А, это ты, Летика! — сказал Грэй, — Посмотри-ка на нее. Что, хороша?

— Дивное художественное полотно! — шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. — В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.

— Тише, Летика. Уберемся отсюда.

Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.

Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал:

— Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?

— Должно быть, вон та черная крыша, — сообразил Летика, — а, впрочем, может, и не она.

— Что же в этой крыше приметного?

— Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.

Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус.

Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека. У окна сидел угольщик,

обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна.

Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грее настоящего капитана — разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в свете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грея, то на тарелку, с которой отдира л ногтем что-то присохшее.

В то время, как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, поглядывая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.

— Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, — спокойно заговорил Грэй. — Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?

Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал — единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело.

— Гм! — сказал он, поднимая глаза в потолок. — Это, должно быть, «Корабельная Ассоль», больше быть некому. Она полоумная.

— В самом деле? — равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток. — Как же это случилось?

— Когда так, извольте послушать. — И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила

на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой.— С тех пор так ее и зовут,— сказал Меннерс— зовут ее «Ассоль Корабельная».

Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар — одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнесся к л и н и ч е с к и. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись, Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал:

— Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он...

Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рывкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули:

Корзинщик, корзинщик,
Дери с нас за корзины!..

— Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! — закричал Меннерс.— Уходи вон!

...Но только бойся попадать
В наши палестины!..

— взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.

Хин Меннерс возмущенно пожал плечами.

— Дрянь, а не человек,— сказал он с жутким достоинством скопидома.— Каждый раз такая история!

— Более вы ничего не можете рассказать? — спросил Грэй.

— Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитёй должен был самостоятельно поддерживать бременное пропитание...

— Ты врешь,— неожиданно сказал угольщик.— Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел.— Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грэю: — Он врет. Его отец тоже врал; врила и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза, или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься — как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле.— «Я тебе что скажу,— говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню,— моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я,— говорит,— так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристаю́т к берегу, отдаю́т причал и честь-честью, точно живые, сядут на берегу закусы́вать». Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю:—«Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке». — «Нет,— говорит она,— я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает бо́льшую рыбу, какой никто не ловил». — «Ну, а я?» — «А ты?» — смеется она,—ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его знаю!

Считая, что разговор перешел в явное оскорбление,

Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился:

— Прикажете подать что-нибудь?

— Нет,— сказал Грэй, доставая деньги,— мы вставем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?

— Добрейший капитан,— сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом,— не понять э того может только глухой.

— Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай!

Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда,— одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь, Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх — знойному солнцу,— как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.

IV

НАКАНУНЕ

Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с Алыми Парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.

Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное

трехзначное число.— «Вот сколько вы забрали с декабря,— сказал торговец,— а вот посмотри, на сколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков.

— Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: — «Мне, милая, это больше не выгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мною, так как посоветовал сходить в «Детский Базар» и «Аладинову Лампу».

Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланным оживлением:

— Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшнейший магазин; там куча народа. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.

Лонгрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лонгрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.

Ассоль была еще в «Аладиновой Лампе» и в двух других лавках, но ничего не добилась.

Оканчивая рассказ, она собрала ужинать: поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрэн сказал:

— Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить — на «Фицроя» или «Палермо». Конечно, они правы,—задумчиво продолжал он, думая об игрушках.—Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.

— Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.

— Нет! — Лонгрэн припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу.— Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.

Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться — значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: — «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лонгрэн сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийсядохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.

— Ты мнлая,— просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.

Ассоль некоторое время стояла в раздумьи посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкапу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз,— был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но тут же вспомнив, что обрезки материн лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на свое отражение.

За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре, лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний; каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль — был совершенно оригинален, — оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова «очарование».

Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.

Пока она шьет, посмотрим на нее ближе — во внутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерица игрушки, другая — живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл и иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением — определенно человеческое, и — так же, как человеческое — различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще сверх видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда — и это продолжалось ряд дней — она даже перерождалась; физическое противостояние жизни

проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты были для нее счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния.

В другое время, размышляя обо всем этом, она искренно дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности; теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем, случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: — «Она тронутая, не в себе»; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина, она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих — лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви, — здесь немислимо. Так, в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.

Меж тем, как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.

Ее не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: — «Здравствуй, бог!», а вечером: — «Прощай, бог!»

По ее мнению, такого короткого знакомства с богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютятся и питаются по обстоятельствам.

Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной, тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сидела, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец, ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сои, действительно, как бы лишь ждал этой подачки; он пришел, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинувшись ее улыбке, сказал вокруг: «Ш-ш-ш-ш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.

Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет — не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен; верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блеснула утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела

раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой и землей.

Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.

Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем,— тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.

Она шла, чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.

Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению.

Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки — позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем, И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. — «Фук-фук», — отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. — «Здравствуй, больной», — сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. — «Необходимо посидеть дома», — это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. — «Страхни толстого пассажира», — посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые — она знала это — говорят басом.

То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойной тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили ее чем могли — листьями — и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет

спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув среди золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, — глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там — на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула — по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грэй напомнило о себе, но считая его не более, как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На ее пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом,— с в о и м не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой.— «Чья это шутка? Чья шутка? — стремительно вскричала она.— Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вешнее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассматривала его она — всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так,— с л у ч а й н о, как говорят люди, умеющие читать и писать,— Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

V

БОЕВЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Когда Грэй поднялся на палубу «Секрета», он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность — облачное движение чувств — отражалось в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.

— Вы быть может ушиблись? — осторожно спросил он.— Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт; с премией. Да что с вами такое?..

— Благодарю,— сказал Грэй, вздохнув, как развязанный.— Мне именно не доставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен,

сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все... Да, выгодный фрахт мне нужен как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.

— Что же случилось?

— Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких распросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт; что местный док занят.

— Хорошо,— бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя.— Будет исполнено.

Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокожно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: «Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.

Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение — мысль, действие — греет его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.

Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый

ответ. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный; густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» — «прекрасно» — «великолепно» — «совершенно»; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени — ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

— Довольно образцов, — сказал Грэй, вставая, — этот шелк я беру.

— Весь кусок? — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. — В таком случае, сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

— Две тысячи метров. — Он с сомнением осмотрел полки. — Да, не более двух тысяч метров.

— Две? — сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. — Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак; прошу вас. Две тысячи... две тысячи по... — Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй

был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться.— Удивительный, наилучший шелк,— продолжал лавочник,— товар вне сравнения, только у меня найдете такой.

Когда он наконец весь изошел восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ, флейтист, осыпал пение струн лепетом горлового свиста; простая песенка, которою они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зренья, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его характеру, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Минував переулок, Грэй прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.

— Ба, да это ты, Циммер! — сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». — Как же ты изменил скрипке?

— Досточтимый капитан,— самодовольно возразил Циммер,— я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, э? Виолончель — это моя Кармен, а скрипка...

— Ассоль,— сказал Грэй.

Циммер не расслышал.

— Да,— кивнул он,— соло на тарелках или медных трубочках — другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства — я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.

— А что скрывается в моем «тур-люр-лю»? — спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой.— Ну-ка, скажи?

— Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда — птица, иногда — спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.

— Да,— сказал Дусс,— я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лести.

— Вот что,— сказал, смеясь, Грэй.— У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или — что еще хуже — в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами,— нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев; соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте по вечеру на «Секрет»; он стоит неподалеку от головной дамбы.

— Согласен! — вскричал Циммер, зная, что Грэй платит, как царь.— Дусс, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!

— Да,— просто сказал Грэй.— Все подробности я вам сообщу на «Секрете». Вы же...

— За букву А! — Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю.— Но... как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту...

Грэй дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму — выполнить срочно, в течение шести дней. В то время, как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; еще не вернулся Летика и не прибы-

ли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантенем.

Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, останков — иногда месячных — в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэнзмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев: черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу; не удивительно, что команда «Секрета», воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.

Пантен, конечно, сообщил им приказание Грэя; когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натываясь на стулья. Наступал вечер; сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.

— Все готово, — мрачно сказал Пантен. — Если хотите, можно поднимать якорь.

— Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, — мягко заметил Грэй. — Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.

Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.

— Это, конечно, так, — сказал он. — Впрочем, я ничего.

Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился; то, прислу-

шибаясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летика. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.

— «Лети-ка, Летика»,— сказал я себе,— быстро говорил он,— когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплеывая в ладони. У меня глаз, как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?

— Летика,— сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам,— я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?

— Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.

— Говори.

— Не стоит говорить, капитан; вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.

— Куда?

— Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.

Он повернулся и вышел с странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика:

«Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку; при нем огород. Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как меморий заканчивался, несколько неожиданно, словами: «В счет расходов приложил малость своих».

Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантенем, но

вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.

— Мы ошвартовались у дамбы,— сказал он.— Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят: на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на «Секрет»? Пантен просит вас придти, говорит, у него туман в голове.

— Да, Атвуд,— сказал Грэй,— я, точно, звал музыкантов; подите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся; вы и Пантен, разумеется, тоже слушаете меня.

Атвуд взвел, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грэй провел, закрыв руками лицо; он ни к чему не приготавливался и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.

— Ничего особенного,— сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика.— Мы простоем в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, но куда — не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.

— Да,— сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить.— Так вот в чем дело, капитан... Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.

— Благодарю! — Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел —

нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел — его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен: вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил:

— Как это вам пришло в голову, капитан?

— Как удар твоего топора, — сказал Грэй. — Циммер! Покажи своих ребятишек.

Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо.

— Вот, — сказал Циммер, — это — тромбон; не играет, а палит, как из пушки. Эти два безусых молодца — фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они — великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла — Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно — разочарованный вид, но этот бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грэй?

— Изумительно, — сказал Грэй. — Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными «скерцо», «адажио» и «фортиссимо». Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через два часа.

Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно: «Один... два... тридцать...» и так далее, пока не сказал «тысяча». Такое упражнение действовало: он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно,

хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэя начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.

Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба; лево. Стой: еще четверть». «Секрет» шел с половиною парусов при попутном ветре.

— Знаете,— сказал Пантен Грэю,— я доволен.

— Чем?

— Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике.— Он хитро подмигнул, светя улыбке огнем трубки.

— Ну-ка,— сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чем дело,— что вы там поняли?

— Лучший способ провезти контрабанду,— шепнул Пантен.— Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!

— Бедный Пантен! — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться.— Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.

Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному.

VI

АССОЛЬ ОСТАЕТСЯ ОДНА

Лонгрен провел ночь в море; он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдье — вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время; кроме того, он

боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг, и возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота.

Когда Лонгрэн вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца; на этот раз однако в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо — то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрэну так непонятно, что он быстро спросил:

— Ты больна?

Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать — что именно; она сказала:

— Нет, я здорова... Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.

— Что бы я ни надумал, — сказал Лонгрэн, усаживая девушку на колени, — ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.

— Да, — издаലെка сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться. — Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. — Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. — Да, поскорей, милый; я жду.

— Ассоль! — сказал Лонгрэн, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. — Выкладывай, что случилось?

Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно-вниматель-

ной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь.— Ты странный,— сказала она.— Решительно ничего. Я собирала орехи.

Лонгрэн не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок; перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов.

— Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: — «Лонгрэн скоро вернется». Не думай и не беспокойся обо мне; худого ничего не случится.

После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом; затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая э тому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрэн мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнцем, упало через море к ее ногам.

Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисс. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идет, но не идти — не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.

Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда пугая и забывая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохо-

жих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидела того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась.

— Здравствуй, Филипп,— сказала она,— что ты здесь делаешь?

— Ничего, муха. Свалилось колесо; я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?

Ассоль не ответила.

— Знаешь, Филипп,— заговорила она,— я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.

— Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась? — изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.

— Не знаю.— Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега,— зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: — Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому, на всякий случай,— прощай; ты часто меня возил.

Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.

— Чудеса,— сказал угольщик,— поди-ка, пойми ее. Что-то с ней сегодня... такое и прочее.

— Верно,— поддержал второй,— не то она говорит, не то — уговаривает. Не наше дело.

— Не наше дело,— сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.

VII

АЛЫЙ «СЕКРЕТ»

Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Незнакомый охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.

Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающийся горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию.

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно поворачивающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по рекам в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.

Охотник, смотревший с берега, долго протирает глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.

Пока «Секрет» шел руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу — он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.

— Теперь,— сказал Грэй,— когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Забудьте — я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна и иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.

Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так:

— Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме нее, может быть именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать draжайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем. Что до меня, то наше начало — мое и Ассоль — останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?

— Да, капитан.— Пантен крикнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком.— Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку — свой он проиграл в карты.

Прежде чем Грэй, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. «Секрет» шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя — ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели; полный тех мыслей, которые опережают слова.

К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал — «лечь в дрейф!».

— Братцы,— сказал Грэй матросам,— нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.

Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Панте-ном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царил некое полупраздничное остоленение; настроение было неслужбное, сбитое — под знаком любви, о которой говорили везде — от салона до машинного трюма, а часовой минного отделения спросил проходящего матроса: — «Том, как ты женился?» — «Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», — сказал Том и гордо закрутил ус.

Некоторое время «Секрет» шел пустым морем, без берегов; к полудню открылся далекий берег. Взяв под-

зорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и, действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: — «Опять жучишка... дурак!..» — и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на си-ней морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами:

«Налейте, налейте бокалы — и выпьем, друзья, за любовь»... — В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение.

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как

издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора в двор, насккивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль.

Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеинным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать — яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи — она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича:

— Я здесь, я здесь! Это я!

Тогда Циммер взмахнул смычком — и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка — все двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя мое! — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. — Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней;

пушистым котенком. Когда Ассоль решила открыть глаза, покачиванье шляпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета», — все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня — как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте — в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебнио. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.

— Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? — сказала она.

— Да.— И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

Меж тем на палубе у грот-мачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом, в песне золотых труб, святое вино.

— Ну, вот...— сказал он, кончив пить, затем бросил стакан.— Теперь пейте, пейте все; кто не пьет, тот враг мне.

Повторить эти слова ему не пришлось. В то время, как полным ходом, под всеми парусами уходил от

ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках.

— Как понравилось оно тебе? — спросил Грэй Летику.

— Капитан! — сказал, подыскивая слова, матрос. — Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!

— Что?!

— Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье...

БЛИСТАЮЩИЙ МИР

Роман

«Это — там...»

Свифт

ЧАСТЬ I

ОПРОКИНУТАЯ АРЕНА

I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» «Человека Двойной Звезды»; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, — не заслучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба — любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала — отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара — негра из африканской Либерии, — раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал истинно-небывалое. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду,— говорила афиша,— 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя «Человеком Двойной Звезды».

*Не имеющий веса
Летящий бег
Чудесный полет*

«Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до 3-х секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды — величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».

Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения: Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д.— только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

— Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он — редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не мог выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно один раз, ни больше ни меньше,— без гоиорара, без угощения, без всякого иного вознаграждения.— Эти три «без» Агассица свистнули солидно и вкусно.— Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе, я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем,— без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделяясь в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним,— над этой вот самой чернильницей,— не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит.— «Вот все, что я умею,— сказал он, когда мы уселись опять,— но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил — что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами.— «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются. Так это является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался — и даже — зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично.— «Время от времени,— сказал он,— слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот — единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера.

Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдосталь полюбовавшись интересным портретом, спросил: — «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: — «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится «царь природы». И капли пота покроют его лицо...»

II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что «Двойная Звезда» (как приказал он обозначить себя в афише — граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанно-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, — которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница-сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и брэнчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом, до последнего момента, что таинственный гастролер — шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене — беглый преступник. Они же сочинили, что «Двойная Звезда» — карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмирившего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», — особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о «Двойной Звезде»; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг,

что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора — измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний — застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря не важна отдельно каждая сушащая пылинка; не так уж важен и ответ луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль — и Цезарь.

III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея, — в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден, стоя, переминаясь с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих как люстры на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стрежи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и се-

мейные споры. Еще выше жались на неразгороженных скамьях улица — непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка — галерея; силась высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение а *giorno*, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля, — и лица и выражения. Цирк, залитый светом, от укрепленных под потолком трапезий, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пиюпитров, до свежих опилок, устилавших арену, — был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства — скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды, — шелеста движений и дыхания десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов — традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

IV

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агассиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, гро-

моздя впечатление на впечатление, с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился «Двойная Звезда».

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони — клоунов, клоуны — акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остолбенение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей, на белых астурийских конях, вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вакх и вакханка — в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шалых тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до

свиданья» — с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее, Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал — нет.

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

— Галль, все проходит! Вы — человек сильный. Мне искренно жаль, что это случилось с вами; что причиной вашего горя — я.

— Только вы и могли быть, — сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. — Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

— Как?!

— Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

— Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы, как на несчастье, на любовь, если поразила она меня без судьбы.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

— Любовь и судьба — одно... — Галль помолчал. — Или... что вы хотите сказать?

— Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, — Руна скорбно двинула обнаженным плечом, — что такой судьбы я... недостойна. — Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. — Но я все же хочу, чтобы эта судьба была особенная.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

— Конечно, я вам не пара, — сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом. — Вы достойны быть королевой. Я — обыкновенный человек. Однако

нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «добрый ли я человек»? А нищему все равно.

— Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане,— сказала Руна.— Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз,— едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка... Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

— Экстаз?

— Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немоги слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

— Я не меняю мнений, не меняю привязанностей,— сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая, для полноты впечатления, все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода — не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу,— она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чув-

ство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство, спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же, при среднем росте, казался выше благодаря эполетам.

Галль — интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...» Конец фразы: «если бы — со мной...» — застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

V

Последний перед выходом «Двойной Звезды» номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстенными веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верх, потрепав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; середина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержавшись на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

— Сыграйте,— сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех,— сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например, «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

«Двойная Звезда»,— каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту,— был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки, с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький, строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо гились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинута.

Он отошел к барьеру, притопнул и, не спеша, победоносно, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не успевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько

раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения — на пустяки, может быть треть секунды, — но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжелой гири против золотника, — так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось? Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогард сказал: — «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: — «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...» — «Факирство, гипноз!» — «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», — возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал «Двойная Звезда», сея тревожные ожидания, разраставшиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже маниаки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!» с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много выдавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как «Двойная Звезда» выступил на арену. Теперь он увеличил скорость,

делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: — «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!».

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. «Двойная Звезда» несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда, внезапно, за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, замечалось подкошенное внимание, — зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к дюстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы, — теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась внизу.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взывал фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завывала; крики: «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие, в припадке внезапной слабости или головокружения, сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеций и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе «Двойная Звезда».

— Оркестр, музыку!!.— кричал Агассиц, едва созная, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум, быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд сверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги...» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

VI

Когда, вновь коснувшись земли, «Двойная Звезда» стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться,—исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел, через конюшни, в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову, в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в

одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

— Вот он умер,— сказал Друд,— погибла жизнь и, без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью — безотчетной грустью горца, взирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным восторгом — чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда спутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гнев и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Эмея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить, или, если в том не успеют, окружат его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование — абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития; Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк — так ясно, что в восторге, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгались во всем их безобразии сцены темного наступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился, — тоже, — наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая, главным образом, в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадов миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь, подобно мартышкам. Все звуки, поднимающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутнл звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а франт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезла по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку величиной, вблизи же являлись двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков

пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромные стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка закрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили так старинной мелодии, и устремился к гостинице, где времени жил.

VII

Тщето искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий «забыть» необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи,— плоды бессонной ночи,—украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому, как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить,— лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпульку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнотизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса, с продувной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синематограф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера обыгрывал ис-

куснейших шахматистов своего времени. В силу того, что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара, с сверхсметной прибавкой фантазии, или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь, за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; поварята, гримасничая и надевая у плиты друг друга щелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк, за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надевавшихся умиловить контролера сигарой или проскокчить, уловив момент,— внутрь.

— Вздор! — сказал повар, выслушав описание поварального бегства зрителей.— Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам,— не было.

— Легко сказать — «вздор», — возразил лакей, — тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с то-

бой говорить... Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

— А что тогда будет? — воинственно спросил повар. — Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

— Я? Вру?

— Ну, не врешь, так сочинишь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

— При чем тут подпорки, — возразил, вспотев от отчаяния, лакей, — когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

— Вздор! — сказал повар. — Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испуга человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

— Уж всем известно, что вы неверующий, — заговорила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства, — а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек, — дело было ночью, — и просится ночевать...

— И я хорошо помню, — перебил лакей, — как вышел из двери солидный, вежливый господин. — «Что там произошло?» — спросил я его, и вижу, что он сильно взволнован; он мне сказал: — «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» — И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести — «Вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

— Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: — «Что? разве не была я права?» — Она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой ни-

кто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси, или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

— Нет, нет! Не говорите! Не говорите! — воскликнули женщины. — Ай, что же вы там увидели?

— Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. — «Обожаемые мои члены! — сказал он и снял правую ногу. — Мои любезные оконечности!..» — Тут, — ей-богу, я сама это видела, — отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно, и... и...

— Ну?! — подхватили слушатели.

— И преспокойно снимает с себя голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картинно уронила руки и откинулась, переводя дух.

— Ну, уж это ты врешь, — сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки. — Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

— Я давно замечаю, — хлестко возразила она, — что вы ведете себя как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря поверх огромных очков, человек в переднике и войлочных туфлях. Это был коридорный с верхнего этажа.

— Странное дело, — сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом. — Что? Я говорю, что это странное

дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.

Наступила вязкая пауза.

— Какое же это странное дело? — спросил лакей.

— Как вспомню,— мороз подирает,— сказал коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров.— Слушайте. Сегодня, во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а притворена,— постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того как я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер,— еще раз дернулась ручка, затем раздались шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портьеры, отведя ее, он остановился и повернулся,— но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взойшел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

— Понимаете?

— Черт побери! — сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал «вздор», а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира.— Как же он мог оказаться у себя дома?

— Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи,— пояснил коридорный,— даже мыши не пролезть в замочную скважину.

— А что сказал управляющий?

— Он сказал: «Гм... только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью побежал вверх, должно быть затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жильца.

— Он редко бывает дома,— сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верхнем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей нижних. Бетси пропела:

— Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройти по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок.

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает сам с собой, или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесплезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеянее становилось его лицо, и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые сыграли для него роль легендарного Ньютонова яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким в таких случаях стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

— А знаете ли вы, кто такой жилец 137-го номера, кто этот человек, попадающий домой без ключа, кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он,— знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

— Прямо?! — воскликнул лакей. — Так вот! — Он встал, картинно опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процживания макарон, крикнул: — Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, — этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ах!», и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к себе рукой Бетси и крича: — «Идите скорей, вас требует управляющий».

— По-вашему, все мошенники! — вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях, Бетси. — Это, может, вы летаете, а не Айшер!

В бешенстве человеческих отношений перебрасывается быстрый и тонкий луч холодного света — фонарь полиции. Когда коридорный донес управляющему гостиницей, что изнутри номера 137 дергалась ручка двери, — луч фонаря пристально остановился на лице управляющего и, сверкнув приказательно, позвал к руке, державшей фонарь. Рука издали казалась обыкновенной рукой, в обшлаг с казенными пуговицами, но вблизи выразила всего человека, который владел ею. Ее пальцы были жестки и плоски. Она лежала, как каменная, на углу большого стола. Фонарь исчез, его заменил свет яркой зеленой лампы.

Ночь кончилась; этот свет также исчез, уступив блеску раннего солнца, в котором Бетси предстала пытливым и равнодушным глазам управляющего гостиницей. Он взял резкий тон крайнего неудовольствия:

— Вы обслуживаете верх и так нерадиво, что на вас стали поступать жалобы. Мне это не нравится. Я выслушал неприятные вещи. Приборы не чищены, мебель расставлена неаккуратно, подаете тупые ножи, расплескиваете кофе и чай; приносите мятые салфетки. До сих пор я не делал вам замечаний, считая это простой оплошностью, но сегодня решил наконец покончить с ленью и безобразием.

— Сударь, — сказала пораженная девушка, — извините, я, честное слово, ничего ровно не понимаю. Грех вам, вы так меня обижаете... — Она подняла передник, тыкая им в глаза. — Я так стараюсь, не покладая рук, что не имею для себя свободной минуты. Вам должно быть насплетничали. Кто вам жаловался? Кто? Кто?

— Кто бы ни жаловался, — почтенным жильцам я верю и ваши выкрики считаю истерикой. Не трудитесь оправдываться. Впрочем, я придумал взыскание, которое одновременно проучит вас и даст мне возможность убедиться, верны ли жалобы. С этого часа, прежде чем разнести что-либо по номерам, извольте показать мне приборы, кушанья и напитки: я сам посмотрю, так ли вы делаете то, что надо делать; а затем, прекращая наш разговор, предупреждаю, что в следующий раз вы дешево не отделаетесь.

Горничная вышла с тяжелым сердцем, в слезах и горьком недоумении, по-своему объясняя придирку.

«Он приставал ко мне,— решила она,— перещипал мне все руки, но без толку и теперь мстит; будь он, однако, проклят,— я понесу ему на осмотр не только приборы, а все ковры, и так тряхну перед его носом, что он съест фунтов пять пыли».

Простодушно изобличив, таким образом, свои отношения к коврам, она поднялась наверх, преследуемая звонками. На сигнальной доске выпали три номера и меж ними номер 137; осмотрев цифры, Бетси ощутила легкую, полную любопытства жуть, навеянную кухонной болтовней. Два жильца потребовали счет и извозчика; голос 137-го номера, осведомившись сквозь портьеру который час, сообщил, что еще не одет, попросил кофе и рюмку ликера; затем Айшер зевнул.

«Ты, что ли, жаловался? — подумала Бетси, припоминая, как вчера убирала номер несколько второпях,— фальшивая душа, если обращаешься, словно ни в чем не бывало; хорошо, я покажу тебе, как умею отвечать с достоинством».

Воспоминание о еще некоторых грешках внушило ее подозрению стальную уверенность.

«Все-таки он красив и кроток, как ангел; на первый раз может быть надо его простить».

И она, тоном насильственного оживления, в котором, по ее мнению, проглядывал скорбный упрек, ответила, что на часах половина восьмого, что каждый одевается, когда хочет, а кофе она принесет немедленно.

— Прекрасно,— сказал Айшер,— вы, Бетси, не прислуга, а клад. Я очень доволен вами.

Бетси вознамерилась было сказать Айшеру о выговоре управляющего и спросить, не Айшер ли накликал на нее эту беду, но в последних его словах почудилось ей легкое издевательство. Она высунула язык и, довольная тем, что акт мщения скрыт портьерой, кисло произнесла:

— Я ужасно рада, господин Айшер, если имею удовольствие вам угодить,— и вышла, твердо решив впредь держать сердце назапerti.

Она сошла вниз, где у плиты повар в белом колпаке уже колдовал среди облаков пара. Взяв поднос с кофе, Бетси завернула к буфетчику, капнувшему ей в кро-

шечную, как полевой колокольчик, рюмочку огненного жидкого бархата, и понеслась к управляющему. Она решила наказать его оглушительными ударами в дверь, но, к ее удивлению, управляющий открыл тотчас, едва она стукнула.

— А! — сказал он, окидывая беглым взглядом прибор. — Что это за кислая физиономия? Дайте сюда. Я рассмотрю посуду в свете окна. Подождите. — Он удалился, двигая над кофейником пальцами, словно соля хлеб, и через минуту вышел с улыбкой, передавая поднос горничной. — Ну так помните: опрятность и чистота — лучшее украшение женщины.

Излишне говорить, что сервиз, всегда чистый, сверкал теперь ослепительно. Бетси, проворчав: «Наставляйте свою жену», — ушла и отнесла кофе в 137-й номер.

Друд, потягиваясь, прихлебывал из белой с золотом чашки. За раздвинутыми занавесями в обольстительной чистоте и свежести раннего утра сверкал перед ним яркий балкон.

«Кажется, довольно быть здесь. Уже что-то заставляет прислушиваться к этим стенам».

Но легкая пыль, поднятая тайной работой, не задела его дыхания, и размышление сосредоточилось на сенсации. Хотя городские газеты обошли дело полным молчанием, он еще не знал этого. Его внутреннее зрение посетило все углы мира. Он видел, как несутся по телеграфным проволокам, в почтовых пакетах, на красных языках и в серых мозгах, пучеглазые, вертлявые вести, пища от нетерпения сбить себя как можно скорее другой проволоке, другому уму, пакету и языку и как, людоеду подобно, жадно глотает их Легенда, окутанная дырявым плащом Путаницы, родной сестры всякой истории.

Гром грянул в обстановке и при условиях, какие неизбежно явятся началом отрицания. Места подобные цирку не слишком авторитетны; любое впечатление платного зрелища во времени и на расстоянии рассматривается как искусственное; улыбка и шутка — вечный его удел. Есть и будут существовать явления, призрачные без повседневности; о них выслушают и поговорят, но если они не повторятся, — веры им не более, как честному слову, однажды уже нарушенному. Событие в цирке, исказив окраску и форму, умрет смутным эхом, рас-

терзанное всевозможными толками на свои составные части, из коих самая главная — человек без крыльев под небом — станет басней минуты, пожертвованной досужему разговору о запредельных натуре человеческой чудесах. И может быть лишь какой-нибудь отсталый любитель снов, облаков и птиц задумается над страницей развязного журнала с трепетом легкой грезы, закроет книгу и рассеянно посмотрит вокруг.

«Но, если... — Друд приподнял отяжелевшую голову, устраивая подушку выше, — если я решу жить открыто, с наукой произойдут корчи. Уж я слышу тысячу тысяч докладов, прочитанных в жаркой бане огромных аудиторий. Там постараются внушить резвую мысль, что рассмотренное явление, по существу, согласно со всяческими законами, что оно есть непредвиденный аккорд сил, доступных исследованию. А в тишине кабинета, мужественно обложась горами книг, какой-нибудь растерянный, седой человек, проживший жизнь с гордо поднятой головой, в славе и уважении, станет искать среди страниц извилистую тропу, по которой можно залезть внутрь этого, сожравшего его пропитанную пóтом систему «аккорда», пока не убедится в тщете усилий и не отмахнется словами: «Икс. Вне науки. Иллюзия», — подобно досужему остроумцу, доказавшему, что Бонапарта никогда не было.

И перед ним с ясностью напряженного зрения встал круг седобородых мужчин в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крикнуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинуясь роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.

Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитары вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжело; несчастный лишен сознания.

— Быть может простой нервный припадок, — говорил он. — Я, впрочем, не доктор.

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым лицом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, заторопил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.

IX

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.

Она сказала:

— Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть увеличится в связи с тем, что я привезла. — И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.

Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светлы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы — улыбка задумчивости.

Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась как на выезд — в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные, белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или, скорей, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: — «Что делать, если я так невозможно, непростительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите».

— Дитя, — сказал министр, усаживая ее, — я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами, — хотя бы, — Галля охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.

— И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?

Дауговет оживился, что случилось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос.

— Да, да,— сказал он,— меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 г., изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту и Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда: Верфест не прочь от переговоров. Однако,— он взглянул на книгу, которая была с Руной,— не фео ли вы и не драгоценность ли Верфеста с тобой?

Министр переходил на ты в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.

— Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное, внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.

— Нет, не «Эпитафии».— Руна мельком взглянула на свою книгу.— Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.

Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке Руны.

— Я не понимаю — что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься,— «чуда», я скажу: ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь Шехерезаду. Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?

Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запавшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала:

— Я похудела, но причина тому вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги.

Министр поднял брови.

— Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня.

Девушка шутя положила веер на его руку.

— Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурчиться, что я настроена необычно.— Действительно глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кротким и пленительным выражением.— Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае, потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию? Именно — молнию, не потеряв сна и аппетита?

В ее словах, в звонкой неровности ее голоса чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следуя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лица Руны, с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец ему сообщили ее волнение; он отечески нагнулся к ней, сдерживая тревогу.

— Но, боже мой, что? Дай опомниться! Я всегда достаточно владею собой.

— В таком случае,— важно сказала девушка,— что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда «Эпитафиям» засиять в вашей коллекции?

— Милая, если не считать надеждой твои странные вопросы, твою экзальтацию,— нет, нет, почти никакой. Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменял Грею золотой свиток Вед XI столетия на катехизис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись приносит несчастье ее собственнику,— да, я намагнитил этого посредника вескими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложения более выгодные, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня.

— В таком случае,— Руна весело вздохнула,— «Эпитафии» вам придется забыть?

— Как?! Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?!

— Нет, я раздумываю, не утешит ли вас что-либо равное «Эпитафиям»; что так же, как они, или еще сильнее того манит вас; над чем забылись бы вы, разгладив морщины?

Министр успокоился и воодушевился.

— Так, все ясно мне, — сказал он, — видимо, библиомания — твое очередное увлечение. Хорошо. Но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, неподвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они: «Объяснение и истолкование Апокалипсиса» Нострадамуса, 1500 года, собственность Вейса; «Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский», Сервантеса, Вена, 1652 года, принадлежит Дориану Кемболл; издание целиком сгорело, кроме одного экземпляра. Затем...

Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила:

— Что, если бы вам подарили «Объяснение и истолкование Апокалипсиса»? — невинно осведомилась она. — Вам это было бы очень приятно?

Министр рассмеялся.

— Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею? — ответил он, ловя себя, однако, на том, что присматривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвистой головой затаившегося оленя. — А ты достойна быть феей.

— Да, вернее — я ужилась бы с ней. Но и вы достойны владеть Нострадамусом.

— Не спору. Дай мне его.

— Возьмите.

И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету.

Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улыбнулся светлой улыбке Руны.

— Да? Ты это читаешь? А в самом деле, обернись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы на столько времени, на сколько, так некстати, окаменел Лот.

Без подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедшей все специальные издания и журналы Европы,—виньеткой, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружиной и прянули в его мозг вожделения библиофилов всех стран и национальностей. Все вздрогнуло перед ним, руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движениями помешанного, гасящего воображенный огонь.

— Как? — дико закричал Дауговет.— Нострадамус — и без футляра! Но ради всех святых твоей души,—какой джинн похитил для тебя это? Боги! Землетрясение! Революция! Солнце упало на голову!

— Голову,—спокойно поправила девушка.— Вы обещали не волноваться.

— Если не потеряю рассудок,—сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся, бледным лицом,—я больше волноваться не буду. Но неужели Вейс пустил библиотеку с аукциона?

Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением Гения, целующего Мечту, и опустил свет; затем несколько овладел чувствами. Руна сказала:

— Все это — результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю двадцатилетний процесс «Трех Дорог», чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс крайне самолюбив. Какое торжество для такого человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии; условием же был Нострадамус.

Она рассказала, как происходили переговоры — через посредника.

— Безумный, сумасшедший Вейс,—сказал министр,—его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гуттенберговского молитвенника; короче, он променял жену Абстнеру на триста двадцать страниц древнего шрифта и, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни не часты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать что происходит в моей душе особенным действием. Вот оно.

Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично выложенную фигуру лакея с неподвижным лицом.

— Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядитесь этим. Ужин и сервиз должны быть совершенно те, при каких я принимал короля; прислуживать будете вы и Вельвет.

Смеясь, он обратился к племяннице:

— Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А! ты задумчива?.. Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы, подражая тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть.

Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.

— Так надо, так хорошо,— произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей,— веяние великой власти с нами, да будет оно отличено и озарено пышностью. И у меня— вы правы в своем порыве— есть желание; оно не материально; огромно оно, сложно и безрассудно.

— Ну, нет невозможного на земле; скажи мне. Если в отношении его ты не можешь быть Бегуэм, как было с подарком,— я стану лицом к нему, как министр и... Дауговет.

Их глаза ясно и остро встретились.

— Пусть,— сказал министр.— Поговорим за столом.

Х

Так начался ужин в честь короля-Книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его, на белой атласной скатерти, в полном блеске люстр и канделябров, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, оведали зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.

— Дядя,— начала Руна,— прикажите удалиться слугам. То, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас.

Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.

— Начнем,— сказал он, наливая вино,— хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его испол-

нить. Я министр — это много больше, чем ты может быть думаешь, но в моей деятельности не редки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя все, что могу.

Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько, но Руна показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженная, она рассмеялась.

— Нет, дядя, я сознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас; однако, беру в свидетели бога, — единственно от вас зависит оказать мне громадную услугу, и нет вам достаточных причин отказать в ней.

Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство, но после этих слов стал немного чужим; уже чувствуя нечто в е с ь м а серьезное, министр внутренне отдалился, приготавливаясь рассматривать и взвешивать всесторонне.

— Я слушаю, Руна; я х о ч у слышать.

Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре «общих соображений», бороться с которыми может лишь словами и сердцем.

— Желанию предшествует небольшой рассказ; вам, и вероятно очень скоро, по мере того, как вы начнете догадываться о чем речь, захочется перебить меня, даже п р и к а з а т ь мне остановиться, но я прошу, чего бы вам это ни стоило, — выслушать до конца. Обещайте, что так будет, тогда, в крайнем, в том случае, если ничто не смягчит вас, у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души, и я с трепетом вручаю его вам.

Ее волнение передалось и тронуло старика.

— Но, бог мой, — сказал он, — конечно, я выслушаю, что бы то ни было.

Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица.

— Итак, нет более предисловий. Слушайте: вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом; она ночевала у сестры, — а может быть у друга сво-

его сердца, — о чем нам не пристало доискиваться... в гостинице «Рим»...

Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания, его глаза стали еще более чужими: глазами министра.

— Эта гостиница, — продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый личный смысл, — находится на людной улице, где много прохожих были свидетелями выноса и поспешного увоза в карете из той гостиницы неизвестного человека, объявленного опасно больным; лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя; имя это Симеон Айшер, из 137-го номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащих гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с ключом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги в связи с загадочной болезнью Айшера возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза или — согласимся в том — похищения был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованный управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна, и он проверяет, чист ли прибор.

Вечером вчера ко мне привели человека, указанного одним знакомым как некую скромную знаменитость всех частных агентурных контор, — его имя я скрою из благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все справки. Как удалось ему получить их — это его секрет; по справкам и сличению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы половиной восьмого утра и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы около девяти, — одно и то же лицо. Это лицо, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в секретного узника, было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось.

Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и быть может неполно я догадываюсь о существе дела, но, допуская причину реальную, то есть неизвестное мне преступление, я желала бы знать все. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно — как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо — посетить заключенного. Теперь все. Но, дядя, — я вижу, я понимаю ваше лицо, — ответьте мне не сурово. Я еще не все сказала вам; это не сказанное — о себе; я пока стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов; спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие; иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту, одну минуту молчания!

Минуту... Но прошло может быть пять минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в которую отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаюсь удержать нервную дрожь рук и лица, не смея заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:

— Вы кончили?

— Да, — она слабо кивнула. — О, не смотрите на меня так...

— Надо обратить особенное внимание на все частные конторы, агентства; на все эти шайки самоявленных следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их! Руна, мои соображения в деле Айшера таковы! Будьте внимательны. Суть явления непостижима: ставим X, но быть может самый большой с тех пор, как человек не летает. Речь, конечно, не о бензине; бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу.

Кто он — мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но

известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов — всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру — предположительно — злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может — уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это — состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию — уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававшей ему по крайней мере характер восстания; короче говоря, безверие — это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они — в корне, в своей сущности — Ничто, давшее Все. Предоставим простецам называть их «энергией» или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу...

Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, но решил также дополнить позволение тайной инструкцией коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости, имеющей государственное значение; он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не все.

— ...гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо.

Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво: человек, летящий над городами вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картинности зрелища. Оно создаст легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям Крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказания и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому — Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоём желании; объясни мне его.

— Оно сродни вашей любви к редкой книге. Все необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо, — он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это — вне рассудка; оно в душе и только в душе, — как иначе объяснить вам? Это — я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова «океан», никогда не видел его, никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «есть океан, он здесь, рядом; пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?

— Довольно, — сказал министр, — твоё волнение искренно, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия: молчание о нашей беседе и срок не более получаса; если нет возражений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты.

— Боже мой! — сказала она, смеясь, вскакивая и обнимая его. — Мне ли ставить условия? Я на все согласна. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно.

Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руне, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.

XI

Ту ночь, когда Друд всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда, просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах, без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают непроизвольно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, донныне не обнаруженные, поразившие ее самое и легко двинувшие такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так, часто по незнанию, человек долго стоит спиной к тайно-желанному: кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив все возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы.

Подъезжая к тюрьме, Руна с изумлением вспомнила, что сделала за эти двадцать четыре часа. Она не устала; хоть лошади несли быстро, ей беспрерывно хотелось приставать, податься вперед: это как бы, так ей казалось, прищипывает движение. Она доехала в пятнадцать минут.

«Так вот — тюрьма!» Здесь, на глухой площади бродили тени собак; фонари черных ворот, стиснутых башенками, озаряли решетчатое окошко, в котором показались усы и лакированный козырек. Долго гремел замок; по сложному, мертвому гулу его казалось, что раз в тысячу лет открываются эти ворота, обитые дюймовым железом. Она прошла в них с чувством Роланда, рассекающего скалу. Сторож, откинув клеенчатый капюшон плаща, повел ее огромным двором; вперед тускло блестели окна семи этажей здания, казавшегося горой, усеянной мерцающими кострами.

Дом коменданта стоял среди сада, примыкая к тюрьме. Его окна еще уютно светились, но занавесам скользили тени. Руну пробела горничная; видимо, пораженная таким небывалым явлением в поздний час, она, открыв дверь приемной, почти швырнула посетительнице стул и порывисто унеслась с письмом в дальние комнаты, откуда проникал легкий шум, полный мирного оживления, смеха и восклицаний. Там комендант отдыхал в семейном кругу.

Он вышел тотчас, едва дочитал письмо. С прозорливостью крайнего душевного напряжения Руна увидела, что говорит с механизмом, действующим не укол с нительно, но механизмом крупным, меж колес которого можно ввести тепло руки без боязни пораниться. Комендант был громоздок, статен, с проседью над крутым лбом; из его серых глаз высматривали солдат и ребенок.

Увидев Руну, он подавил волнение любопытства чувством служебной позиции, которую занимал. Несколько как бы вскользь, смутясь, он завел огромной ладонью усы в рот, выпустил их, крикнул и ровным, густым голосом произнес:

— Мною получено приказание. Согласно ему, я должен немедленно сопровождать вас в камеру пятьдесят три. Свидание, как вам верно сообщено уже господином министром, имеет произойти в моем присутствии.

— Этого я не знала.— Сраженная, Руна села, внезапно почувствовав такой прилив настойчивого отчаяния, что мгновенно вскочила, собираясь с духом и мыслями.— Я вас прошу разрешить мне пройти одной.

— Но я не могу,— сказал комендант, неприятно потревоженный в простой схеме своих движений.— Я не могу,— строго повторил он.

Бледная, девушка тихо улыбнулась.

— Тогда я вынуждена говорить с вами подробнее. Ваше присутствие исказит мой разговор с Айшером; исчезнет весь смысл посещения. Он и я — мы знаем друг друга. Вы поняли?

Она хотела, говоря так, лишь вызвать туманную мысль о ее личном страдании. Но странным образом смысл этой тирады совпал односторонне направленному уму коменданта с желанием министра.

— Я понял, да.— Не желая дальше распространяться об этом, из боязни перейти границы официальные,

он тем не менее заглянул снова в письмо и сказал: — Вы думаете, что таким путем... — и, помолчав, добавил: — Объясните, так как я не совсем понял.

Но этого было Руне довольно. Из глубокой тени двусмысленности мгновенно скакнула к ней прозрачайшая догадка. Она вспыхнула, как мак, что, между прочим, укрепило коменданта в его к ней, почтительно и глубоко затаенном, презрении; ей же принесло боль и радость. Она продолжала, опуская глаза:

— Так будет лучше.

Комендант, раздумывая, смотрел на нее с сознанием, что она права; по отношению же к скупости ее объяснений остался в простоте души совершенно уверен, что, не считая его тупицей, она предоставляет понимать с полуслова. Пока он размышлял, она повторила просьбу и, заметив, как растерянno пожал комендант плечами, прибавила:

— Останется между нами. Положение исключительное; не большее исключение совершите вы.

Хотя письмо министра устранило всякие подозрения, комендант еще колебался, удерживаемый формальной добросовестностью по отношению к словам письма «в вашем присутствии». Его лично тяготила такая обязанность, и он подумал, что хорошо бы отделаться от навязанного ему положения, тем более, что, видимо, не было никакого риска. Однако не эти соображения дали толчок его душе. Не что между нашими действиями и намерениями, подобное отводящей удар руке, оказало решительное влияние на его волю. Разно именуется эта произвольная черта: «что-то толкнуло», «дух момента», «сам не знаю, почему так произошло» — вот выражения, какими изображаем мы лицо могущественного советчика, действующего в отношениях наших неуловимыми средствами, тем более разительными, когда действуют они противу всех доводов рассудка и чувства, чего в данном случае не было.

Он подумал еще, еще, и наконец, приняв решение, более не колебался:

— Если вы дадите мне слово... — сказал он. — Извините меня, но, как ответственное лицо, я обязан говорить так, — если вы дадите мне слово, что не употребите никаким образом во зло мое доверие, я оставляю вас в камере на указанный письмом срок.

С минуту, не меньше, смотрела она на него прямо и твердо, и тяжелая пауза эта придала ее словам весь вес, всю значительность нравственной борьбы, что комендант понял как изумление. Она не опустила глаз, не изменилось ее чудное лицо, когда он услышал глубокий и гордый голос:

— В этом я даю слово.— Она не сознавала сама, чего стоило ей сказать так, лишь показалось, что внутри, будто от взрыва, обрушилось стройное здание чистоты, но над дымом и грязью блеснул чистый огонь жертвы.

— В таком случае,— сказал после короткого молчания комендант,— прошу вас следовать за мной.

Он надел фуражку и направился через дверь, противоположную той, в какую вошла Руна. Они вышли в поворот ярко освещенного коридора; он был прям, длинен, как улица, прохладен и гулок. В его конце была решетчатая, железная дверь; часовой, зорко блеснув глазами, двинул ключом; звук металла прогремел в безднах огромного здания грозным эхом. За этой дверью высился, сквозь все семь этажей, узкий пролет; по этажам с каждой стороны тянулись панели, ограждаемые железом перил. На равном расстоянии друг от друга панели соединялись стальными винтовыми лесенками, дающими сообщение этажам. Ряды дверей одиночных камер тянулись вдоль каждой галереи; все вместе казалось внутренностью гигантских сот, озаренной неподвижным электрическим светом. По панелям бесшумно расхаживали или, стоя на соединительных мостиках, смотрели вниз часовые. На головокружительной высоте стеклянного потолка сияли дуговые фонари; множество меньших ламп сверкало по стенам между дверей.

Руна никогда раньше не бывала в тюрьме; тюрьма уже давила ее. Все поражало, все приводило здесь к молчанию и тоске; эта чистота и отчетливость беспощадно ломали все мысли, кроме одной: «тюрьма». Асфальтовые, ярко натертые панели блестели, как лужи; медь поручней, белая и серая краска стен были вычищены и вымыты безукоризненно: роскошь отчаяния, рассчитанного на долгие годы. Она живо представила, что ей не уйти отсюда; кровь стукнула, а ноги потяжелели.

— Это не так близко,— сказал комендант,— еще столько же осталось внизу,— и он подошел к повороту; открылась галерея, подобная пройденной. По ее середи-

не крутая спираль стального трапа вела в нижний этаж. Здесь они прошли под сводчатым потолком подвального этажа к самому концу здания, где, за аркой, в поперечном делении коридора были так называемые «секретные» камеры. У одной из них комендант круто остановился. Завидя его, от окна с табурета поднялся вооруженный часовой; он взял руку под козырек и отрапортовал.

— Откройте 53-й,— сказал комендант.

С суетливостью, избличавшей крайнее, но молчаливое изумление, часовой привел в движение ключ и запор. Затем он оттянул тяжелую дверь.

— Пожалуйте,— обратился комендант к Руне, пропуская ее вперед; она и он вошли, и дверь плотно закрылась.

Руна видела обстановку камеры, но не признавала ее, а припомнила лишь потом. На кровати, опустив голову, сидел человек. Его ноги и руки были в кандалах; крепкая стальная цепь шла от железного пояса, запертого на талии, к кольцу стены.

— Что же, меня хотят показывать любопытным? — сказал Друд, вставая и гремя цепью.— Пусть смотрят.

— Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Дама пробудет здесь двадцать минут. Такова воля высшей власти.

— Вот как! Посмотрим.— Лицо Друда, смотревшего на Руну, выражало досаду.— Посмотрим, на что еще вы способны.

Комендант смутился; он мельком взглянул на бледное лицо Руны, ответившей ему взглядом спокойного непонимания. Но он понял уже, что Друд не знает ее. В нем прянули подозрения.

— Я вижу, вы не узнаете меня,— значительно и свободно произнесла Руна, улыбнувшись так безмятежно, что едва скрыл улыбку и комендант, уступив самообладанию.— Но этот свет...— Она вышла на середину камеры, откинув кружево покрывала.— Теперь вы узнали? Да, я — Руна Бегуэм.

Друд понял, но из осторожности не сказал ничего, лишь, кивнув, сжал вздрогнувшую холодную руку. Камень кольца нажал его ладонь. Комендант, сухо поклонясь девушке, направился к двери; на пороге он задержался:

— Я предупреждаю вас, 53-й, что вы не должны пользоваться кратким преимуществом положения ни для каких целей, нарушающих тюремный устав. В противном случае будут приняты еще более строгие меры вашего содержания.

— Да, я не убегу за эти двадцать минут,— сказал Друд.— Мы понимаем друг друга.

Комендант молча посмотрел на него, крикнул и вышел. Дверь плотно закрылась.

Теперь девушка, без помехи, в двух шагах от себя могла рассматривать человека, внушившего ей великую мечту. Он был в арестантском костюме из грубой полосатой фланели; спутанные волосы имели заспанный вид; лицо похудело. Глубоко ушли глаза; в них пряталась тень, прикрывающая непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа, или ходит, ворочая валами, море, или просыпается к ночной жизни пустыня. Эти глаза наваливали смотрящему впечатления, не имеющие ни имени, ни меры. Так, может быть, смотрит кролик в глаза льва или ребенок — на лицо взрослого. Руну охватил холод, но гибкая душа женщины скоро оправилась. Однако все время свидания она чувствовала себя как бы под огромным колыколом в оглушительной власти его вибрации.

— Глухая ночь,— сказал Друд.— Вы,— здесь,— по разрешению? Кто вы? Зачем?

— Будем говорить тише. У нас мало времени. Не спрашивайте, я скажу сама все.

— Но я вам еще не верю,— Друд покачал головой.— Все это необыкновенно. Вы слишком красивы. Быть может, мне устраивают ловушку. Какую? В чем? Я не знаю. Люди изобретательны. Но — торопитесь говорить; я не хочу давать вам времени для тайных соображений лжи.

— Лжи нет. Я искренна. Я хочу сделать вас снова свободным.

— Свободным,— сказал Друд, переступая к ней, сколько позволяла цепь.— Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь.— Беззвучно шевеля губам, он что-то обдумывал.— Но здесь я больше не хочу быть. Меня усыпили. Я проснулся — в железе.

— Мне все известно.

— Внимание! Я слушаю вас!

Руна высвободила из складок платья крошечный сверток толщиной в карандаш и разорвала его. Там блеснули два жала, две стальные, тонкие, как стебелек, пилки — совершенство техники, обслуживающей секретные усилия. Эти изделия, закаленные сложным способом, употребляемым в Азии, распиливали сталь с мягкостью древесины, ограничивая дело минутами.

— Их я достала случайно, почти чудом, в последний час, как выехать; лицо, вручившее их, заверило, что нет лучшего инструмента.

Друд взял подарок, смотря на Руну так пристально, что она смутилась.

— Беру, — сказал он, — благодарю — изумлен, — и стало мне хорошо. Кто вы, чудесная гостья?

— Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством; все доступно мне на земле. Я была в цирке. С этого памятного вечера — знайте и разрастите в себе то, что не успею сказать — прошло две ночи; они стоят столетия. Я пришла к вам, как к силе необычайной; судьба привела меня. Я — из тех, кто верит себе. У меня нет мелких планов, тщедушных соображений, нет задних мыслей и хитрости. Вот откровенность... на которую вы вправе рассчитывать. Я хочу узнать вас в нестесненной и подробной беседе, там, где вы мне назначите. Я — одна из сил, вызванных вами к сознанию; оно увлекает; цель еще не ясна, но огромна. Может быть также, что у вас есть цели мне неизвестные: все должно быть сказано в следующей беседе. Для многого у меня сейчас нет выражений и слов. Они явятся. Главное — это знать, где найти вас.

Она разгорелась, — медленно, изнутри, — как облако, уступающее, мгновение за мгновением, блеску солнца. Ее красота нашла теперь высшее свое выражение, — в позе, девственно-смелом взгляде и голосе, звучащем неотразимо. Казалось, пронеслись образы поэмы, выслушанной в мрачном уединении; все тоньше, все лучезарнее овладевают они душой, покоряя ее яркому воплощению прелестных тайн духа и тела; и Друд сознал, что в том мире, который покинул он для мира иного, не встречалось ему более гармонической силы женского ликования.

Снова хотела она заговорить, но Друд остановил ее взмахом скованных рук.

— Тогда это вы,— уверенно сказал он,— вы — и никто другой, крикнули мне. Я не расслышал слов. Руна Бегуэм — женщина, несущая освобождение с такой смелостью, может потребовать за это все, даже жизнь. Хотя есть нечто более важное. Но время уходит. Мы встретимся. Я утром исчезну, а вечером буду у вас; эти цепи, делающие меня похожим на пса или буйного сумасшедшего,— единственная помеха, но вы рассекли ее. О! Меня стерегут. Особо приставленный часовой всегда здесь, у двери, с приказом убить, если понадобится. Но — что вы задумали? Одно верно: стоит мне захотеть — а я знаю тот путь,— и человечество пошло бы все разом в страну Цветущих Лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха.

— Все сделав, узнав все, что нужно, я уйду, но не оставляю вас. Уходите. Прощайте!

— Бог благословит вас,— сказал Друд,— это вне благодарности, но в сердце моем.

Он улыбнулся, как улыбаются всем лицом, если улыбка переполнила человека. Не в состоянии протянуть одну руку, он протянул обе — связанные и разделенные цепью наручников; обе руки протянула и Руна. Он сжал их, мягко встряхнув, и девушка отошла.

Тут же, — как если бы они угадали срок, — дверь скрипнула и открылась; на пороге встал комендант, пряча часы:

— Время прошло, я провожу вас.

Руна кивнула, вышла и тем же путем вернулась к своему экипажу.

Когда долго смотришь на ярко горящую печь, а затем обращаешь взор к темноте — она хранит запечатленный блеск углей, воздушное их сияние. Отъезжая, среди зданий и улиц Руна не переставала видеть тюрьму.

XII

Кто бодрствует в спящем доме, сон, окружая его, обволакивает и давит. Этот чужой сон подобен течению, в котором стоит человек, сопротивляющийся силе воды. Оно подталкивает, колышет, манит и увлекает; переступи шаг, и ты уже отнесен несколько. «Они спят,— думает бодрствующий.— Все спят», — зевая, говорит он, и

лениво-завистливая мысль эта, повторяясь множество раз представлениями уютной постели, нагнетает оцепенение. Члены тяжелы и чувствительны; движения рассеяны; утомленное сознание бессвязно и ярко бродит — где попало и как попало: то около скрипа подошвы, шума крови в висках, то заведет речь о вечности или причине причин. Голова держится на шее — это становится ясно от ее тяжести, а глаза налиты клеем; хочется задремать, перейти в то любопытное и малоисследованное состояние, когда сон и явь замирают в усилии взаимного сладкого сопротивления.

Стук, взламывающий такое состояние, не говорит ничего уму, только — слуху; если он повторится — дремота уже прозрачнее; в туманно-вопросительном настроении человек настраивает внимание и ждет нового стука. Когда он услышит его — сомнения нет; это — стук — там или там, некий безусловный акт, требующий ответного действия. Тогда, вздрогнув и зевнув, человек возвращается к бытию.

Тот стук, которому ответил глубокий вздох присевшего на табурет часового, раздался изнутри особо охраняемой камеры. Часовой выпрямился, поправил кожаный пояс с висевшим на нем револьвером и встал. «Может быть больше не постучит», — отразилось в его сонном лице. Но снова прозвучал стук — легкий и ровный, обезличенный эхом; казалось, стучит из всех точек своих весь коридор. И в стуке этом был интимный оттенок — некое успокоительное подзывание, подобное киванию пальцем.

Часовой, разминаясь, подошел к двери.

— Это вы стучите? Что надо? — сурово спросил он.

Но не сразу слышался, изнутри, ответ; казалось, узник сквозь железо и доски смотрит на часового как в обычной беседе, медля заговорить.

— Часовой! — слышалось наконец, и тень улыбки померещилась часовому. — Ты не спишь? Открой дверное окошко. Как и ты, я тоже не сплю; тебе скучно; так же скучно и мне; меж тем в разговоре у нас скорее побегит время. Оно застряло в этих стенах. Нужно пропустить его сквозь душу и голос да подхлестнуть веселым рассказом. У меня есть что порассказать. Ну же, открой; ты увидишь кое-что приятное для тебя!

Оторонев, часовой с минуту гневно набирал воздух, надеясь разразиться пальбой ярких и грозных слов, но не пошел далее обычной фразеологии, хотя все же повысил голос:

— Не разговаривать! Зачем по пустякам беспокоите? Вы пустяки говорите. Запрещено говорить с вами. Не стучите больше, иначе я донесу старшему дежурному.

Он умолк и насторожился. За дверью громко расхохотался узник, — казалось, рассмеялся он на слова не взрослого, а ребенка.

— Ну, что еще? — спросил часовой.

— Ты много теряешь, братец, — сказал узник. — Я плачу золотом. Любишь ты золото? Вот оно, послушай.

И в камере зазвенело, как будто падали на кучу монет — монеты.

— Открой окошечко; за каждую минуту беседы я буду откладывать тебе золотой. Не хочешь? Как хочешь. Но ты можешь разбогатеть в эту ночь.

Звон стих, и скоро раздалось вновь бархатное глухое бряцание; часовой замер. Наблюдая его лицо со стороны, подумал бы всякий, что, потягивая носом, внюхивается он в некий приятный запах, распространившийся неизвестно откуда. Кровь стукнула ему в голову. Не понимая, изумляясь и раздражаясь, он предостерегающе постучал в дверь ключом, крикнув:

— Эй, берегитесь! В последний раз говорю вам! Если имеете спрятанные деньги — объявите и сдайте; нельзя деньги держать в камере.

Но его голос прозвучал с бессилием монотонного чтения; сладко заныло сердце; рой странных мыслей, подобных маскам, ворвавшимся в напряженно улыбающую толпу, смешал настроение. В нем начал засыпать часовой, и хор любопытных голосов, кружа голову, жарко шепнул: «Смотри, слушай, узнай! Смотри, слушай, узнай!» Едва дыша, переступил он на цыпочках несколько раз возле двери в нерешительности, смущении и волнении.

Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий широко раскрывшей глаза душой, голос узника:

— Надо, ты говоришь, сдать деньги начальству? Но как быть с полиым мешком золота? И это золото — не

то; не совсем то, каким ты платинь даюшьку. Им можно покупать все и везде. Вот я здесь; заперт и на цепи, как черный злодей, я — заперт, а мое золото всасывает сквозь стены эти чудесные и редкие вещи. Загляни в мое помещение. Его теперь уже трудно узнать; устлан коврами пол, огромный стол посреди; на нем — графинь, бутылки, кувшины, серебряные кубки и вызолоченные стаканы; на каждом стакане — тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции; алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти в серебряных корзинах лежит пухлый как заспанная щека хлеб; вишни и виноград, рыжие апельсинь и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры, налитые золотым маслом, испанские сигары; окорок, с разрезом подобным снегу, тронутому земляничным соком; жареные куры и торт — истинное кружево из сластей, — залитый шоколадом, — но все смешано, все в беспорядке. Уже целую ночь идет пир, и я — не один здесь. Мое золото всосало и посадило сюда сквозь стены красавиц-девушек; послушай, как звенят их гитары; вот одна звонко смеется! Ей весело — да, она подмигнула мне!

Как издадека, тихо прозвенела струна, и часовой вздрогнул. Уже не замечал он, что стоит жарко и тяжело дыша, всем сердцем перешагнув за дверь, откуда долетал смех, рассыпанный среди мелодий невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное.

— Матерь божия, помоги! — трясущимися губами шептал солдат. — Это я очарован; я, значит, пропал!

Но ни заботы, ни страха не принесли ему благочестивые мысли; как чужие возникли и исчезли они.

— Открой же, открой! — прозвучал женский голос, самый звук которого рисовал уже всю прелесть и грацию существа, говорящего так нежно и звонко.

В забвении часовой протянул руку, сбросил засов и, откинув черное окошечко двери, заглянул внутрь. Туман ликующей пестроты залил его; там сияли цветы и лица очаровательные, но что-то мешало ясно рассмотреть камеру, — как бы сквозь газ или туман. Вновь ясно отозвались струны, — выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и связали ее.

— Стой, я сейчас, — сказал часовой, отмыкая дверь трясущейся рукой; но не он сказал это, а тот, кто был

убит в нем колесом жизни,— воскресший мертвец — Дитя-Гигант веселой Природы.

— Это вы что делаете? — бормотал часовой, входя. — Это нельзя, я так и быть посижу тут; однако перестаньте буянить.

Тогда повел он глазами, и тяжело грохнулась на него серая тюремная пустота; — как ветер, разорвав дым, показывает за исчезновением беглых и странных форм обычную перспективу крыш, так часовой вдруг увидел пустую койку, с обрывком цепи над ней и рассвет в железной решетке: — ни души; он был и стоял один.

Нырнув над головой часового в открытую дверь, Друд скользнул под потолком гигантского коридора и, зигзагом огибая углы, пронесся, минуя несколько винтовых лестниц, в главный пролет тюремного корпуса. У него не было плана; он мчался, следуя развертывающейся пустоте. Здесь он посмотрел вверх и нашел выход, выход — вверх, единственный прямой выход Друда. Он взлетел с силой, давшей его движениям ту темную черту в воздухе, какая подобна быстрому взмаху палкой. Часовой третьего этажа присел; на пятом этаже другой часовой отшатнулся и прижался к стене; вся кровь хлынула от его лица в ноги. Они закричали потом. Почти одновременно с судорожными движениями их Друд, закрыв голову руками, пробил стеклянный свод замка, и освещенная крыша его понеслась вниз, угасая и суживаясь по мере того, как он овладевал высотой. Осколки стекла, порхая в озаренную глубину пролета, со звоном раздробились внизу; но быстрее падения стекла беглец был на высоте в двадцать раз большей.

Наконец он остановился, дыша с хрипом и болью, так как сдержал дыхание, без чего провизжавший в ушах его ветер мог разорвать сердце. Он посмотрел вниз. Немного огней было там — разбросанных, мерцающих, редких; и тьма тихо ступила на них черной ногой.

Друд распилил наручники, затем кандалы и пояс; затем бросил железо. Посвистывая, оно пошло вниз, он же сказал вдогонку: «Ты пригодишься там на заплаты!» Подарок этот, удаляясь со скоростью, возрастающей в арифметической прогрессии, воя и гудя как снаряд, дошел до тюрьмы и раздробил дымовую трубу.

На утро другого дня дрогнули и упали три сердца. Часовой бежал; комендант подал в отставку; министр стиснул, вне себя, руки. Гром раздробил тюрьму.

— Погреб Ауэрбаха, — сказал наконец министр. — Не будет веры тому; тюрьма и так — сказка для многих.

Он рассчитал верно: недоказанное не существует; невероятное, рассказанное солдатами, подтверждает их репутацию, в основе которой издавна лежит суп из топора, а также срубленные в безмерном числе головы неприятеля. Министр, обвиняя Руна, поехал к ней, с ужасом ожидая, как встретятся его глаза с глазами девушки, отныне непостижимой. Но ему сказали, что ее нет; в конце недели она вернется из внезапной поездки.

Когда он отъехал, Руна посмотрела в окно. Его карета, казалось, скользит подавленно и угрюмо среди бешеного движения улиц. С спокойной застывшей совестью Руна отошла от окна и стала играть с собакой.

Этот день она считала днем перелома жизни, ожидая наступления вечера с спокойствием отчетливой цели. Она стала особенно внимательна к себе и окружающему; подолгу смотрела в зеркало, неторопливо выбрала платье; часто, остановясь, в рассеянности рассматривала задевший внимание случайный предмет, как будто хотела ввести его в связь с тем, что переживала. Время от времени ей подавали визитные карточки; она бросала их в бронзовую корзину, отвечая: «Я не совсем здорова». Время тянулось медленно, но ей не было скучно. В будуаре она присела к письменному столу; на углу бумаги, задумавшись, нарисовала лицо, смотрящее с улыбкой из-за решетки. Затем она открыла дневник — золотообрезанный том в рельефных крышках старого серебра и, внимательно перелистав все там написанное, перечеркнула страницы карандашом; на первой же следующей за текстом чистой странице поставила единственную резкую строку: «17-го мая 1887— 23 июня 1911 г. — ничего не было».

Тем вывела она за дверь и выбросила всю свою жизнь — от детского лепета до страшного дня в «Солейль» — ради первого ожидания.

День проходил тихо. Так отдавшийся, сидя в лодке, течению, человек спокоен и уронил весла, но движется —

и в душе прибыл уже — куда плывет и поворачивает течение; к цели несет оно.

Как смерклось,— после обеда, тронутого ею весьма прихотливо, не в пример жажде, которую она время от времени успокаивала водой и чаем с вином,— лакей подал еще карточку. На этот раз она сказала: «Просите» — без беспокойства, но с напряжением, выраженным улыбкой.

XIV

Лакей ввел коменданта.

Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. Тяжело, прямыми солдатскими шагами приблизился он, смотря в лицо Руны, остановясь шагах в пяти от девушки, темные глаза которой по-детски свободно и мягко встретили его появление. Он поклонился, выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отпустил и сел против хозяйки. Все это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного счета.

— Я пришел,— начал он и продолжал громче,— принести безмерную благодарность.— Комендант помолчал.— Все вышло так странно. Но о том не берусь судить.— Встав, он отвесил второй поклон, и невольная, видимо, бессознательная улыбка чрезвычайного довольства сверкнула под полуседыми его усами,— на мгновение; после чего лицо вновь отвердело, словно улыбнулся он про себя, беседуя сам с собой.— Да, этот день мне не забыть. Вся жизнь,— моя и детей моих,— спасена, устроена, обеспечена. Я могу не служить. Но есть обстоятельство. Я допустил вас к свиданию, без меня, согласно просьбе вашей, не прося, не требуя ничего. Прошу подтвердить это.

— Но я не понимаю.— Руна свела брови, давая понять легким движением руки, что речь посетителя изумила ее.— Нас не подслушивают, и я прошу говорить ясно. Подтвердить мне легко,— да, благодарю, вы навсегда обязали меня.

— Теперь положение изменилось. Я обязан вам, или если вы не соглашаетесь думать так, скажу, что мы — квиты.

Он разгладил усы, устремил рассеянный взгляд на диадему в волосах Руны и поймал в блеске алмазов отсвет своего счастья, что снова вдохновило его.

— Произошло это в три часа дня. Я хотел закрыть окно в кабинете; мой взгляд упал на стол, где лежал приказ о лишении меня должности по причине, о которой догадаться нетрудно. Я пять часов пробыл на допросе и очень устал. Что мог я сказать им? Человек пробил крышу и улетел,— но, согласитесь,— какое же это объяснение? Верить сам происшествию не могу и, считая обстоятельство невыясненным, складываю оружие своего ума. Что объяснить? Как понять? Чему верить? Загадочная история. Простите, я отвлекся. Итак, под бумагой лежал плоский шерстяной мешок, весом тридцать два фунта, полный золотых монет, запечатанных столбиками в белую бумагу синим сургучом. Кроме того, был там замшевый кошель с завалившимися в угол его тремя бриллиантами, весом всего сто десять карат. Не оставляло сомнений, что подарок предназначался мне, так как при нем оказалась записка,— вот она.— Комендант подал, дернув из обшлага небольшой обрывок, на котором, крупно и небрежно написанное, стояло: «Будьте свободны и вы».

Руна прочла, вернула; ее изумление стихло, благодаря верной догадке. Комендант продолжал:

— Так. Это чудо, конечно, из ваших рук. Сто десять карат. Считая стоимость их упавшей ныне, по курсу получаю двести пятьдесят тысяч плюс тридцать пять золотом, всего триста тысяч, то есть почти треть миллиона. Я сделал эти вычисления ночью, так как не спал. Простите мне их. Они есть результат минувших сильных волнений.

— Это не я,— сказала Руна, смеясь и радуясь, что человек счастлив.— Однако, знайте, что, не случись этого, я сделала бы для вас все.

Комендант, мигая, пристально посмотрел на нее, улыбнулся, порозовел и протянул руку, с блеском в глазах, заставлявшим думать, что соленая вода есть и в его сердце.

— Извините, что я первый протягиваю вам, даме и девушке, свою руку; это не принято, но мне надо пожать вашу. Я верю всегда, если говорят, смотря прямо в гла-

за. Я рад, что так. Теперь я совсем спокоен — между нас не было тени.

Она подала руку, но вспомнила свою ложь и отвернула лицо.

— Тень была, — сказала она, — но только во мне. Меж нас не было тени. Прощайте. Лучше нам уж не сказать, чем сказано, — виной хорошему — вы. Идите, будьте счастливы и знайте, что осколки стекла могут стать бриллиантами, если на них взглянет тот, кто ушел так странно от вас.

Гость встал, поднес к губам нервную, душистую руку, повернулся и вышел, как пришел, смотря прямо перед собой. Руна, отведя портьера, взглядом проводила его. Он скрылся, и она вернулась к себе.

XV

Стемнело, но она не выразила ожидания беспокойством, тоской и не поднималась наверх. Она знала, — знанием, доныне необъяснимым, что Друд явится наверх; знала также, что он уведомит ее о своем появлении каким-то свойственным ему образом. Устав ждать, она села в ярко освещенной гостиной, читая книгу.

Как странно лелеять что-либо еще не наступившее всей правдой души, видя и предвосхищая то в книге, говорящей о постороннем! На тайном языке написана в мгновения те книги, какая бы ни была она; ее текст, пышная и тонкая аргументация и живописное действие спят неподвижно. Свое плавает по строкам, выжженным напряжением, оставляя зрению линии и скачки знаков, отныне — неведомых. Лишь изредка встанет ясным какое-нибудь одно слово, но тем сильнее кидается прочь стиснутая душа, подобно изменнику, очнувшегося для чести. Как то пропадает, то послышится вновь стук часов, так временно может стать внятным текст, но скоро позовет хлынувшая волна тоски откинуться, закрыв глаза, к ближнему будущему, призывая его стоном сердцебиения.

Долог такой день и метит он человека вечным клеймом. Читая или, вернее, держа на коленях книгу, сама же смотря дальше ее, Руна провела так час и другой; на половине же третьего вверх неведомый музыкант начал играть рапсодию; остановился и заиграл вновь. Тогда

все вернулось на свое место, ярче сверкнул свет, громче стал уличный шум и, удерживаясь, чтобы не бежать, девушка поднялась наверх.

Из дальней двери выбегал в сумерки на озаренный ковер свет. Свет пересекала тень человека. Руна остановилась, забыв все, что хотела сказать, но, сжав руки, не пошла далее, пока не овладела собой.

Ей скоро удалось это; она вошла, и к ней, всматриваясь, с улыбкой подошел Друд. Он был в черном простом костюме, как человек самый обыкновенный; проще и тверже, чем в первый раз чувствовала себя девушка, хотя, как и в тюрьме, на границе мира ошеломляющего. Однако в состояниях нам доступных есть спасительная слепая черта,—ничего не видно за ней: туман, от него вбегаем мы в озаренный круг текущего действия.

Друд сказал:

— Не сомневались ли вы? Если меня зовут, я прихожу неизменно; я пришел, зажег свет и играл.

Руна жестом усадила его и медленно опустилась сама, не смотря никуда больше, как только в его глаза,—взглядом ночного путника, отметившего далекий огонь. С невольной и простой силой она сказала:

— Как я ждала,—я, не ждавшая никогда!

— И мы — вместе,— продолжал он, так как это хотела она прибавить.— Руна, я много думал о вас. Оставим не главное; о главном надо говорить сразу, или оно заснет, как волна, политая с корабля маслом. Я пришел узнать и выслушать вас; я ждал этого дня. Да, я ждал его,—с раздумьем повторил он,—потому, что нашел красивую силу. Не должно быть меж нас стеснения; пусть наше внутреннее объятие будет легко. Говорите, я слушаю.

Она встала, протянув руки и бледнея, как от удара; удар прогремел в ней.

— Клянусь, день этот равен для меня воскресению или смерти.

И Галль молнией черкнул по ее душе. Она не понимала еще, что значит внезапно возникший его образ. В ней встало подлинное вдохновение власти — иенасытной, подобной обвалу. В забытьи обратилась она к себе: «Руна! Руна!» — и, прошептав это как богу, села с улыбкой, вырезавшей на чудном ее лице отражение всего состояния.

В этот момент вошел белый водолаз с человеческими глазами; устремив их на Друда, он потянул носом, завыл и стал, пятясь, дрожать.

Друд тихо сказал:

— Ложись. Лежи и слушай.

Тогда, словно поняв слова, великан кротко повалился набок меж Руной и ним, свесив язык.

— Я думал о вас много и хорошо,— сказал Друд.

Уже по внешности обычно-спокойная, она рассматривала его лицо; остановилась на беспечной линии рта, решительном выражении подбородка, темных усах, массивном лбе, полном высокой тяжести, и заглянула в глаза, где, темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию. Тогда, во время не большее, чем разрыв волоска, все веяния и эхо сказок, которым всегда отдаем мы некую часть нашего существа,— вдруг, с убедительностью близкого крика глянули ей в лицо из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями,— хором глаз, прекрасных и нежных. Схватив веер, она резко сложила его; свист перламутра отогнал странное состояние. Она сказала:

— Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет,— она рано или поздно появится; лучше, если теперь вы согласитесь со мной. Итак, я представляю: не в цирке или иных случаях, рожденных капризом, но с полным сознанием великой и легкой цели вы заявите о себе долгим воздушным путешествием, с расчетом поразить и увлечь. Что было в цирке — будет везде. Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолодеет; иступленно завоюет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному. Пойдет гром и гул; станут правилом бессонные ночи, а сумасшедшие в заточении своем начнут бить решетки; взрослые превратятся в детей, а дети будут играть в вас.

Если теперь, пока ново еще явление, клещи правительств не постеснялись бы раздавить вас, то после двух-трех месяцев всеобщего иступления вы станете под защиту общества. Возникнут надежды безмерные. Им отдадут дань все люди странного уклона души,— во всех сферах и примерах дел человеческих. А вас некоторое время снова не будет видно, пока не разлетится весть, где вы находитесь.

Согласно вашему положению, цели и характеру впечатления, вы должны будете повести образ жизни, действующий на воображение — центральную силу души. Я найду и дам деньги. Коменданг знает о вашем богатстве, но оно может оказаться ничтожным. Поэтому гигантский дворец на берегу моря ответит всем ожиданиям. Он должен вмещать толпы, процессии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полной светлых красок, — дворец, высокий как небо, с певучей глубиной царственных анфилад.

Тогда начнут к вам идти, чтобы говорить с вами, люди всех стран, рас и национальностей. «Друд» будет звучать, как «воздух», «дыхание». Странники, искатели «смысла» жизни, мечтатели всех видов; скрытные натуры, разочарованные, страдающие сплином или тоской, кандидаты в самоубийцы; неуравновешенные и полубезумные; нежные — с детской религией цветов и птичек, добросовестные ученые; потерпевшие от всяческих бедствий; предприниматели и авантюристы; изобретатели и прожекторы; попрошайки и нищие, — и женщины, легионы женщин, с пораженным зрением и с взрывом восторгов, которых в жизни обычной им негде выразить. И то будет ваша великая армия.

Одновременно со всем тем у вас появятся сторонники, агенты и капиталы с слепым к вам доверием: самые разнообразные, противоречащие друг другу цели постараются сделать вас точкой опоры. Газеты в погоне за прибылью будут печатать все, — и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт прежних веков. Вы же напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров, довольно, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших, — чему поверят все, так как под счастьем разумеют несбыточное.

После этого к вам явится еще больше людей, и вы будете говорить с ними, появляясь внезапно. Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс. И из ничего, из пустой фразы, лишенной прямого значения, вспыхнут легендарные обещания, катящиеся лавиной, опрокидывая старое настрояние.

Старое настроение говорит: «Игра и упорство». Новое настроение будет выражаться словами: «Чудо и счастье». Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными, и решение возложат на вас. Меж тем в клубях вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление, в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которую так давно и бездарно ловят посредством систем, заслуживающих лишь грустной улыбки.

Тогда — без динамита, пальбы и сложных мозговых судорог постоянное, ровное сознание разумного чуда — в лице вашем — сделает всякую власть столь шаткой, что при первом же ясно выраженном условии: «я — или они», земля скажет: «ты». Ничто не остановит ее. Она будет думать, что овладевает блестящими крыльями.

Девушка умолкла, вся ликуя и светясь; стальное, но и прекрасное — во всей силе одушевлявших ее гигантских расчетов — выражение не покидало ее лица, но тише, медленнее прозвучали последние слова Руны. Тогда поняла она, что Друд внутренне отвернулся и что ее слова отброшены ей назад, с равной им силой. Ее нервы ломались. Еще не успела она почувствовать всю силу удара, как раздалось резкое и холодное:

— Нет.

Он продолжал:

— Мне следовало остановить вас. Слушайте. Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите — что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Я двигаюсь с быстротой ветра, но люблю также бродить по живописным тропинкам. Охотно я рассматриваю книгу с картинками и доволен, когда, опустясь ночью на паром, сижу в кают-компани, вызывая недоумение: «Откуда этот, такой?» Но я люблю все. Мне ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра. Но укажите узор моего мира, и я изъясню вам весь его слож-

ный шифр. Смотрите: там тень; ее отбрасывают угол стола, кресло и перехват портьеры, абрис условного существа человеческих очертаний, но с складкой нездешнего выражения. Уже завтра, когда тень будет забыта, одна мысль, равная ей и ею рожденная, начнет жить бессмертно, отразив для несосчитанно-малой части будущего некую свою силу, явленную теперь. Розы, что разделяют нас, начинают распускать лепестки,— почему? Недалек рассвет, и им это известно. Перед тем, как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупики; схороните их. «Возьми меня на руки и покажи мне все — сверху. С тобой мне будет не страшно и хорошо».

Встав, он подошел к окну, смотря, как реет темная предрассветная синева, а звезды, дрожа, готовятся скатиться за горизонт.

— Клянусь,— сказал Друд,— что не чувствую ни зла, ни обиды, но только печаль. Я мог бы любить вас.

— О! — произнесла Руна с выражением столь неизъяснимым, но точным, что он побледнел и быстро повернулся к ней, увидев иное,— холодное, высокомерно поднятое лицо. Ничто не напоминало в ней только что горевшего возбуждения. Казалось, силой чудовищного самообладания мгновенно истребила она самую память о тех минутах, когда жила целью, бывшей, в страсти ее порыва, уже у ее гордой ноги, занесенной встать на вершину вершин. И Друд понял, что они расстались навек; во взгляде девушки, смерившем его мгновенным холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца.

Он вздрогнул, замер, потом быстро подошел к ней, взял за руки и принудил встать. Тогда что-то тронулось в ее чертах мучительным и горьким теплом, но скрылось, как искра.

— Смотри же,— сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, все повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна.— Смотри! — повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку.— От этого ты уходишь!

Они были среди пышных кустов,— так показалось Руне; на деле же — среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заста-

вили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, с странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее.

— Дурочка! — сурово еказал он. — Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!

Но шуткой не рассеял он тяжести и быстро пошел вниз, чувствуя, что услышит уже очень немного.

— Если нет власти здесь, я буду внизу. — С этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли, где, прислонясь к дереву, пересилила дрожь в ногах; затем, не оглядываясь, стала всходить по ступеням террасы. Друд был внизу, смотря вслед.

— Итак? — сказал он.

Девушка обернулась.

— Все или ничего, — сказала она. — Я хочу власти.

— А я, — ответил Друд, — я хочу видеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя.

Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверх, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Руна еще стояла там же, где остановилась, сказав: «Все». Но это «все» было вокруг нее, неотъемлемое, присущее человеку, чего не понимала она.

Свет выяснился, зажег цветы, позолотил щели занавесей и рассек сумеречную тишину роскошных зал густым блеском первого утреннего огня. Тогда, плача с неподвижным лицом, — медленно бегущие к углам рта крупные слезы казались росой, блещущей на гордом цветке, — девушка написала министру несколько строк, полных холодного, несколько виноватого радушия. И там значилось, в последней строке:

«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это — мечтатель».

XVI

Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились — между ними была целая жизнь.

Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд или «Двойная Звезда», проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим



«АЛЫЕ ПАРУСА»



«АЛЫЕ ПАРУСА»

из тьмы. Внизу, среди тусклого отсвета, рассеянного вокруг башни маяка ее огненной головой, вспыхивая зеленой пеной, текли к черной стене хлещущие свитки валов; вздымаясь у огромного ствола башни, они рушили к ее основанию ливни и водопады с силой пальбы. Во тьме красный или желтый огонь, застилая звезду, указывал движение парохода. Выли, стонали сирены, сообщая моменту оттенок безумия. По левой стороне тьмы светилась пыль огней далекого города.

Если есть боль, зрелище, отвлекая, делает боль неистовее, когда, сломав созерцание, душа вновь сосредоточится на ране своей. Друд отошел от окна. Его душа гнулаась и ныла, как спина носильщика под еле-посильным грузом; он страдал, поэтому стал ходить, чтобы не прислушиваться к себе.

Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.

— А! — сказал он. — Вы встали!

Друд обернулся, встретив грустными глаза своего товарища детских игр.

— Ты печален, болен быть может? — сказал он, усаживая сторожа на кровать рядом с собой. — Ну, потолкуем как раньше.

— Как раньше? — повторил Стеббс с горестным ударением. — Раньше я садился и слушал, удивлялся, хохотал, проводил ночи без сна, во тьме, расписанной после рассказов ваших ярчайшими красками. Пора ужинать. — Он взял из угла дров и присел к камину, раздувая огонь.

Друд перешел к нему, чувствуя себя скверно и виновато. Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя разгорелось.

— Стеббс, — сказал он, — с того дня, как я лежал при смерти, а ты сидел возле меня и капал в ложку сомнительное изобретение доктора Мармадука, прошло много времени, но было мало хороших минут. Давай делать хорошую минуточку. Сядем и закурим, как прежде, индейскую трубку мира.

Сначала скажем про Стеббса, какой он был наружности. Стеббс был невелик ростом, длинноволос; волосы веером лежали на пыльном воротнике старенького мундира; разорванные штаны, из-под которых едва виднелись

рыжие носки башмаков, мели своей бахромой пол. Худое лицо, все черты которого стремились вперед, имело острые пунцовые скулы; тщедушный, но широкоплечий, казалось, отразился он, став таким, в кривом зеркале,— из тех, что, подведи к ним верзилу, дают существо сплюснутое. Но у него были прекрасные собачьи глаза.

— Итак: «трубку мира»...

— Где она? — Притворяясь равнодушным, Стеббс медленно осмотрел полки и все углы помещения.— Нашел. Так давно не курил я ее, что из мундштука пахнет кислятиной. А какой табак?

— Возьми в жестяном ящике. Сядь рядом. Стой: не тронь спичек. Что это за книга? В углу?

— Это,— сказал Стеббс,— книжечка довольно серьезная; она сама упала туда.

Друд взял книгу.— «Искусство, как форма общественного движения»,— громко прочел он и выдрал из сочинения пук страниц, приговаривая: — Книжки этого рода хороши для всего, кроме своей прямой цели,— затем закурил текстом. Покурив, важно вручил он трубку молчавшему Стеббсу. Еще надутый, но уже с счастливой искрой в глазах, Стеббс стал расспрашивать о тюрьме.

— Приходил прокурор,— сказал Друд, смотря в огонь.— Он волновался; задал ряд нелепых вопросов. Я не отвечал; я выгнал его. Еще была...— Друд выпустил сложный клуб дыма.— В общем маяк все-таки хорош, Стеббс, но я завтра уйду.

— Опять,— печально заметил сторож.

— Есть причины, почему я должен развлечься. Веселья, веселья, Стеббс! Ты знаешь уже, какое веселье произошло в цирке. Такое же затеял я в разных местах земли, а ты о том будешь читать в газетах.

— Воображаю! — сказал Стеббс.— Я, в сущности, мало говорю, потому что привык; но, как вспомню, кто вы, подо мной словно загорится стул.

Друд сдвинул брови, улыбку спрятал в усы.

— Солнце не удивляет тебя? — спросил он очень серьезно.— А этот удар волны? А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «Я, я, я»,— прислушиваешься к непостижимому мгновению этому и собираешь в дырочку тво-

его зрачка стомильный охват неба и моря,— тогда ты глупо и самодовольно спокоен?

— Ну, ладно,— возразил Стеббс.— А вот что скажите: не полюбили ли вы?

Он произнес эти слова с оттенком такой важной и наивной заботы, что Друд простил его проницательность.

— Едва ли...— пробормотал он, толкая ногой поле. — Но контраст был разителен. Все дело в контрасте. Понял ты что-нибудь?

— Все! — с ужасом прошептал Стеббс.— Кофе готов.

— Довольно об этом; бросил ты писать стихи или нет?

— Нет,— сказал Стеббс с апломбом; глаза его блеснули живо и жадно. Не раз видел он себя в образе чуждого памятника, простирающим вещую руку над солнечной площадью. Но в малой его душе поэзия лежала ничком, ибо негде ей было повернуться. Так, град, рожденный электрическим вихрем, звонко стучит по тамбурину, но тупо по бочке.— Нет. В этом пункте мы разойдемся. Стихи мне стали даваться легче; есть прямо,— не скажу гениальные, но замечательные строки.

Лишь он заговорил о стихах (писать которые мог по несколько раз в день), с уверенностью, что Друд дразнит его,— так были очевидны Стеббсу их мифические достоинства,— как его скулы замалиновели, голос зазвенел, а руки, вонзаясь в волосы, откинули их вверх страшным кустом.

— Хотите, я прочитаю «Телеграфиста из преисподней»?

— Представь — да,— смеясь, кивнул Друд,— да, и как можно скорее.

С довольным видом Стеббс выгрузил из сундука кипу тетрадей. Перелистывая их, он бормотал: — «Ну... это не отделано...», «в первоначальной редакции», «здесь — недурно», — и тому подобные фразы, имеющие значение приступа. Наконец, он остановился на рукописи, пестрой от клякс.

— Слушайте! — сказал Стеббс.

— Слушаю! — сказал Друд.

Сторож заголосил нараспев:

В ветро-весеннем зное,
Облачась облаком белым,
Покину царство земное
И в подземное сойду смело.

Там — Ад. Там горят свечи
Из человеческого жира,
Живуча там память о встрече
С существом из другого мира.

На моей рыдающей лире
Депшу с берегов Стикса
Шлю тем, кто в подлунном мире
Ищет огневейного Икса.

Гремя подземным раскатом,
Демон...

— Теперь,— сказал Друд,— почитай другое.
Стеббс послушно остановился.

— Знаю,— кротко заметил он,— вам эта форма не нравится, а только теперь все пишут так. Какое же ваше впечатление?

— Никакого.

— Как? Совсем никакого впечатления?

— Да, то есть — в том смысле, какого ты жаждешь.

Ты волнуешься, как влюбленный глухонемой. Твои стихи, подобно тупой пиле, дергают душу, не разделяя ее. Творить — это, ведь, — разделять, вводя свое в массу чужой души. Смотри: читая Мериме, я уже не вынул Кармен из ее сверкающего гнезда; оно образовалось неизгладимо; художник рассек душу, вставив алмаз. Чем он успел в том? Тем, что собрал все моей души, подобное этому стремительному гордому образу, хотя бы это все заключалось в мелькании взглядов, рассеянных среди толп, музыкальных воспоминаниях, резьбе орнамента, пейзаже, настроении или сне, — лишь бы подобно было цыганке Кармен качеством впечатления. Из крошек пекут хлеб. Из песчинок наливается виноград. Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен и многие, столь мраморные, — другие, — сжаты творцом в нивах нашей души. Как стягивается туманность, образуя планету, так растет образ; он крепнет, потягивается, хрустя пальцами, и просыпается к жизни в рассеченной душе нашей, успокоив воображение, бессвязно и дробно томившееся по нем.

Если вставочка, которой ты пишешь, не перо лебедя или орла,— для тебя, Стеббс, если бумага — не живой, нежный и чистый друг,— тоже для тебя, Стеббс, если нет мысли, что все задуманное и исполненное могло бы быть еще стократ совершеннее, чем теперь,— ты можешь заснуть, и сном твоим будет простая жизнь, творчество божественных сил. А ты скажешь Ему: «под складкой платья твоего пройду и умру; спасибо за все».

Довольно мне сечь тебя. Запомни: «депешу на вдохновенной лире» посылают штабные писаря прачкам. «Живуча» — говорят о кошках. Кроме того, все, что я сказал, ты чувствуешь сам, но не повторишь по неумению и упрямству.

Выслушав это, Стеббс хмуро отложил тетрадь, вымыл кружки, насыпал на закопченный стол сухарей и отковырнул из бочки пласт соленой свинины. Разрубив ее тяжелым ножом, он, обдумав что-то, добродушно расхохотался.

Друд поинтересовался — не его ли безжалостная тирада подействовала так благотворно на пылкое сердце поэта. — Вы угадали, — сказал Стеббс с тихо-победоносным блеском увлажнившихся глаз, — я просто вижу, что в поэзии мало вы понимаете.

— Действительно так; я никогда не писал стихов. А все-таки послушай меня: когда здесь, в этом скворечнике появится улыбающееся женское лицо, оно, с полным пренебрежением к гениальности, отберет у тебя штаны, приштопав к ним все пуговицы, и ты будешь тратить меньше бумаги. Ты будешь закутывать ее на ночь в теплое одеяло и мазать ей на хлеб масло. Вот что хотел бы я, Стеббс, для тебя. Дай мне еще сахара.

Стеббс было закатил глаза, но вдруг омрачился.

— Женщина губит творчество, — пробормотал он, — эти создания — они вас заберут в руки и слопают. — Отогнав рой белокурых видений, слетевшихся, как мухи на сахар, едва заговорили о них, Стеббс взбодрил пятерней волосы; затем простер руку. — Прислушайтесь! Разве плохо? Гремя подземным раскатом, демон разрывает ущелье; гранитом он и булатом справляет свое новоселье. О, если бы...

— Стой! — сказал Друд; здесь, хлынув в окно с силой внезапной, ветер едва не погасил лампу; фыркнули листы огромной тетради Стеббса и что-то, подобно звуку стихающего камертона, пропело в углу.

— Что так нежно и тонко звенит там? — спросил Друд. — Не арфу ли потерял Эол?

Стеббс сказал:

— Сначала я объясню, потом покажу. В долгие ночные часы придумал и осуществил я машину для услаждения слуха. После Рождества, Нового года, дня рождения и многих иных дней, не столь важных, но имеющих необъяснимое отношение к веселью души, остается много пустых бутылок. Вот посмотрите, зрите: се — рояль Стеббса.

Говоря это, он вытащил из-за занавески вертикально установленную деревянную раму; под ее верхней рейкой висел на проволочках ряд маленьких и больших бутылок; днища их были отпилены. Качаясь в руках Стеббса, это музыкальное сооружение нестройно звенело; взяв палочку, сторож черкнул ею по всему ряду бутылок вправо и влево; раздалась трель, напоминающая тот средний меж смехом и завыванием звук, какой издает нервический человек, если его крепко пощекотать.

— Что же вам сыграть? — сказал Стеббс, выделывая своей палочкой «дринь-дринь» и «ди-ди-до-дон». Звук был неглубок, тих и приятен, как простая улыбка. — Что же сыграть? Танец, песню или, если хотите, оперную мелодию? Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати — двадцати вещей; мои любимые мелодии: «Ветер в горах», «Фанданго», «Санта-Лючия» и еще кое-что, например: вальс «Душистый цветок».

— Попробуем «Фанданго», — сказал Друд, оживляясь и усаживаясь на стуле верхом с трубкой в зубах. — Начинай, я же буду насвистывать, таким образом у нас будет флейта, струна и звон.

Перебрасывая палочку среди запевших бутылок быстрой неумолимой рукой, Стеббс начал выводить знаменитую мелодию, полную гордого торжества огненной жизни. Но с первых же тактов свойство инструмента, созданного для лирики, а не для драмы, заставило концертантов отказаться от первого номера.

— Попробуем что-либо другое. — Друд стал свис-

тать тихо, прислушиваясь.— Вот это...— и оно так же звенит в оркестре.

— Посвистите еще,— Стеббс, склонив ухо, понял и уловил мотив.— Ага! На средний регистр.

Он прозвенел палочкой; Друд взял тон, увлеченно насвистывая; то был электризующий свист гибкого и мягкого тембра. Свистал он великолепно. Стеббс был тоже в ударе. Они играли вальс из «Фауста». Прошла тихая тень Маргариты; ей вслед задумчиво, жестоко и нежно улыбнулся молодой человек в пышном костюме с старой и тщеславной душой.

— А это славно, это хорошо!— вскричал Стеббс, когда они кончили — Теперь закурим. Что следующее?

Смеясь, болтая и тревожась, как бы Друд не вернулся из тилой страны звона к мрачной рассеянности, он торопливо наигрывал, поддерживая в нем детское желание продолжать спасительную забаву. Так, переходя от одной вещи к другой, затеяли и разыграли они песенку «Бен-Бельт», которую поет Трильби у Дюмурье; «Далеко, далеко до Типерери»; «Южный Крест»; второй вальс Годара, «Старый фрак» Беранже и «Санта-Лючия».

Меж тем стало светать; первое усилие дня, намечающего свой путь в бурной громаде ночи, окружило желтое пятно лампы серым утренним беспорядком; уже видны были в окно волны и пена. Ветер стихал.

Друд как бы очнулся. Печально посмотрел он вокруг и встал:

— Ну, Стеббс, еще раз, перед тем как расстаться,— «Санта-Лючия».

Стеббс вытер глаза; стекло стало вызванивать:

Ясными звездами море сияет,
Вдаль веет ветер, вглубь увлекает;
К лодкам спешьте все — в ночи такие.
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Друд тихо свистал. Уже видел он и то, что сказано во втором куплете:

Море чуть зыблется. Здесь, на просторе,
Как рыбаки, вы все сбросите горе,
И да покинут вас скорби людские...
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Он видел это, и тише становилось в его душе.

Когда кончили, хлопнув по плечу Стеббса, Друд сказал:

— Спасибо! Ночь была хороша; сделали мы и хорошую минуту. Прощай!

Затем он оделся,— как одеваются для ветра и холода: сапоги, толстая куртка и шапка с ремнем, проходящим под подбородком. Стеббс, без нужды в том, усердно помогал одеваться; он был совершенно расстроен.

Наконец заря вышла из облаков, рассеяв стальной, белый и алый оттенки на проясневшей воде. Друд подошел к окну. Тогда, плача откровенно и горько, как маленький, Стеббс ухватился за него, оттягивая назад.

— Хотите, я сожгу все тетрадки, если вы останетесь еще на один день? Клянусь, я сделаю это!

Друд, смеясь, обнял его.

— Зачем же,— мягко сказал он.— Нет, Стеббс, я был не совсем прав; играй, стихи — твоя игра. Каждый человек должен играть.— Он двинулся в пустоту, но вернулся, хлопая себя по карману.— Я забыл спички.

Стеббс подал коробку.

— Жди, я вернусь,— сказал Друд.

Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом,— усилие, относительно которого никогда не мог бы точно сказать, как это улетается ему, и стал удаляться; с руками за спиной, сдвинув и укрепив на тайной опоре ноги. Лицо его было обращено к облачной стране, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался. По мере того, как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма, Стеббс невольно увидел призрачную дорогу, в которой имеющий всегда дело с тяжестью ум человека не может отказать даже независимому явлению. Дорога эта, эфирнее самого воздуха, вилась голубым путем среди шиповника, жимолости и белых акаций, среди теней и переливов невещественных форм, созданных игрой утра. По лучезарному склону восходила она, скрывая свое продолжение в облачных снегах великолепной плывущей страны, где хоры и разливы движений кружатся над землей. И в тех белых массах исчез Друд.

ЧАСТЬ II

УЛЕТАЮЩИЙ ЗВОН

I

Весной следующего года в газетной прессе появились удивительные и странные сообщения. Эти сообщения разрабатывали одно и то же явление, и будь репутация шестой державы немного почтеннее, чем та, какой она пользуется в глазах остальных пяти великих держав света,— факты, рассказанные ее страницами, наверное, возбудили бы интерес чрезмерный. Не было сомнения, что эту сенсацию постигнет обычная судьба двухголовых детей или открытия, как превращать свинец в золото,— что время от времени подается в виде свежего кушанья. Казалось, сами редакторы, тонко изучившие душу читателя, рассматривают монстральный материал свой не выше «Переплыва Ниагары в бочонке», или «Воскресения замурованной христианки времен Калигулы», печатая его в сборных отделах, с заголовком: «Человек-загадка», «Чудо или галлюцинация», «Невероятное происшествие», и с другими, более или менее снимающими ответственность ярлыками, чем как бы хотели сказать: «Вот, мы умываем руки: кушайте, что дают».

Однако, как сказал некто Э. Б.,— «не у всех рыжих одинаковая судьба», и это изречение кстати упомянуть здесь. Десять, пятнадцать, двадцать раз изумлялся читатель, пробегаая в разных углах мира строки о неуследимом фантоме, явившемся кому-то из тех, кого не встретили мы, не встретим, и чьи имена — нам — звук слов напрасных; ничего не изменило, не сдвинуло в его жизни им прочитанное и наконец было забыто, только иногда вспоминал он, как тронулась в нем случайным прикосновением редкая струна, какой он не подзревал сам. Что был это за звук? Как ни напрягается память, в тоскливейшем из капризов Причудливого — в глухом мраке снует мысль, бестолково бьется ее челнок, рвется основа, путая узел на узел. Ничего нет. Что же было? Газетный анекдот — и тоска.

Но перебросим мост от нас к тому печальному тексту. Литература фактов вообще самый фантастиче

ский из всех существующих рисунков действительности, то же, что глухому оркестр: взад-вперед ходит смычок, надувается щека возле медной трубы, скачет барабанная палка, но нет звуков, хотя видны те движения, какие рождают их. Примем в возражение факты, сущность которых так разительна, что мясо и дух события, иначе говоря — очевидство и проникновение в суть факта, немного прибавят к впечатлению, полученному путем сообщения. Действительно такой факт возможен. Например, провались в Чикаго двадцатидвухэтажный дом, мы, поставленные о том в известность, внутренне подскочим, хотя скоро уже не будем думать об этом. Что это — так, что факты как факты, даже пропитанные удушливой смолой публицистических и партийных костров, никоим образом не смущают ни жизнь, ни мысль нашу, достаточно вспомнить то хладнокровное внимание, с каким просматриваем мы газету, не помня на другой день, что читали сегодня, а между тем держали в руках не что иное, как трепет, борьбу и жизнь всего мира, предъявленные на манер ресторанного счета.

В этой тираде нашей тщетно было бы искать реформационных потуг или требований безмерных, к кому бы то и к чему бы то ни было. Мы просто отмечаем пустоту, куда не хотим идти. Как, в самом деле, перечислять, где, когда и кто смутился и испугался, кто может быть близорук, а кто — склонен к галлюцинациям на почве неясных слухов?

Как устанавливать и решать, где проходит идеально прямая черта действительного события? Вообще, поиски такого рода — дело специалистов. Однако, поступив проще, представив себя — в лице многих тех N. и С. — в положении выезжающего сразу из шести ворот Сеп-Жермена, можно среди зигзагов и конусов странной корреспонденции увидеть нечто, равное всему общему разбросанного и сборного впечатления; для этого нужно лишь сказать «я». Я иду где-то, замечая тень или человека, скользящего высоко вверху, во всей странности подобного лицезрения; иные формы, иные положения той же встречи смутно выделяются одна из другой в графитовом полусвете сна; и я не знаю — мое ли яркое представление о том вводит всю муть в формы отчетливых сцен, было ли то мне рассказано, или случилось со мной. Быть может, интереснее всего некоторые ошиб-

ки, возникшие под влиянием слухов о существе, не знающем расстояния.

Тот трубочист, которому выпало на долю заразить суеверным страхом нервных прохожих, будет, надо думать, до конца дней помнить захватывающее и глубокое впечатление, произведенное его дымной фигурой на фоне лилового вечернего неба. Он опомнился, когда увидел внизу огромную черную лужу толпы; постепенно смутный хор ее гула разросся в потрясающее смятение, и враг сажки спустился по требованию полиции с крыши шестизэтажного дома вниз, где немедленно стал причиной разочарования, насмешек и оскорблений. Быть может, среди этой толпы был и тот мальчик, фигурный китайский змей которого, дико урча трещоткой над башней ратуши в Эльте, привлек воспламененное внимание охотника Бурико, сразу поклявшегося, что убьет черта двойным зарядом из своей льежской двухстволки, опустив предварительно поверх карточных зарядов иглы ежа. Этой клятвы никто не слышал, но два оглушительных выстрела слышали посетители соседней кофейной, с интересом следившие за тем, как, потеряв бечеву, пересеченную дробинкой, змей повертывался и нырял, подобно игральной карте, над острой крышей сумеречной Эльтской ратуши. То было под вечер, так что никто не видел естественной краски стыда в полном лице грозного Бурико, после того как ему было растолковано его заблуждение. В другом случае задрожал и долго читал молитвы крестьянин, шедший с котомкой на плечах по луговой тропе в окрестностях Нового Рима. Было утро, и над травой летел человек. Трава скрывала велосипед, поэтому крестьянин отшатнулся и ахнул. Вокруг него было так тихо, так много цветов, и так резко промчался неслышный в движении своем человек.

Теперь время упомянуть о том, что за девушкой, севшей в одном из скверов Лисса с книгой в руках, а скромную поклажу свою поместившей на траве рядом,— задумавшись, наблюдал человек особой,— отдельной от всех,— жизни. Он смотрел на это молодое существо так, что она не могла видеть его, не могла даже подозревать о его присутствии. Она только что приехала. С неторопливой, спокойной внимательностью, подобной тому, как рыбаки рассматривают и перебирают узлы петлей своей сети, вникал он во все мелочи

впечатления, производимого на него девушкой, пока не понял, что перед ним человек, ступивший, не зная о том, в опасный глухой круг. Над хрусталем взвился молоток. И он подошел к ней.

II

Девушка, о которой зашла речь, прибыла в Лисс с почным поездом. Ей было девятнадцать лет,— почти полных, так как девятнадцать ровно должно было прийти на другой день, в десять часов вечера. Не без сожаления вспоминала она об этом: в беспечных условиях день ее рождения мог быть отмечен сладким пирогом и веселым домоседством среди подобных ей девчокообразных подруг с нетерпеливыми и пылкими головами. Между тем на ее объявление в «Лисской Газете» последовало письмо Торпа, предлагающее место компаньонки и чтицы.

Париж стоит обедни. Газета ошиблась, тиснув скромное объявление по разряду с м е с и, что, в свою очередь, заставило ошибиться Торпа.— «Как вас зовут?» — спросил юную путешественницу на вокзале приветливый, лысый человек преждевременной дряблости, с вздрагивающей ногой, заинтересованный ее манерой посматривать на маленькие свои ножки в лаковых туфельках, недавно купленных из последнего,— выше хлеба и зрелищ девушка ценила хорошенькую, стройную обувь.— «Тави»,— сказала она простосердечно, краснея тем тонким и обаятельно чистым румянцем, какой не продается под золотой пломбой, не вызывает искусственным душевным движением.— «А ваша фамилия?» — Полумесяцем вознеся левую бровь, девушка взглянула на него с сердцем, выпалив «Тум» так, что оно прозвучало, как «Бум»,— стальным тоном ясного желания прекратить разговор. «Тра-та-та!» — напевал франт, удаляясь с высоко закинутой головой, а Тави Тум — порешим звать ее просто Т а в и — села ожидать рассвета на мраморную скамью. Закусывая ветчиной с хлебом, читала она «Двух Диан»; к ней подходили комиссионеры, предлагая гостиницы, но, не видя в том надобности, так как уже этим утром должна была поселиться у Торпа, Тави оставалась сидеть среди гула и толпы вокзального здания.

Меж тем один за другим прибывали утренние поезда; волнуясь и перекликаясь, путешественники неслись шумным водоворотом; гром экипажей, свистки, звук посуды, разносимой буфетной прислугой, и лязг вагонных сцеплений проникали в высоту сводов отлетающим эхом. Когда Монгомери ухватил нижний конец веревочной лестницы, ведущей на форт Калэ¹, шум вокзала назойливо покрыл решительное его дыхание; Тави закрыла книгу, вздохнула и осмотрелась.

Застоявшись благодаря туману в недрах ночи, утро осилило наконец мрак. Электрический свет еще распространял свою вездесущую машинную желтизну, но к его застывшему блеску примешивался уже день, отсвечивая на полу и лицах свежим пятном. За окнами из паровоза хлестал пар, рассеиваясь по крышам станционных строений: на сером стекле синие облака и зеленая полоса раннего неба окутывали восход, готовый двинуться над просыпавшимся Лиссом.

Город просыпался, но Тави отчаянно зевала; усталость и улегшееся уже возбуждение приезда обернулись сонливостью. Стараясь очнуться, решила она пройтись по улицам. Как было ей все равно, куда, идти, она пошла прямо и скоро заметила небольшой сквер. Здесь, среди дубов, овеивавших лицо сыростью едва пошевелившейся листвы, ее душа прояснилась; но не утомительный труд, не жестокую зависимость видела она впереди, а веселую семью, открытый щедрый дом, где как подруга или желанная гостя она будет жить, делая все посильное охотно и беззаботно. Так мечтая, торопилась она опередить время. Ей предстояло три часа в день читать Самуилу Торпу. Его письмо, подробно перечислявшее весьма выгодные условия найма, ничего не говорило о том, почему Торп не любит или не может читать сам; для Тави, любившей книги так, что она их целовала или отшвыривала, сердясь, как на человека,— невозможно было понять странное удовольствие слышать чтение из вторых рук, с чужой интонацией и в определенные часы, как служба или работа. Устав думать о том, Тави хмыкнула, возвращаясь к Монгомери.

¹ А. Д ю м а. Две Дианы. (Прим. автора.)

Каково лезть на высоту восьмидесяти футов, ночью, по веревочной лестнице, не зная, ждет ли сверху дружеская рука или удар? Вся трепеща, взбиралась Тави с отважным графом, раскачиваясь и ударяясь о стену форта Калэ. Это происходило бурной ночью, но сквер дымился и сквозил солнечным светом; на верху форта гремели мечи, а по аллее скакали воробьи, самозабвенно треща о всем, что светило и грело вокруг; потянул теплый ветер; на песке затрепетала тень листьев, и стало невозможно читать; забота о наступающем взяла верх.

В то время как она, сложив книгу, встала, осматриваясь, не увидит ли где открывающиеся двери кафе, к ней подошел человек, смотря так прямо и пристально, что она отступила, но тотчас признала в нем пассажира, севшего ночью на неизвестной станции. Запомнив его лицо, она ничем не отличила его тогда от других сонных фигур, дремавших, облокотясь на саквояж или, стоя в проходе, разговаривавших вполголоса у окна, в дыму сигар. С уверенностью она могла лишь сказать, что он ехал в одном с нею вагоне. С живостью, отличавшей все ее решения и постановления, тотчас нашла она, что неизвестный — вылитый портрет графа Монгомери, и хотя костюм той эпохи и запыленное дорожное пальто неизвестного противоречили ее впечатлению, было ей все же приятно улыбнуться открыто хотя кому-нибудь в чужом городе. Хотя Тави недавно перестала быть девочкой, она знала, как бывает хорошо улыбнуться или сказать что-нибудь с легким чувством, мимолетно, без задней мысли и связи с чем бы то ни было.

— Я вас узнала, узнала, — сказала она, подав руку, — кажется, вы сидели наискосок. Так мрачно. Сам с собой. Что хорошенького?

— Утром хорошо все, — сказал незнакомец. Тави удивилась богатству выражений его лица; они мгновенно, плавно меняясь, располагали внимать и вслушиваться; слова как бы приобретали цвет, форму и тождество с выраженными помощью их явлениями. Ей стало ясно, что «утром хорошо все», и она рассмеялась — Мое имя — Вениамин Крукс. Не бесцельно я подошел к вам. Вы, по-видимому, здесь одиноки, поэтому я хочу знать, где и у кого вы остановитесь,

чтобы быть полезным вам, чем могу Устроив дела, я тотчас сообщу вам свой адрес. Что бы ни случилось,—я говорю о черных часах,—смело обратитесь ко мне.

Все это Крукс выразил без малейшего замешательства, неторопливо и покойно, как дома. Тави ждала, не прибавит ли он естественного в таком случае извинения; не назовет ли сам свое предложение навязчивостью, однако Вениамин Крукс молчал, ожидая ответа, так непринужденно, что девушка поспешно сказала:

— Ну да. То есть,—я не знаю, что... Разумеется я вас благодарю, тронута и... еще что? Я все спутала. Меня наняли к Торпу. Самуил Торп живет на улице Виз, 7; я у него должна жить и читать. Извините, что вас задерживаю, но надо же поговорить по душам, раз уж так вышло. Он вызвал меня по объявлению. Не хотелось мне, скажу откровенно, ехать вчера, так как завтра... гм... день моего рождения. Если позволите. В этот день я родилась. Между тем были присланы на дорогу деньги. А я—как бы это вам выразить,—праздничку вот как рада, если есть деньги, не пожалею. Поэтому, на что я могла бы ехать после рождения? Таков мой характер. Увы! Почему вы смеетесь?

— О, нет,—медленно проговорил Крукс,—я только улыбнулся воспоминанию. Однажды мне подарили стайку колибри — в белой алюминиевой клетке, полной зелени. Я выпускал их. Эти птички должны быть вам известны по рисункам и книгам. Итак, я выпускал их, смотря, как над современной улицей, с ее треском кофейной мельницы и светом доменной печи, взлетали ночью эти порхающие драгоценности,—маленькие, как феи цветов.

— Неподражаемо! — вскричала Тави.— А слетались они потом к вам?

— Я сзывал их звуком особого свистка, короткой трелью; заслышав сигнал, они возвращались немедленно.

Девушка воодушевилась:

— Вот тоже,—восковые лебеди, пустые внутри, любят, если поводишь магнетизированной палочкой,—они плывут и расходятся, как живые. Это было давно.

Мне кто-то подарил их. Я очень любила, бывало, водить палочкой.

Она внутренне поникла, взгрустнув тем уголком души, который следит за нами в прошлом и настоящем.

— Н-да-с, старость не радость, так-то, господин Крукс, а впрочем, все образуется.

— Непременно,— подтвердил он,— желаю вам успеха и твердости. Ваша песенка хороша.

— Тави Тум не поет,— сказала, краснея и улыбаясь девушка.— Тави Тум может только напевать про себя.

— Но слышно многим. Идите и не оглядывайтесь.

Тави с недоумением покорно повернулась и отошла, кипя желанием оглянуться; хотя стыдно было ей выказывать любопытство, но странно произнес Крукс эти слова,— что он хотел сказать? «Не могу»,— простонала Тави,— и обернулась.

За решеткой сквера слились тени, белые стены, блеск стекол. Она увидела смутное очертание экипажа, коней; к экипажу подошел Крукс, сел и сказал что-то рукой. Нельзя было рассмотреть ни его лица, ни темного кучера,— сцена эта явилась как бы сквозь задымленное стекло. «Лучи солнца прямо в глаза»,— подумала Тави; тогда лошади побежали все быстрее, колеса завертелись, растаяли; растаял экипаж, Крукс; все исчезло, как бы уничтоженное собственным движением на одном месте, и за решеткой ветерок метнул пыль.

— Это я сплю среди белого дня,— сказала Тави, оторопев и протирая глаза.— Конечно! Глаза уже слиплись. Он ушел, и более ничего. Но, как простенько хорошо может быть от пустякового разговора.

С чувством, что только что была в теплой руке, девушка услышала стук засовов,— то против сквера открылось кафе. Толкнув его дверь, девушка перескочила через полосу сора, подметавшегося сонной прислугой, заняла столик и стала пить чай, просматривая газеты. Она так устала, что просидела здесь в сладком оцепенении больше часа, затем вышла, медленно переходя от витрины к витрине и рассматривая с огромным удовольствием выставленные там вещи, чем самозабвенно увлеклась, и лишь увидев часы с стрелками, готовыми ущемить цифру одиннадцать, встрепенулась, взяла извозчика и поехала к Торпу.

III

Не раз задумывались мы над вопросом, — можно ли назвать мыслями сверкающую душевную вибрацию, которая переполняет юное существо в серьезный момент жизни. Перелет настроений, волнение и глухая песня судьбы, причем среди мелодии этой — совершенно отчетливые мысли подобны блеску лучей на зыби речной, — вот может быть более или менее истинный характер внутренней сферы, заглядывая в которую щурится ослепленный глаз. Отсюда не труден переход к улице, на которую, окончив путь, свернул извозчик, — к сверкающей перспективе садов среди чугунных оград; эмаль, бронза и серебро сплели в них затейливый арабеск; против аллей, ведущих от ворот к белым и красноватым подъездам, полным зеркального стекла, сияли мраморные фасады, подобные невозмутимой скале. Этот мир еще спал, но утренний огонь неба среди пышных цветов уже сторожил позднее пробуждение.

Осматриваясь, Тави трепетала, как на экзамене. Видя, что окружает ее, скрылась она в самую глубину себя, подавленная робостью и досадой на робость. Она не могла быть гостьей среди этих роскошных гнезд, но лишь существом мира, чуждого великолепным решеткам, охраняющим сияющие сады; они были выведены, чтобы отделить ее жизнь от замкнутой в садах жизни красивой чертой. Это впечатление было сильно и тяжело.

Извозчик остановился, путь окончен. Звоня у ворот, Тави рассматривала сквозь их кованые железные листья в тени подъездной аллеи мавританский портик и вазы с острями агав. Прошло очень немного времени, — казалось, только лишь опустилась ее рука, тронувшая звонок, — как из-за угла здания выскочил человек в лакейской куртке, направляясь бегом к воротам. Он стал возиться с замком, спрашивая:

— Из бюро? От какой конторы?

Пропустив Тави, тупо воззрился он на чемодан и коробку.

— А для чего вещи?

Девушка заметила, что его что-то смущает, что-то вертится на языке; взглянув на нее внимательнее, слуга решительно ухмыльнулся...

— Впрочем,— сказал он, беря багаж девушки, но загораживая ей дорогу,— если хотите получить заказ, нужно заплатить мне, а не то родственники обратятся в другое место.

— Вы думаете, что я шью платья? — гневно спросила Тави, раздраженная бестолковой встречей.— Я приехала служить в этот дом читательницей господину Торпу.

— Чтица?—сказал лакей, подперев бок рукой, которой держал саквояж.— Так бы вы и сказали.

— Ну да, читательницей,— поправила девушка, чувствуя к слову «чтица» серое отвращение. «Оно обстрижено»,— успела она подумать,— затем, вслух: — Несите и скажите, что я приехала, приехала Тави Тум.

— Господин Торп,— сказал лакей тоном официальной скорби,— божьей волей скончался сегодня утром, в семь с четвертью, скоропостижно. Он умер.

Девушка, отбежав, закрыла лицо, потом, опасливо вытянувшись и спрятав назад руки, как в игре, где могут поймать, уставилась на лакея взглядом ошеломления.

— Вы говорите, он умер? То есть — скончался?

— И умер и скончался,— равнодушно отвегил лакей — А о р т а. У нас знают, что вы приедете. Я провожу вас.

Он кивнул к дому, приглашая идти. Не печаль, не страх стеснили легкое дыхание девушки и не сожаление о блестящем заработке, так неудержимо рухнувшем в пустоту, откуда он щедро сверкнул, но красноречие совпадения — этот всегда яркий взволнованному уму звон спутанных голосов. Смятение и шум наполнили сердце Тави. Смотря на убегающий свой чемодан, шла она за лакеем так неровно, как, путаясь в густом хмеле, идет по заросли человек, разыскивая тропинку.

Лакей приостановился, напряженно ожидая девушку глазами, сузившимися от умильной надежды. Как Тави догнала его, он шепнул:

— Барышня, есть у вас какая-нибудь мелкая монета, самая мелкая?

Тупо взглянув, Тави погрузила руку в карман; схватив там, вместе с ореховой скорлупой, серебряную мелочь, она мрачно сунула монеты лакею.

— Очень вам благодарен,— сказал тот.— Вы думаете, это на чай? Ффи.— Как по ее лицу было видно, что она действительно так думает, лакей, помедлив, добавил: — Это — на счастье. Я вижу, вы счастливая, потому и спросил. Теперь я пойду в клуб и без промаха замечу банк.

— Я? Счастливая? — Но было нечто во взгляде лакея, подсказавшее ей не допытываться смысла подарка. После этого шествие окончилось при взаимном молчании; мелькнуло несколько мужских и женских фигур,— стены и лестницы, переходы и коридоры; наконец Тави смогла сесть и сосредоточиться.

IV

Прежде всего вспомнила она, что среди взглядов, рассеянных на пути к этому синему с золотыми цветами креслу, мелькнули взгляды странного выражения, полные мниморавнодушной улыбки. Два-три человека холодно осмотрели ее, как бы прицениваясь ко всему ее существу,— быть может, из любопытства, быть может, лишь показалось ей, что их взгляды терпки поulichному,— но ее чуткий духовный мир обнесло тончайшей паутиной двусмысленности. Как было ей сказано, что через некоторое время выйдет к ней хозяйка-вдова, Тави не много думала о взглядах и впечатлениях, строя и кружа мысли вокруг трагического события. Прикладывая вдруг остывшие руки ледяным тылом кистей к пылающему лицу, она вздрагивала и вздыхала. Ее оставили сидеть в одной из проходных зал, с высокими сквозными дверями; лучистые окна, открывающие среди ярких теней трогающую небеса пышную красоту сада, озаряли и томили нервно-напряженную девушку; в строгом просторе залы плыли лучи, касаясь стен дрожащим пятном. «Смерть!» Тави задумалась над ее опустошающей силой; боясь погрузиться в кресло, как будто его покойный провал был близок к страшной потере дома, сидела она на краю, удерживаясь руками за валики и хмурясь своему пугливому отражению в дали зеркального просвета, обнесенного массивной резьбой.

Тогда из дверей, на которые стала она посматривать с нетерпением, вышла черноволосая женщина со-

рока — сорока пяти лет. Она была пряма, высока и угловато-худа; ее фигура укладывалась в несколько резких линий, стремительных как напряжение черного блеска глаз, стирающих все остальное лицо. Сухой разрез тонких губ, сжатых непримиримо и страстно, тяжело трогал сердце. Черное платье, стянутое под подбородком и у кистей узором тесемы, при солнце, сеющем по коврам безмятежный дымок цветных отражений, напоминало обугленный ствол среди цветов и лучей.

— Так вы приехали? — громко сказала вдова, бесцеремонно оглянув девушку, — вы приехали, конечно, в приятных расчетах на... удобное место. — Перерыв фразы, самый тон перерыва, уже испугал Тави, в нем блеснул злой, страстный удар. — Никто не ожидал, что он умрет, — продолжала вдова, — вероятно, вы менее всех ждали этого. Вы разве не слышали звонка? Нет? — она холодно улыбнулась. — Не поспешили? Прислуга вошла, закричала: он лежал на полу, раскинувшись, с рукой у воротника. Готов! У вас есть семья? сестры? братья? Может быть, у вас есть жених? Но, милая, как вас зовут?

Тави силилась говорить, спазма удерживала ее; наконец, собственное имя заикающимся лепетом вырвалось из ее побледневших губ. По мере того, как вдова, тягостно улыбаясь, пристально наблюдала приезжую, девушке становилось все хуже; уже слезы, неизменные спутники горьких минут — слезы и смех часто выражали всю Тави, — уже слезы обиженно попросились к ней на глаза, а лицо стало по-детски огорчаться и кукситься, — но женщина движением инстинкта поймала некое указание. Она хмуро вздохнула; не сочувствие — горькая рассеянность, занятая вдали темной мыслью, отражалась в ее лице, когда, взяв девушку за дрогнувшую руку, она заговорила опять.

— Довольны ли вы тем, что случилось? Понимаете ли, что перед вами одной встала эта стена? Вы родились под счастливой звездой. Может быть, умерший слышит меня, тем лучше. Я устала от ненависти. Скоро наступит час, когда отдохну и я. Десять лет мучений и ненависти, десять лет страха и отвращения — разве не заслужила я отдыха? Говорят, смерть примиряет, — как понять это, если сердце в злом торжестве радо смерти? Я ненавижу его, даже теперь.

Говоря так, она смотрела в окно, то притягивая руку Тави, то отталкивая, но не выпуская из жестких, горячих пальцев, как бы в борьбе меж гневом и лаской; казалось, потрясение рокового утра колыхнуло все чувства прошлого, оживив их кратким огнем.

— Не бойтесь,— сказала она, видя, что Тави мучается и дрожит,— о ненависти в день смерти вам не приходилось слышать еще, но я должна говорить с вами так; может быть, я должна сказать больше. Не знаю, чем тронули вы меня, но я вас прощаю. Да, прощаю! — крикнула она, заметив, как потемнели глаза Тави.— Вы гневаетесь, думая, что я не имею права, повода прощать вас, что первый раз мы видим друг друга. А знаете ли вы, что можно прощать дереву, камню, погоде, землетрясению, что можно прощать толпе, жизни? Простите меня и вы. Счастливому простить легче.

Задыхаясь, девушка вырвала руку, топнув ногой. Слезы и обида душили ее.

— Зачем я приехала? Зачем звали меня сюда? Что я сделала? Разве я виновата, что Торп умер? Объясните, я ничего, ничего не понимаю. Уже второй раз слышу я сегодня, что я «счастливая», и это мне так обидно, так горько...— Она заплакала, смачивая слезами платок, отдышалась и, вытерев глаза, засмеялась с виноватым лицом.— Теперь я вас слушаю. Только мне надо говорить по порядку, иначе я спутаюсь.

Рука вдовы легла на ее голову, поправив трогающий глаза локон.

— В том возрасте, в каком теперь вы, меня сломали.— она сжала лист пальмы, вытянув его изуродованное перо с легкой улыбкой,— так, как я сломала это растение; лист завянет, пожелтеет, но не умрет; не умерла и я. Потом... я видела, как ломают другие листья. Идите за мной.

V

Взяв Тави за руку, как будто эта случайная близость поддерживала ее решение, она прошла весь нижний этаж к лестнице и подняла голову.

— Там кабинет мужа,— сказала вдова, — там мы должны были исполнять ваши обязанности.

Они взошли по лестнице к темной, резной двери. Не сразу открыла ее вдова; прежде чем совершить это, еще раз пристально в глубину глубин глаз Тави заглянула она, как бы с сомнением и упрямством; на момент мстительная черта легла в ее потемневшем лице и, опасно сверкнув, исчезла. Не раз уже по пути заговаривала она сама с собой; теперь Тави услышала: «Господи боже, помоги мне и научи не сказать лишнего». — Как ни странно, молитвенный шепот этот решительно испугал Тави; она уже повернулась с желанием проворно сбежать вниз, но устыдилась. — Катриона была куда смелее меня, — сказала она, вспоминая чудесный роман автора «Новых Арабских ночей», — и насколько не старше. Чего же боюсь я? Эта женщина пострадала; наверное, жизнь ее была сплошным горем. Она расстроена, ничего более.

И в такт последнего слова Тави храбро перешагнула порог, несколько разочарованная тем, что вместо кладовой Синей Бороды или чего-нибудь отвечающего ее сердцебиению — увидела всего лишь очень роскошную и очень большую комнату, дальние предметы которой, благодаря светлой и глубокой перспективе, казались видимыми через уменьшительные стекла бинокля.

— Здесь я оставляю вас, — сказала вдова, — а вы осмотритесь. Вот шкапы, в них книги — любимое и постоянное чтение моего покойного мужа. Что-нибудь вы поймете во всем этом и, когда надумаете уйти, дайте звонок. Я тотчас приду. Есть вещи, о которых тяжело говорить, — прибавила она, заметив, что Тави уже набирает, соответственно новому удивлению, приличное количество воздуха, — но которые нужно знать. Итак, вы остаетесь; будьте как дома.

Сквозь грусть ее слов вырезалась глухая усмешка. Пока Тави соображала, как отнестись ко всему этому, вдова Торпа, взяв со стола часть бумаг, вышла и приотворила дверь; стало тихо, Тави была одна.

— Нас то ругают, то ласкают, то оставляют и... — она тронула дверь, — нет, не запирают; но короб загадок высыпан уже на мою голову. Все загадки крепкие, как лесные орехи.

Ее взгляд остановился на драгоценных рамах картин, затем на картинах. Их было более двадцати, кроме панно, и все они казались иллюстрациями одного со-

чинения — так однородно-значительно было их содержание. Альковы, феи, русалки, символические женские фигуры времен года, любовные сцены разных эпох, купающиеся и спящие женщины; наконец, картины более сложного содержания, центром которого все же являлись поцелуй и любовь, — Тави пересмотрела так бегло, что едва запомнила их томные и томительные сюжеты. Она торопилась. Ее особенностью был нервный позыв схватить вниманием все сразу или сколько возможно больше. Поэтому, быстро переходя от столов к этажеркам, от этажерок к шкафам и статуям, везде, так или иначе — в форме помпейской безделушки, этюда или изваяния — она наталкивалась на изображение обнаженной женщины, из чего вывела заключение, что покойный имел пристрастие к живописи; может быть, рисовал сам. «Но что я должна смотреть, что надо увидеть?» В недоумении повела она бровью, пожалала плечом, задумчиво рассматривая сквозь стекло шкапов красивые переплеты книг, уже манившие ее страсть к чтению, и сказала себе «Начнем с главного. Наверное, эти книги должна была бы я читать умершему. Посмотрим».

Открыв шкаф, девушка схватила миниатюрный золотобресный том; по привычке заглядывая в сердце книги, ее средину, что всегда делала с целью почувствовать, залюбопытствует ли страстно душа, она выделила ряд страниц наудачу и внимательно прочла их. По мере того, как шрифт вел ее к темным местам, значение которых не поддавалось ее опыту, но говорило все же сотовой частью своей нечто особенное, подобное лукавой исповеди или намеку, ее брови сжимались все мрачнее, рассекая белизну выпуклого и чистого лба морщиной сурового напряжения. И медленно, как от сильной боли, сдержанной чрезвычайным усилием, от самых ее плеч, по шее, ушам, по всему оставшемуся спокойным лицу поднялся, алая, густой румянец стыда.

Но она не уронила и не бросила удивительное издание. Закрыв том, Тави аккуратно вдвинула его на прежнее место, прикрыла дверь шкапа, медленно подошла к звонку и с наслаждением придержала палец на кнопке до тех пор, пока он не занял. Все стало ясно ей; все загадки этого утра нашли точное объяснение, и хотя на ней не было никакой вины, она чувствовала

себя так, как если бы ее зеленая пальма была уже схвачена жесткой рукой. Но она не оскорбилась,— тень смерти стояла меж ней и судьбой этого дома,— смерть унесла все.

VI

Не замедлив, пришла вдова; почти с ужасом смотрела на нее бледная и тихая Тави. «Так вот как ты жила!» На эту мысль девушки, как бы угадав ее, прозвучал ответ:

— Да, все мы не знаем, что нам придется делать на этом свете. Но — добавить ли что-нибудь?

— Нет, нет. Довольно,— поспешила сказать Тави.— Теперь я уйду. Стойте. Прежде чем распрощаться и уйти, я хочу видеть умершего.

— Вы?!

— Да.

Вдова, прищурясь, молча искала взглядом смысл этого желания; но обыкновенно подвижное и нервное лицо Тави стойко охраняло теперь свою мысль; и вообще была она уже не совсем та, прежняя; ее слова звучали добродушно и твердо, с неторопливостью затаенной волн. Чтобы рассеять молчание, Тави прибавила:

— Обыкновенная вежливость требует этого от меня. Уже нет того человека. Я приехала к нему, на его деньги, одним словом, внутренне мне нужно проститься и с ним.

— Быть может, вы правы, Тави. Идите сюда.

Сказав так, вдова прошла диагональ кабинета к портьеру, подняв которую, открыла скрытую за нею дверь соседнего помещения. Занавеси были там спущены, и огонь высокой свечи отдаленно блеснул из сумерек в ливень дневного света, потопившего кабинет.

— Он там,— сказала вдова.— Скоро привезут гроб.

— А вы? — Тави, придерживая над головой складку портьеры, мягкой улыбкой позвала войти эту женщину, лицо которой мучительно волновало ее.— Разве вы не войдете?

— Нет. Это сильнее меня. Просто я не могу.— Она закусила губу, потом рассмеялась.— Если я войду, я буду смеяться,— вот так,— все время; смеяться и ликовать. Но вы, когда взглянете на его лицо, вспомните,

вспомните шестерых и помилосердствуйте им. Две отравились. Судьба остальных та самая, какой широко пользуются косметические магазины. Не сразу он достигал цели, о нет! Вначале он создавал атмосферу, настроение... привычку, потом — книги, но издавека, очень издавека; быть может, с «Ромео и Джульетты», — и далее, путем засасывания...

— Он умер, — сказала Тави.

Как будто вдова Торпа лишь ждала этого напоминания. Ее лицо исказило и потрясло гневом, но, удер-
жась, она махнула рукой:

— Идите! — И девушка подошла одна к мертвому.

Торп лежал на возвышении, закрытый простынями до подбородка; огни свечей бродили по выпуклостям колен, рук и груди складками теней; мясистое лицо было спокойно, и Тави, едва дыша, в упор рассматривала его. По всему лицу мертвого уже прошло неуловимое искажение, меняющее иногда черты до полной несхожести с тем, каковы были они живыми; в данном случае перемена эта не была разительной, лишь строже и худее стало лицо. Умершему, казалось, было лет пятьдесят, пятьдесят пять; его довольно густые волосы, усы и борода чернели так ненатурально, как это бывает у крашенных; толстый, с горбиной нос; мертвенно-фиолетового оттенка губы неприятно ярко выделялись на тусклой коже дряблых, с ямками, щек. Глаза ввалились; под веками стояла их мертвая, белая полоса, смотрящая в невидимое. Как, почему остановилось внезапно гни-
лое, жирное сердце? Под этим черепом свернулись мертвые черви мыслей; последних, кто может узнать их? Тави могла бы видеть и развернуть комки мозговой слизи в их предсмертный, цветущий хаос — блеск умопомрачительной оргии, озарившей видением пахнущую духами спальню; видением — больше и острее сна, с вставшими у горла соблазнами всей жизни, пере-
хватившими удар сердца сладкой электрической рукою своей. Та сила, которая равно играет чудесами машин и очарованием струн, нанесла твердый удар. С минуту здесь побыл Крукс. Но не было воздушных следов

Тави смотрела, пока ее мысли, стремясь важным и особым путем, не задели слов «жизнь», «смерть», «рождение». «А завтра день моего рождения! Это так

приятно, что и сказать невозможно». Тогда в ней появилась улыбка.

— Я вас прощаю,— сказала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы соединить эти слова с взглядом на все лицо Торпа.— Торп, я прощаю вас. И я должна что-нибудь прочесть вам, что хочется мне.

Она вернулась в кабинет к шкапам, нахмуренная так серьезно, как хмурятся дети, вытаскивая занозу, и среди простых переплетов выдернула что попало. Книгу она раскрыла, лишь подойдя опять к мертвому. То был Гейне, «Путешествие на Гарц».

— Слушайте, Торп,— оттуда, где вы теперь.

Строки попутались в ее глазах, но наконец остановились, и, успокаиваясь сама, тихо, почти про себя, прочла Тави первое, что пересекло взгляд:

Я зовусь принцессой Ильзой,
В Ильзенштейне замок мой
Приходи туда и будем
Мы блаженствовать с тобой...

— Больше я не буду читать,— сказала девушка, закрыв книгу,— а то мне захочется попросить ее на дорогу. И я уйду. Прощайте.

Она снова приподнялась, легко поцеловала умершего в лоб поцелуем, подобным сострадательному рукопожатию. Потом торопливо ушла, метнув портьеру так быстро, что по ее разгоряченному лицу прошел ветер. И этот поцелуй был единственным поцелуем Торпа за всю его жизнь, ради которого ему стоило бы снова открыть глаза.

VII

Рассеянная и грустная вышла Тави на улицу. Она не взяла денег, несмотря даже на то, что остающейся у нее суммы не хватало купить билет; деньги были предложены ей без обиды, но сердце Тави твердо осталось.

— Благодарю вас,— сказала она вдове,— мне хочется одного — скорее уйти отсюда.

Так она ушла и очутилась среди сотрясающего грохота улиц жаркого Лисса с стесненно-замирающим сердцем.

Некоторое время то гневно, то удрученно, не замечая, как и куда идет, девушка была занята распутыванием темной истории; хор противоречивых догадок, лишенных основы и связи, мучил ее сердце, и, устав, бросила она это, присматриваясь к уличному движению, чтобы легко вздохнуть. Понемногу ей удалось если не рассеяться, то восстановить равновесие; дрогнув последний раз в знобком отвращении плечиками, она стала осматриваться, заметив, что удалилась от центра Улицы были серее и малолюднее, толпа неряшливее; громоподобные вывески сменились ржавыми листами железа с темными буквами, из-за оград свешивалась чахлая зелень. Открытые двери третьеразборного трактира приманили аппетит Тави; усталая и проголодавшаяся, войдя с сумрачным видом, села она к столу с грязной скатертью и спросила рагу, что немедленно и было ей подано,—неприглядно, но отменно горячо, так что заболели губы. Не обращая внимания на взгляды обычных посетителей заведения, Тави храбро занялась кушаньем, в котором соли и перцу было, может быть, больше всего прочего, и, залив жжение горла стаканом воды, вышла, настроенная практически.

Как быть? Как достать денег, чтобы вернуться обратно, и чем заняться до семи вечера? В семь отходил поезд. Но простодушный, великодушный Крукс мог теперь, ничем не утруждая себя, сообщить ей свой адрес туда, где ее нет. «Если сделать так...—рассуждала она, обречая медальон, подарок покойной матушки, кассе ссуд и решаясь продать новую шляпу, картонка с которой покачивалась на ее локте,—ну, шляпу можно продать; а за медальон...» — И, погружаясь в точный расчет, пошла она, приговаривая: — Если так и так, будет вот так и этак... Или не так? А как?

В чем-то не сошлись воображаемые ею цифры, и приостановилась она, подняв голову, с удивлением слушая странный золотой звон, тихий, как бред ручья в неведомой стороне. Пустынно было на улице, лишь далеко впереди смутные фигуры мелькали на перекрестке; справа же двигалась шагом извозчицья подвода; спал или дремал возница, опустив голову, накрытую рваной шляпой,—понять было мудрено. Казалось, выехала подвода из соседних ворот, из тех, что со стуком закрывались уже, показывая внизу чьи-то отходящие но-

ги. С каждым шагом понурой лошади подвода, трясаясь, сеяла тот чистый кисейный звон, к которому прислушивалась удивленная девушка.

Она пошла медленно, рассматривая и соображая, что бы это могло быть. Под холстом, свисавшим, касаясь колес, высилось подобие тиары, выставляя неопределенные очертания углами складок, мешающих собрать намеки форм странного груза в какое-либо достоверное целое. Эта, по-видимому, легкая поклажа тихо покачивалась из стороны в сторону, звуча, словно человек вез груды тамбуринов. Не вытерпев, Тави подошла ближе, спрашивая:

— Скажите вы мне, пожалуйста, что это у вас так звенит?

Возница апатично взглянул на нее из дали уединенных соображений, прерванных вопросом, достоинство которого было для него тупой и темной загадкой.

— Эх! — сказал он, отмахиваясь с досадой, что должен перевести кропотливо ползущие мысли на более быстрый ход. — Ну, звенит, а вам что до этого? Идите-ка себе с богом. — Здесь, по опыту доверяя лошади, которой кнут был только приятен, так как отгонял оводов, апатично стегнул он животное, но оно только помахало хвостом, выразив гримасой задней ноги фальшивое оживление, и не быстрее чем раньше, свернуло за угол, на шоссе.

Когда Тави, естественно, взглянула в ту сторону, то увидела за домами зеленый просвет. Все шоссе покрыто было народом, спешившим, как на пожар; размахивая листками, бежали газетчики; тележки торговцев фруктами и прохладительными напитками неслись среди экипажей полных дам и щегольски одетых мужчин; под ногами шныряли уличные собаки, лая на тех собратьев, чьи расчесанные тельца степенно следовали впереди шелковых юбок, в меру длины цепочек, прикрепленных к ошейникам. Кричащий букет мелькнул в стеклах автомобиля, изрыгающего густые, жуткие заклинания; гарцуя, стремились всадники; костыли нищих, влекомые ради быстроты хода под мышками, резво колыхались среди зонтиков и тростей; матери тащили задыхающихся детей с неописуемым отчаянием в их раскрасневшихся личиках; поджимая губы, семенили старушки; мальчишки неистово голосили, мчась по мостовой, как в

атаку. Здесь таинственная подвода скрылась и затерялась, а Тави спросила первого встречного: «Куда спешит весь этот народ?»

— Вы разве не здешняя? — проговорил тот, оборачиваясь на ходу. — Так вы, значит, не знаете: сегодня «мертвые петли»!! Полеты! Полеты! — в виде пояснения прокричал он, бесцеремонно опередив девушку

Мигом воспряла она; воодушеваясь, потому что любила всякие зрелища, забежала она в первую лавку, наскоро упросив взять до вечера на хранение свою мешающую поклажу, и двинулась с той же быстротой, как толпа, к неизвестному месту. Вспоминая время от времени о заботе по возвращению домой, успокаивалась она тем, что ощупывала под платьем медальон и мысленно открывала картонку. — Вот они, деньги!.. — приговаривала неудачливая путешественница. Толпа, солнце и сознание независимости развеселили ее. Тем временем шоссе свернуло под углом к полю; прямо же, если продолжить его линию, стояла высокая каменная стена, за которой среди сомлевших в жаре деревьев виднелся изгиб китайской крыши с флагом над ней; раскрытое пространство ворот пестрело движением спешивших людей. Кто уходил, кто входил, но больше входили, чем уходили, и, не зная порядков, Тави вернула туда. Внутренность двора пересекалась дощатым забором; у узкого прохода служитель проверял билеты.

— Ваш билет, — бросился он к девушке, уже прошедшей мимо него.

Она обернулась, не успев ничего сказать, как билетер занялся другими входящими, забыв о ней или сочтя ее «своим человеком», каких всегда много везде, где проверяют билеты. Довольная, что ей повезло, так как никаких билетов покупать она была не в состоянии, Тави прошла подальше и осмотрелась.

То был двор, или, вернее, маленький мощный плитам плац, с двух сторон которого всходили амфитеатром скамьи павильонов с боковыми и горизонтальными тентами. Народа было довольно; присмотрясь к нему, Тави заметила, что то не смешанная толпа публичных зрелищ, но так называемая «отборная» публика, преимущественно интеллигентного типа. Меж трибунами помещались крытые синим сукном столы с черниль

ницами и листами писчей бумаги; здесь заседало человек тридцать в ленивых позах жаркого дня, с расстегнутыми жилетами и мокрыми волосами на лбу, в сдвинутых на затылки шляпах. «Куда же попала ты, моя милая?» — недоумевающе отнеслась Тави, видя, что не здесь, должно быть, произойдут полеты. Но уже встал из-за стола, гремя колокольчиком, человек апоплексического сложения; его мощное, крутое лицо, почти безбровое, с бачками, которые, казалось, едва держатся на толстых щеках, — раскрылось круглым «О» сочного рта; требовательно он закричал:

— К порядку! Внимание! Тише! Я открываю чрезвычайное заседание Клуба Воздухоплавателей.

Тем временем Тави увидела подошедшего к столу Крукса, того самого, который неожиданно исчез утром. Как будто отца родного встретила Тави, — так обрадовалась она в чужой толпе незнакомого города этому успокоительно-прямому лицу, — и, поспешно сев на ближайшую скамейку, закричала оттуда:

— Эй, Монгомери, что вы здесь делаете? Крукс! Крукс!

Тотчас его глаза направились к ней и сразу разыскали ее; узнав свою утреннюю встречу, он кивнул, прижал к губам палец и улыбнулся значительно. Тогда вдруг стало ей покойно, как дома; хотя кислые лица дам и поднятые с легкой улыбкой брови мужчин обратились к ней фронтом, выражая тем удивление или негодование, — она лишь порозовела, но не смутилась.

Взяв свободный стул, Крукс сел, опустив глаза. На нем теперь была кожаная глухая куртка, высокие сапоги и черная фуражка; ее ремешок проходил от виска к виску под подбородком. Здесь любопытство Тави достигло зенита, который называется замиранием, и личность Крукса, и обстановка, и неожиданное для нее заседание воздухоплавателей — все было как разобранные части неизвестной машины, что, собирая на ее глазах, готовились пустить в ход. Она трепетала. Видели вы, как возится, не в состоянии покойно сидеть на месте, молоденькая, глупая девушка? Мир — еще зрелище для нее, а в зрелище этом, перебивая главное действие, роятся сцены всевозможных иных спектаклей. В эти минуты устойчивость ее внутреннего мира не более ус-

тойчивости видений, образуемых игрой дыма. Момент покоя нет ни в ее лице, ни в позе, ни в темпе дыхания, ей хочется затопать, привстать, смотреть впереди и по сторонам, торопить и шуметь.

Грузный человек был председатель. Добившись тишины, он сказал:

— Произошло следующее: в канцелярию Клуба поступило мотивированное заявление господина Крукса, являющегося изобретателем летательного аппарата нового типа, в котором просит он не только произвести испытание, но и предоставить ему, Круксу, место в сегодняшнем состязании. Согласно уставу Клуба, всякий моноплан, биплан, парашют, баллон или аэростат имеет быть, во избежание смешных и горьких недоразумений предварительно оценен экспертами, дабы не иметь дела с попытками технически невозможными, или же, к чему немало примеров, абсурдными безусловно. Поэтому, так как имеется еще час времени до начала состязаний президиум постановил: осмотрев аппарат Крукса, разрешить ему, при условии технической научности его изобретения, воспользоваться аэродромом для публичного опыта; и, если Крукс того пожелает, занести его в список авиаторов дня, с правом соискания призов на высоту, продолжительность и точность спуска.

По мере того, как текла и оканчивалась речь председателя, багровый стыд окутал лицо Тави; до слез, до полной растерянности смутилась она, поняв теперь, что бесцеремонно-приятельски окликнула не кого иного, как знаменитого — конечно! — изобретателя. Боясь, что он снова поглядит на нее, уселась девушка так, что бы высматривать из-за чьей-то большой шляпы. «Господи, спаси, помилуй и укороти мой язык», — шепнула она; однако раскаяться вполне не успела; поднялся шум, говор; тонкие или любопытствующие замечания перемешивались с криками нетерпения.

Тогда взгляды всех обратились на Крукса, вставшего и сделавшего рукой знак с желанием говорить. Вновь притих шум; люди, сидевшие вокруг стола, наморщили лбы с важностью, означавшей их совершенное и безошибочное всеведение.

— Вот что, — сказал Крукс негромко, но так отчетливо, что его слова прозвучали ясно для всех, — я соорудил аппарат, по конструкции и системе двигателя

не имеющий ничего общего с современным аэропланом. У меня нет ни пара, ни газа, ни бензина, ни электричества; ни парящих плоскостей, ни винтов: нет также особой задумчивости при выборе материала, из которого аппарат выстроен. Как из полотна или шелка, так из простой бумаги или листового железа может быть сооружен он без всякой потери его двигательной способности; он мчится силой звуковой вибрации, представленной четырьмя тысячами мельчайших серебряных колокольчиков, звук которых...

— Звук которых?! — перебил голос, выразивший тоном своим общее недоумение. — О чем вы говорите?

Прозвучал смех. Тишина сдвинулась. Равновесие внимания, получив удар по обоим чашам весов, исчезло, как исчезают все призраки условной общественности. Кто переглянулся; кто, оглядываясь, искал нетерпеливца, спросившего, к чему клонит странная речь загадочного изобретателя. Председатель, схватив звонок, готовился восстановить тишину; но ему что-то шепнули, и уже сам, с некоторым сомнением, в замешательстве, мельком посмотрел он на Крукса, стоявшего, ожидая возможности говорить дальше, с простотой сильного человека, затертого на углу улицы бегущей толпой. Тогда Тави стала бояться за Крукса; в чем бы ни потерпел человек это поражение, ей было бы то несносно; у нее успело уже созреть решительное к нему пристрастие. Ей нравилось, что он будет, по-видимому, один против многих, но, зная силу осмеяния, боялась она, как бы сцена, без отношения к результатам ее, не приняла характер комический. Меж тем раздалась еще восклицания; прошел и стих шум.

— Быть может, — сказал председатель Круксу, — вы утомлены несколько; может быть, вы нездоровы, взволнованы; в таком случае не будет для нас обидой отложить ваше крайне интересное объяснение до следующего хотя бы дня.

Крукс улыбнулся без смущения; с видом полного удовольствия слушал он эту осторожную и мягкую реплику.

— Я должен просить вас разрешить мне сказать все, что я хочу, могу и считаю нужным сказать. Но чтобы те, почти чудесные новости, которые открыты мной, возымели силу не голословную, должен буду



«АЛЫЕ ПАРУСА»



«АЛЫЕ ПАРУСА»

представить аппарат свой перед собранием. Он не велик; и не имеет ничего общего с теми неуклюжими махинациями, в которых ездят с таким шумом и риском...

Высказав это с вразумительной твердостью, не позволяющей далее иметь двух мнений, как относительно состояния своих умственных способностей, так и намерений, Крукс снова взял тишину за волосы, и внимание слушателей удвоилось. Тави слышала, что говорят вокруг нее.

— А вдруг? — сказал кто-то, подразумевая этим, что нет пределов открытиям. Несколько беглых споров утихли; возрастающий интерес заразительно перебежал по скамьям.

— Выслушать, выслушать! — закричали наконец с мест, видя, что жюри мнется. — Мы хотим слышать! — Председатель решился, но решение свое обозначил, как некую дипломатическую уступку.

— Если вы настаиваете, — сказал он, — мы согласны. Однако есть увлечения, непредвиденная форма которых может заставить нас пожалеть об эксперименте; неудовлетворительные последствия одного отразятся как на вас, так и на всех нас, потому что мы крайне сожалели бы о всем ненаучном, о всем, так сказать, дилетантски смелом, не отвечающем задачам Клуба Воздухоплавания. Следовательно, если уверены вы, хотя бы отчасти, в положительных сторонах вашего изобретения, в основных принципах его, — честь и место, господин Крукс. Не скрою, что начало изъяснения вашего показалось всем столь знаменательно странным... Итак, мы вас слушаем.

Настроив таким образом себя, Крукса и аудиторную в благожелательно предостерегающем смысле, председатель стал строг и весок лицом; он, а за ним все воззрились на Крукса, подобно экзаменаторам, затаенный помысл которых: «школьник, лади ниц!» — дышит каннибализмом.

— Наконец-то, — сказал Крукс, — слава богу! Вас смутили четыре тысячи колокольчиков; дополню это смущение: более четырех тысяч или менее, не играло бы никакой роли. Как детям, катающим снежное изваяние, мало заботы о том, чет или нечет снежинок поместится в человекоподобии зимы, метелей и холода, какое сле-

пили они, так и я не настаиваю безусловно на четырех тысячах; охотно уступаю из них произвольное число или прибавляю к четырем столько, сколько вообще поместится на моем аппарате; мне нравится много колокольчиков; дело не в числе, а в действии.

Если бы он улыбнулся, если бы хоть на мгновение тронулось это отчетливое лицо лукавой игрой, разразились бы гром и хохот потехи неудержимые. Однако Крукс смотрел и говорил очень серьезно, что действовало, вразрез с его странными словами, самым удручающим образом. Еще не было ни протестов, ни резкого вмешательства со стороны тех, кто принимает как издевательство или вызов всё лишенное готовой клетки в его мозгу, привыкшем к спокойной жвачке, прежде чем постичь суть явления, но уже означалось по выражению лиц скопление атмосферы протеста. Всеуничтожающая ирония кривила губы членов президиума, обреченных благодаря собственному легкомыслию трепетать за солидный темп дня, за должное уважение к месту и делу, которым занимались они, нацепив значки, изображающие колеса и крылья. Все это хорошо понимала, оценивая по-своему, Тави, девушка, ставшая на перепутьи судьбы,— чувство судьбы коснулось ее настроения; невольно связывала она колокольчики, о которых говорил Крукс, с неистребимо-нежным воспоминанием о подводе и звоне, что слышала час назад. С подвешенным на золотой нитке юной тревоги сердцем ожидала она, как поступит наконец Крукс. Казалось, тот задумал уравнивать ветер сбитого к себе отношения; его речь коснулась теперь многих вещей.

— Рассмотрим,— сказал он,— хотя бы неполно, анатомию и психологию движения в воздухе. До сих пор летают только птицы, насекомые и предметы; человек сопутствует летящим предметам, сам он лететь не может, кроме как в сновидении. Прицепясь к шару, имеющему значение как бы самостоятельного организма,двигающегося по произволу атмосферических изменений, не в более сложном он положении, чем тля, сидящая на семени одуванчика, когда его сорвало и несет ветром в пространство. Аэроплан как будто самостоятельнее приглашает посмотреть на эти затеи. Однако выясним суть, желания, идею полета, его мыслимое идеальное состояние. Неизбежно здесь сновидение; лишь его волнующий

арабеск подскажет с отчетливостью прозрения, чем одушевлен чистый полет. Им правит легкий и глубокий экстаз; неведомые наяву чувства, столь странные, что им может быть уподоблено разве лишь пение на дне океана, звучат стройно в этих особенных условиях грезы, свергающей физическую тоску,— веками сложившееся отращивание к ногам, пойманным огромным магнитом. Вспомним, как мы летаем в то время, когда тело наше, завернутое одеялом, покорно своему ложу: само желание естественно отделяет нас, стремя и унося на безопасную высоту. Нет иного двигателя, кроме пленительного волнения, и большего нет усилия, чем усилие речи. Приметьте, что в стране сна отсутствуют полеты практические: перевозка почты, пассажира или призовое соревнование исключены; то состояние манит лишь изумительным движением в высоте; оно — все в себе, ничего сбоку, ничего по ту сторону раскинутого в самой душе пространства; без усилий и вычислений.

Но как же в действительности летит он? Или, вернее, как движется над землей, когда вы, закинув голову, поспешно шлете вдогонку его судорожно скорчившейся фигуре имя «Царя природы»? Вот —

Здесь раздался характерный гул мотора; громкое однотонное пение потекло в вышине, и члены Клуба, посмотрев на небо, увидели аэроплан, пересекающий зрительное поле тяжким пятном.

— ...вот достижение, которое явилось нам кстати для демонстрации. Сколько сомнений! А опасений?! Не упадет ли оно? Б ы т ь м о ж е т , не упадет. Сообразите, что это значит! Его движение свободно, как ход коня; его скорость обязательна; его двигатель ненадежен; его творец прикован к каторжному ядру равновесия ради жизни и денег; его падения ожидают; его спуск опасен, его поворот нелегок; его вид некрасив; его полет — полет мухи в бутылке: ни остановиться, ни парить; оглушительный шум, атмосфера завода, хлопотливый труд; сотни калек, трупов, и это — полет? Завидовать стрекозе, в математической точности движений которой снетится ясность перебегающего луча; смотреть на вырезной узор ласточки, живописуемый ею над отражением своим в блестящей воде,— восхитительным ничтожеством совершенных усилий; вздыхать об орле, залегшем среди туманов с спокойствием самого

облака,—не это ли удел наш? И не это ли тщета наша — вечный разрыв, залитый сиянием снов?

Немного надо было бы мне, чтобы доказать вам, как несовершенны и как грубы те аппараты, которыми вы с таким трудом и опасностью пашете воздух, к ним прицепясь, ибо движутся лишь аппараты, не вы сами; как ловко было бы ходить в железных штанах, плавать на бревне и спать на дереве, так — в отношении к истинному полету — происходит ваше летание. Оно — сами вы. Наилучший аппарат должен быть послушен, как легкая одежда при беге; в любой момент в любом направлении и с любой скоростью,— вот чего следует вам добиться. Рассчитывая поговорить долее, я встретил нетерпимость и издевательство; поэтому, не касаясь более технических суеверий ваших, перейдем к опыту. Ранее того во всеуслышание без жеста и сожаления заявляю, что не беру приза, хотя мной будут побиты решительно все рекорды. Смотрите и судите.

В глубине двора были приоткрыты ворота, их распахнули настезь, и двое рабочих внесли столь легкое сооружение, что никакого физического усилия не было заметно по их лицам. Нечто, окутанное холстом, покачивалось, тихо звеня. Тави, волнуясь, встала: «это он о, то, что везла подвода». Сев, она не могла сидеть и встала опять, как встали вокруг нее все, рассматривая диковину. Затем произошло общее движение; зрители бросились к Круксу, окружив изобретателя тесной толпой; и там же, так удачно, что меж ею и загадочно звенящим предметом было свободное пространство, очутилась наша беспокойная путешественница.

Резким движением Крукс смахнул холст. Часть зрителей, не зная, сердиться или смеяться, отступила в глубоком разочаровании серьезных людей, поддавшихся курьезной мистификации; громко возопила другая часть; третья окаменела; четвертая... но вернее будет сказать, что сколько было людей, столько частей; мы же говорим вскользь. Случалось ли вам бежать сломя голову, куда побежала уже, ржа и рыча, уличная толпа? Не бог весть что ожидаете вы увидеть, как, толкавшись в самую гущу смятения, видите всего-навсего малыша с обмусоленным пряником в руке и багровым от слез лицом; нянька потеряла его; «где ты живешь?» — спрашивают ребенка; и он с изумлением, что

не отведен еще по своему точному адресу, слезливо говорит: «там!»

В то время, как со стороны крыш висели уже в дыму заводских труб на привязи три баллона; в то время, как напоминающий перетянутую бечевками колбасу грузный аэростат, махая какими-то перышками, двигался на высоте пятисот футов, и четыре бойких аэроплана, взрывая неровным гулом верхнюю тишину, носились над двором Воздухоплавательного Клуба с грацией крыш, сорванных ветром; в то время, как, следовательно, занавес аэропредставления взвился и совершались «успехи». — пред глазами судей явилось сверкающее изобретение фантастической формы. Оно было футов десять в длину и футов пять высоты. Его очертания спереди напоминали нос лодки, вытянутый и утонченный зигзагом лебединой шеи; причем точное подобие головы лебедя оканчивало эту шею-бугшприт. Корпус в профиль напоминал помпейский ладьеобразный светильник, корма странного судна, в том месте, где обыкновенно проходит руль, была, подобно передней части, вытянута и загнута вовнутрь, как бы над головой внутри сидящего, острым серпом. Тонкий, неизвестного материала, остов был, как каркас абажура, обтянут великолепным синим шелком, богато вышитым серебряным и цветным узором. Узор этот был так хорош, что многие, особенно женщины, дрогнули от восхищения; немедленно раздалась их полные удовольствия, искренние, горячие восклицания. Борта аппарата были обшиты темно-зеленой с золотым лавром шелковой же материей; но самой замечательной и причудливой частью дива сверкнули целые гирлянды, фестоны, цепи и кисти мельчайших колокольчиков из чистого серебра, легких, как пузырьки; их кружевом было обнесено судно. Крукс тронул свое создание, и казалось, оно взвеселилось звоном, рассыпав мельчайший смех.

— Четыре тысячи колокольчиков, — сказал Крукс, когда умолкли крики, побежденные изумлением. И он посмотрел на Тави так внимательно-мягко, что простота и бодрость заряженного величайшим любопытством спокойствия тотчас вернулись к ней. — Изобретение это — тайна; скажу лишь, что согласованность звона и способ управления им производят воздушную вибрацию,двигающую аппарат в любом направлении и с любой

скоростью. Теперь я сяду и полечу; вам же предоставляю на свободе делать технические догадки.

— Он полетит! — задорно двигая круглыми щеками, сказал, с сигарой в зубах немец-пилот. — «В театре; на канатах и блоках...» — добавил другой. — «Это сумасшедший!» — раздался серьезный голос. — «Глупая мистификация!» — определил юноша с пушком на губе. Вдруг пронзительный свист разрезал смятение; как сигнал к свалке, вызвал он хор нестройного свиста, криков и оскорблений. Но Крукс лишь рассеянно осмотрелся; заметив вновь Тави, он сказал ей:

— Скоро увидимся, ведь Торп умер, и вам теперь не надо будет служить.

Эти неожиданные слова так поразили девушку, что она отступила; лишь:

— А вы знаете? — успела она сказать, как сцена быстро развернулась к концу.

Видя, что Крукс усаживается внутри своего прибора, председатель, решительно оттолкнув мешавших, подошел к странному авиатору.

— Я не могу позволить вам совершать никаких опытов, явно и заранее бесполезных, — встревоженно закричал он. — Вы либо больны, либо имеете цель, совершенно нам постороннюю; кто в здравом уме допустит на момент мысль, что — тьфу! — можно полететь с этим... с этим... я не знаю что, — с этой негодной ветошью! Потрудитесь уйти. Уйти и унести ваше приспособление!

— Мне дано право, — холодно сказал Крукс, отвечая одновременно ему и тем, звонкоголосым из толпы, кто, до хрипоты крича, поддерживал председателя. — Право! И я от этого права не откажусь.

— Не я, не я один; мое мнение, требование мое — общее мнение, общее требование! Вы слышите? Вот что вы натворили. Могли ли мы знать, с кем и с чем будем иметь дело? Оставьте собрание.

— Пусть скажут все, что хотят этого, — сказал Крукс.

— Прекрасно! — Председатель нервно расхохотался и так затряс колокольчиком, топая в то же время ногами, что тишина, улучив момент, встала стеной. — Господа! Милостивые государи! Помогите прекратить это! Господин Крукс, — если хоть один-единственный

человек здесь присутствующий, нормальный и взрослый, скажет, что ожидает от вас действительного полета,— срамитесь или срамите до конца нас! Кто ожидает этого? Кто ждет? Кто верит?

Тут, врассыпную, но так скоро, что утих снова было поднявшийся шум, так ненарушимо-предательски установилось молчание действительное, полное невидимо обращенных вниз больших пальцев, что Тави сжалась: «раз, два, три, восемь», отсчитывала она, терпя в счете до десяти, чтобы разгромить ставшую ей ненавистной толпу, и вынудила себя сказать «десять», хотя от девяти держала мучительную, как боль, паузу. Молчание, сложив локти на стол, тупо уставилось в них подбородком, смотря вниз; Крукс быстро взглянул на девушку. Тогда, вся внутренне зазвенев и став до беспамятства легкой, шагнула она вперед, потрясая указательным пальцем, красная и сердитая на вынужденный героизм свой. Но лишь инстинкт двинул ее.

— Я! Я! Я! — закричала она с смехом и ужасом.

Тут все взгляды, как показалось ей, прошли сквозь ее тело; толпа двинулась и замерла, взрыв хохота окатил девушку ознобом и жаром, но, почти плача, увлекаемая порывом, она, сжав кулачок, двигала указательным пальцем, сердито и беспомощно повторяя:

— Да, да, я; я знаю, что полетит!

Сраженный председатель умолк; он растерялся. Члены совета, ухватив его за руки, яростно шептали нечто невразумительное, отчего он, совершенно не поняв их, сдался решительно нападению Тави.

— Я держу слово, — сказал он, отмахиваясь и расталкивая советников, — но я больше не председатель; пусть днтя и сумасшедший владеют клубом!

— Увы, мне не нужен клуб, — сказал Крукс, — не нужен он и моей заступнице. Отойдите! — И, как никто уже не противоречил завоеванию, он поместился внутри аппарата, оказавшегося, несмотря на хрупкую видимость, отменно устойчивым; как бы прирос он к земле, не скрипнув, не прозвенев; и белая голова лебедя гордо смотрела перед собой, дыша тайным молчанием. Сев, Крукс взял кисть бисерных нитей, прикрепленных к бортам, и потянул их; тогда, вначале тихо, а затем с стремительно возрастающей силой тысячи мельчайших струн, от которых дрожит грудь, все вязи и гирлянды

колокольцев стали звенеть, подобно знойным полям кузнечиков, где кричит и звенит каждый листок. Этой ли, или другой силой — совершилось движение: ладья мерно поднялась вверх на высоту дыма костра и оставалась; то место, где только что стояла она, блестело пыльным булыжником.

Что освободилось, что скрылось в вспотевшей душе толпы, как только грянул этот удар, разверзший все рты, выпучивший все глаза, перехвативший все горла короткой судорогой, — отметить не дано никаким перьям; лишь слабое сравнение с картонной цирковой гирей, ухватясь за которую профан заранее натуживает мускулы, но, вмиг брошенный собственным усилием навзничь, еще не в состоянии понять, что случилось, — может быть уподоблено впечатлению, с каким отступили и разбежались все, едва Крукс поднялся вверх. Некоторое время он был неподвижен, затем с правильностью нарезов винта и с быстротой велосипеда стал уходить вверх мощной спиралью, пока ладья и сам он не уменьшились до размеров букета. Но здесь, порвав наконец все пути, настиг его вой и рев такого восторга, такого остервенелого и дикого ликования, что шляпы, полетевшие вверх, казалось, не выдержали жара голов, накаленных самозабвением. Только мертвец, сохрани он из исчезнувших чувств своих единственное: чувство внимания, мог бы разобраться в бреде и слепоте криков, какие, перепутав друг в друге все концы и начала, напоминали скорее грохот грузовых телег, мчащихся вскачь, чем человеческие слова; уже не было ни скептиков, ни философов, ни претензий, ни самолюбий, ни раздражительности, ни иронии; как Кохинур, брошенный толпе нищих, взорвал бы наипаснейшее из взрывчатых потемок души, так зрелище это, эта непобедимая очевидность ринулась на зрителей водопадом, перевернув все.

— Ура! Ура! Гип! Ура! — вопили энтузиасты, оглядываясь, вопят ли другие, и видя, что, надрываясь, кричат все, — били в ладоши, перебегая взад-вперед, толкая и трясая за руки тех, кто, в свою очередь, уже давно сам тряс их. — Новая эра! Новая эра воздухоплавания! Гип, ура! Власть, полная победа над воздухом! Я умираю, мне дурно! — кричали дамы. Другие, с глазами полными торжественных слез, степенно утирали их,

приговаривая как в бреду: «Выше электричества; может быть, больше радия... что мы знаем об этом?» — «О боже мой», — слышалось везде, где не находили уже ни слов, ни мыслей и могли только стонать.

Над всем этим, искрясь, едва слышно звеня и цветя подобно драгоценному украшению, покачивался, останавливаясь, шелковый прибор Крукса. Он там сидел, как на стуле. Его губы пошевелились, он что-то сказал, и благодаря высоте внизу лишь через одно — два дыхания, как из самого воздуха, раздалось:

— Четыре тысячи колокольчиков. Но могло быть и меньше.

Ладья повернулась, двинулась по уклону кривой прочь, так быстро, что никто не уследил направления, — стала точкой, побледнела и скрылась. Тогда, трепеща и плача от непонятной гордости, Тави сказала тем, кто успокаивал и утешал ее, допрашивая в то же время, кто такой Крукс, так как думали, что она близко знает его:

— Чему вы так удивляетесь? Аппарат тот изобретен и... имеет, конечно, ну... винты, и какие там надо двигатели Летают же ваши аэропланы?! Я знала, что полетит. Уж очень мне понравились колокольчики!

VIII

Как часто, приветствуя покойный свет жизни, доверчиво отдаемся мы его успокоительной власти, не думая ни о чем ни в прошлом, ни в будущем; лишь настоящее, подобно листьям перед глазами присевшего под деревом путника, колышется и блестит, скрывая все дали. Но непродолжительно это затишье. Смолкла или нет та музыка, гром которой отрывал наше беспокойное «я» от уютных мгновений, — все равно; воскресает, усиливаясь, и заставляет встать, подобная крику, долгая звуковая дрожь. Она мощно звенит, и демон напоминания, в образе ли забытом, любимом; в надежде ли, протянувшей белую руку свою из черных пустынь грядущего; в поразившем ли мысль острым резце чужой мысли, — садится, смежив крылья, у твоих ног и целует в глаза...

С того дня, как навсегда ушел Друд, жизнь Руны Бегуэм стала неправильной; не сразу заметила она это.

Поначалу неизменной текла и внешняя ее жизнь, но, подтачивая спокойную форму, неправилен стал тот свежий, холодный тон самодержавной души, силой которого владела она днями и ночами своими. Не было в ней ни гнева, ни сожаления, ни разочарования, ни грусти, ни зависти; холодно отвернувшись она от грез, холодно взглянула она на то, что встало непокорным перед ее волей, и оставила его вне себя. Она стала жить, как жила раньше; немного повеселее, немного лишь просторнее и общительнее. Галль уехал с полком в отдаленную колонию; она пожалела об этом. Все реже, все мертвеннее, как болезнь или причуду, о которой не с кем говорить так, чтобы понял то и правильно оценил собеседник, вспоминала она дни, павшие как разрыв в пелену ее жизни, и Друда вспоминала скорее как наитие, сверкнувшее формой человеческой, чем как живое лицо, руку которого держала в своей. Но отдыхом лишь мелькнул этот спокойный один месяц; уже мрак был близко; он поступал и вошел.

Он вошел в серый день тумана,— в мозг, нервы и кровь, сразу, как, чуть покрапав, льет затем дождь. То было после беспокойного сна. Еще чуть светало; Руна проснулась и села, не зная, чем вернуть сон; сна не было, ни мыслей не было, ни раздражения — ничего.

Взгляд ее блуждал размеренно, от пола и мебели направляясь вверх, как смотрим мы в поисках опорной точки для мысли. И вот увидела она, что спальня высокая и светлая, что музы и гении, сплетшиеся на фигурном плафоне, одержимы стройным полетом, и в чудовищной живости предстали ей неподвижные создания красок.— «Они летят, летят»,— сказала, присмирив, девушка; широко раскрыв глаза, смотрела она душой, теперь еще выше и дальше, за отлетающие пределы здания, в ночную пустоту неба. Тогда, с остротой иглы, приставленной к самым глазам, Друд вспомнился ей сразу, весь; высоко над собой увидела она его тень, движения и лицо. Он мчался, как брошенный, свистя, нож. Тогда не стало уже и малейшего уголка памяти, в котором не запыхал бы нестерпимый свет точного, второго переживания; снова увидела она толпу, цирк и себя; хор музыки рванул по лицу ветром мелодии, и над озаренной ареной, поднявшись неуловимым толчком, всплыл как

поднятая свеча тот человек с прекрасным и ужасным лицом.

Она дрогнула, вскочила, опомнилась, и страх тесно прильнул к ее быстро задышавшей груди. В уверенной тишине спальни никла роскошная пустота; в пустоте этой всплыло и двинулось из ее души все, равное высоте,— тени птиц, дым облаков и существа, лишенные форм, подобные силуэтам, мелькающим вокруг каретного фонаря. Она держала руку у сердца, боясь посмотреть назад, где звонок,— с холодными и бесчувственными ногами. И вот прямо против нее, помутнев, прозрачной стала стена; из стены вышел, улыбнулся и, поманив тихо рукой, скрылся, как пришел, Друд.

Тогда словно из-под нее вынули пол; страх и кровь бросились в голову; как в темном лесу, среди блеска и тишины роскошного своего уюта, очутилась она, чувствуя кругом таинственную опасность, подкрадывающуюся неслышно. Боясь упасть, склонилась она к коври, гордостью удержав крик. Но оцепеневшее сердце, вновь стукнув, пошло гудеть; мысли вернулись. Звонок! Спасительная точка фарфора! Она прижала ее, задыхаясь и изнемогая от нетерпения, боясь обернуться, чтобы не увидеть того, что чудилось, смотрит из всех углов в спину. С наслаждением усталого вздоха смотрела Руна на практично-здоровое лицо молодой женщины, прерванный сон которой был спокоен, как ее перина. Вихрь рассеялся, обычное вновь стало обычным,— вокруг.

— Поговори со мной и посиди здесь,— сказала горничной Руна,— мне не спится, не по себе; расскажи что-нибудь.

И пока рассвет не окружил штор светлой чертой, служанка, слово за словом, перешла к того рода болтовне, которая не утомляет и не развлекает, а помогает самому думать. Как жила, где служила раньше; что было у хозяев смешно, плохо или отлично. Руна вполслуха внимала ей, прислушиваясь как больная к щемящему душу жалу угрозы; слушала и перемогалась.

Немного прошло дней, и люди света, встречаясь или отписывая друг другу, стали твердить: «Вы будете на вечере Бегуэм?»—«Была ли у графа W Руна Бегуэм?»—«Кто был на празднике Бегуэм?»—«Представьте меня Руне Бегуэм».—«Расскажите о Руне Бегуэм». Как будто родилась вновь красавица Бегуэм и снова начала

жить. Ее сумасшедшие заказы бросали в пот и азарт лучшие фирмы города; у ювелиров, портних, более важных и знаменитых, чем даже некоторые фамилии, у вилл и театров, у ярких как пожар ночью подъездов знати останавливалась теперь каждый день карета Бегуэм, смешавшей жизнь в упоительное однообразие праздника. Словно оглянувшись назад и спохватясь, вспомнила она, что ей лишь двадцать два года; что отчужденность, хотя бы и оригинального тона, гасит постепенно желания, лишая сердце золотого узора и цветных гирлянд бесчисленных наслаждений. Щедрой рукой она повернула ключи, и, шумно приветствуя ее, грянули из всех дверей хоры привета; королевой общества, счастьем и целью столь многих любвей стала она, что уже в одном пожатии мужской руки слышала целую речь, — признание или завистливый вздох, или же тот нервный трепет холодных натур, который обжигает как лед, действуя иногда сильнее всех монологов. Казалось, рауты и балы, приемы и вечера восприняли несравненный блеск, волнение тончайшего аромата, с тех пор как эта нежная и сильная красота стала улыбаться среди них; остроумнее становились остроумцы; наряднее — щеголи; особый свет, отблеск восхитительного луча, сообщался даже некрасивым и старым лицам, если находились те люди в ее обществе. Все обращалось к ней, все отмечало ее. Каждый, внимая ей или следя, как кружит она в паре с красивым фраком, где пробор и осанка, гордый глаз и бархатный ус тлеют, уничтожаясь близостью этого молодого огня, развевающего белый шлейф свой среди богатой и свободной толпы, думал, что здесь предел жизнерадостному покою, озаренному крылом счастья, что нет счастливей ее; и, так думая, не знали ничего — все.

«Забудьте, забудьте!» — слышала иногда Руна во взрыве ликующих голосов, в вырезе скрипичного такта или стука колес, ветром уносящих ее к новому оживлению; но «забудьте!» — само предательски напоминает о том, что тщится стереть. Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль; нельзя было объяснить эту боль, ни про себя даже понять ее, как, в стороне от правильной мысли, часто понимаем мы многое, легшее поперек привычных нам чувств. Тоска губила ее. Куда бы ни приезжала она, в какое бы ни стала поло-

жение у себя дома или в доме чужом, не было ей защиты от впечатлений, грызущих ходы свои в недрах души нашей; то как молнии внезапно сверкали они, то тихо и исподволь, накладывая тяжесть на тяжесть, выщупывали пределы страданию. Смотря на купол театра, медленно поднимала она руку к глазам, чтобы закрыть начинающее возникать в высоте; высота кружилась; кружился, трепеща, свод; свет люстр, замирая или разгораясь, ослеплял, кроя туманом блестящий поворот ярусов, внизу которых, подобная обмороку, светилась отвесная бездна. Тогда все впечатления, вся наличность момента, зрелища, сцены и любезного за спиной полушепота спокойных мужчин, чья одна близость была бы уже надежной защитой при всякой иной опасности,—делались невыносимой обузой; и, выждав удар сердца, удар, рождающийся одновременно в висках и душе, к барьеру соседней ложи подходил Друд.

Тогда, бледнея и улыбаясь, она говорила окружающим, что ей нехорошо, затем уезжала домой, зная, что не уснет. Всю ночь в спальне и остальных помещениях ее дома горел свет; прислушиваясь к себе, как к двери, за которой, тихо дыша, стоит враг, сидела или ходила она; то рассмеявшись презрительно, но таким смехом, от которого еще холоднее и глуше в сердце, то плача и трепеща, боролась она с страхом, стремящимся сорвать крик. Но крик был только в душе.

— Довольно,—говорила она, когда несколько дней покоя и хорошего настроения давали уверенность, что бред этот рассеялся. Прекрасная, с прекрасной улыбкой всходила она по лестнице, где на поворотах, отраженная зеркалами, сопровождала ее от рамы до рамы вторая Руна, или усаживалась в полукруг кресел, среди мелькающих вееров, или, опустя поводья, верхом двигалась по аллее, говоря спутникам те волнующие слова, в которых, как ни обманчиво близки они к счастливой черте скрытого обещания, незримой холодной гирей висит великое «нет»,—все с той же мыслью «довольно» и даже без мысли этой, лишь в настроении счастливой свободы, вся собранная в пену и сталь. Тогда, смотря в зеркало с внезапной тоской, видела она, что в его глубине рядом с ней идет задумчивый Друд; что подобные жемчужным крыльям веера с свистом бьют воздух; что все громаднее, белее они, и чувство полета, острой и

стремительной быстроты наполняло ее чудным мученьем. Она гладила лошадь, но, отвернув голову и собрав ноги, та, задрожав, не шла более; пятясь на месте, животное, казалось, жило в этот момент нервами своей госпожи, сердце которой билось, как копыта били песок; опустив голову, стоял, спокойной рукой держа за узду, Друд. Он взглянул и исчез.

IX

Чем дальше, тем страшнее было ей жить. Не стерпев, она обратилась к Грантому — одному из тех положительных, но мало знаменитых людей, к которым привлекает окружающая их атмосфера ученой самоуверенности и практической чистоты; чья лысая голова с дарвиновским лицом и строго-человеческим взглядом поверх золотых очков как бы собирает нам тени и свет доверия в одном теплом порыве. Раздумывая о сумасшествии и опасаясь его, но не желая, однако, говорить все, Руна обошла это формой галлюцинации, сказав профессору, что иногда видит бесследно скрывшегося знакомого. Отношение свое к вымышленному лицу она перевела с подлинника, обозначив таким образом все тонкости впечатлений рисунком обычных встреч. Одно прибавила она, дабы характеризовать общую форму: «казалось мне, что в натуре его лежит нечто поразительное и тайное, до тех пор занимавшее мои мысли, пока не стало безосновательным, странным предубеждением». Но сеть волнистых линий ее объяснения была в чем-то не вполне правильна, неровна была линия передачи этой, и Грантом почувствовал ложь.

— Вам хуже, если вы не вполне искренни, — сказал он, впрочем, не настаивая знать подробнее; выслушав и осмотрев Руну, он, пристукивая карандашом, как бы подчеркивая стуком некоторые слова, сказал ей: — Вы здоровы. Все нормально в вас; нормальны душа и тело. Я скажу более: физически вы безукоризненны. Немного поговорив с вами, я вижу, что крайняя нервность, вызванная особыми обстоятельствами, проявляется тем более резко, что она находится в замкнутом кругу сильной воли, сдерживающей ее проявление. Об этом я хочу поговорить с вами подробнее; пока перейдем к лечению, поскольку вы в нем нуждаетесь.

Он испытующе взглянул на нее, но мельком; так смотрят, имея заднюю мысль; при мимолетности взгляда можно было счесть его смысл ошибкою беглого впечатления. Но тон, тон — этот безошибочный привкус речи — настроил Руну еще внимательнее, чем была она до сей минуты, — если вообще может быть различно внимателен человек, ждущий спасения. Грантом продолжал:

— Брак. Вот первое, что — хотите вы или не хотите — уничтожит вторую сферу, дверь которой в мгновения, не подлежащие учету науки, раскрывается перед вами внезапно, являя таинственное сверкание двойственных образов психофизического мира, которыми полно недоступное. Заметьте — оно открыто не всем.

Он замолчал, щурясь и всматриваясь сквозь очки глухим взглядом в бледные черты Руны; сведя брови, надменно улыбалась она, стараясь связать некоторые странные фразы Грантома с особенностью своего положения. Казалось, он заметил ее усилие: едва чувствительный оттенок расположения, большего, чем вправе ожидать только клиент, разом исчез, едва он, откинувшись по глубине кресла в тень лампы, вернулся к практическому совету.

— Здоровый человек, любящей и сильной души, — не может быть, чтобы вы не встретили такое простое, но с известной стороны, полное счастье, — такой человек, — говорю я, — брак и дети — словом, семья — выведут вас теплой и верной рукой к мирному свету дня. Допустим, однако, что осуществлению этого мешают причины неустранимые. Тогда бегите в деревню, ешьте простую пищу, купайтесь, вставайте рано, пейте воду и молоко, забудьте о книгах, ходите босиком, чернейте от солнца, работайте до изнурения на полях, спите на соломе, интересуйтесь животными и растениями, смейтесь и играйте во все игры, где не обойтись без легкого синяка или падения в сырую траву, вечером, когда душистое сено разносит свой аромат, смешанный с дымом труб, — и вы станете такой же, как все.

Спокойное слово развеселило и ободрило девушку.

— Да, я так сделаю, это прелестно, — сказала она с воодушевлением, полным живописных картин; как бы уже став полудикой, сильной и загорелой, отважно взмахнула она рукой. — Я вытрясу там все яблони; а

лазить через забор? Девочкой я лазила по деревьям. Грантом! Добрый Грантом! Спасите меня!

— Я спасу.— Он сказал это с задумчивостью и суровой энергией, но так, что следовало ожидать еще слов, быть может, условий. Затем Грантом повернул лампу, выказавшись в ярком свете ее весь, с улыбающимся неподвижно лицом. Улыбка собрала к его мило прищуренным глазам бодрого и умного старика сетку морщин, эти глаза теперь блестели остро, как искры очков.— Но слушайте,— внезапно оживляясь, сказал он,— не многим я говорю то, что вы услышите; лишь тем, кто отвечает мне складом души. Вам будет понятно сказанное. Не поразитесь и не смутитесь вопросом: уверены ли вы, что это — галлюцинация?

Подозревая хитрое испытание, Руна, несколько волнуясь, сказала:

— Да, я вполне уверена; странно было бы думать иначе; не так ли?

— Думать,— сказал Грантом, смотря на ее лоб,— думать. Или — знать. Что знаем мы о себе? Однако мы, действительно, знаем нечто, стоящее за пределом чистого опыта. Не думаете ли вы, что нервность наша, общая сумма нервности, звучащей ныне таким знаменательным и высоким тембром, есть явление свойственное и прежним векам? Отметим лишь эту громадную разницу, не задевая причин. Человек пятнадцатого столетия знал силу душевного напряжения, но не разветвлений его; во всяком случае, столь бесчисленных, столь подобных дробности нитей асбеста; там, где человек пятнадцатого столетия просто кричал «хочу», нынешнее это «хочу» облечено в тончайшие ткани изменчиво противоречивых душевных веяний и напевов, где самая основа его есть уже не желание, а — мировоззрение. Теперь возьмем ближе. Мы вздрагиваем от фальшивой ноты, морщимся от неточного или неверного жеста; заразиться или заразить других своим настроением так обычно, что распространено во всех классах и условиях жизни; слова «я знал, что вы это скажете», «это самое я подумал», понимание с полуслова, или даже при одном взгляде; оборачивание на взгляд в спину; ощущение, что перед нами кто-то был там, куда мы едва вошли; смена и глубина настроений — есть лишь жалкие и обыденнейшие примеры могущества нервного

восприятия нашего, принимающего размеры стихийные. Не думаете ли теперь вы, что, быть может, скоро наступит время, когда в этом сплетении, в этом сливающимся скоплении нервной силы исчезнут все условные преграды и средства общения? Что слово станет ненужным, ибо мысль будет познавать мысль молчанием, что чувства определятся в сложнейших формах; что в едином духовном, том, океане — появятся души-корабли, двигаясь и правя наперняка? В какой же сфере действуют эти силы?

— Я пропущу,— продолжал он, понижая голос,— все соображения мои касательно этого пункта, как ни интересны они, чтобы подойти к главному, в связи с вами. Есть сфера — или должна быть — подобно тому, как должна была быть Америка, когда стало это ясно Колумбу,— в которой все отчетливые представления наши несомненно реальны. Этим я хочу сказать, что они получают существование в момент отчетливого усилия нашего. Поэтому я рассматриваю галлюцинацию, как феномен строгой реальности, способной деформироваться и сгущаться вновь. Хотя мне ваш покой дорог, я со стеснением сочувствовал вам; я вздрагивал от радости вашей усыпить душу деревней. Если только у вас есть сила,— терпение; есть сознание великой избранности вашей натуры, которой открыты уже сокровища редкие и неисчислимы,— введите в свою жизнь тот мир, блески которого уже даны вам щедрой, тайной рукой. Помните, что страх уничтожает реальность, отсекающую этот мир, подобно мечу в не окрепших еще руках.

Руна, опустив глаза, слушала и не могла вскинуть ресницы. Грантом говорил медленно, но свободно, с сдержанной простой силой точного убеждения; но не поднимала она глаз, ожидая еще чего-то, что, казалось,— взгляни она,— не будет никогда сказано. Благодаря способности, присущей весьма многим, и инстинкту, она завязала рот всем впечатлениям, лишь умом отмечая периоды речи Грантома, но мысленно не отвечая на них. Грантом продолжал:

— Реальности, о которых говорю я,— реальности подлинны, вездесущи, как свет и вода. Так, например, я, Грантом, ученый и врач, есть не совсем то, что думают обо мне; я — Хозиреней, человек, забывший о

себе в некоторый момент, уже не подвластный памяти; ни лицо, ни вкусы мои, ни темперамент, ни привычки не имеют решительно ничего общего с Грантомом данного типа. Но об этом мы поговорим в другой раз.

Тогда Руна почувствовала, что должна и может посмотреть теперь так, как выразилось ее настроение. Она взглянула — с впечатлительностью охотника, палец которого готов потянуть спуск, и увидела Грантома иначе: глаза, с полосой белка над острым зрачком. Лицо, потеряв фокус, — тот невидимый центр, к которому в гармонии тяготеют все черты лица, напоминало грубый и жуткий рисунок, полный фальшивых линий. Перед ней сидел сумасшедший.

— Грантом, — мягко произнесла девушка, — так что же? Брак и деревня? Не соединить ли мне это — пока?

Грантом стронулся, пожал плечами, поднял брови и, вздохнув, поправил очки. Малейшего следа искажения не оставалось теперь на его лице, смотревшем из-под очков с вежливой сухостью человека, ошибшегося в собеседнике. Он наклонил голову и поднялся. Руна пода-
ла руку.

— Да, — подтвердил он, — все как я сказал или в том духе. Лекарства не нужны вам. Будьте здоровы.

И она вышла, раздумывая, — то ли говорил он, что поразило ее. Но он говорил то, именно то, и она не разгадала его особой м и н у т ы.

Х

На другой день ей привезли розы из Арда; тот округ славился цветами, выращивая совершеннейшие сорта с простотой рая. Она разбиралась в их влажной красоте с вниманием и любовью матери, причесывающей спутанные кудри своего мальчика. Только теперь, когда все исключительное, как бы имея первый толчок в Друде, спокойно осиливало ее подобно магниту, располагающему железные опилки узором, — прониклась и изумилась она естественным волшебством цветка, созданного покорить мир. Перед ней, на круглом столе лежал благоухающий ворох, с темными зелеными листьями и покалывающей скользкой гладью твердых стеблей. Все-проникающий аромат, казалось, и был тем розовым

светом, таящимся среди лепестков, какого лишены розы искусственные. Самые цветы покоились среди смелой листвы своей в чудесном разнообразии красоты столь прелестно-бесстыдной, какая есть в спящей, разметавшейся девушке. Бледный цвет атласисто завернувшихся лепестков нежно оттенял патрицианскую роскошь алого как ночь венчика, твердые лепестки которого, казалось, связанные обетом,— рдели не раскрываясь. Среди их пурпура и зари снегом, выпавшим в мае, пестрели белые розы, которыми, невольно окрашивая их, слово «роза» сообщает уютную жизненность, дышащую белым очарованием. И желтые — назвать ли их так, повторяя давний грех неверного слова,— нет не золотые, не желтые, но то, что в яркой особенности этих слов останется недосказанным,— были среди прочих цариц подобны редкому бархату, в складки которого лег густой луч.

Руна разобрала их, погрузив в вазы, и там, краше всех тонких узоров дорогого стекла, стали они по предназначенным им местам встречать взгляды.

Пока девушка занималась этим, в ней складывалось письмо; но не сразу поняла она, что это — письмо. Рассеянно погружаясь в цветы и аромат их, равный самой любви, слышала она слова, возникающие в рисунке усилий, в душе движения пальцев и роз, в самом прикосновении. Вот расцепились стебли, соединить которые хотелось ей ради эффекта, мешал же тому завернувшийся внутрь бутон, и без звука началась речь: — «Я хочу встретиться с вами, проверить и пересмотреть себя». — Слова эти были обращены к твердой и надежной руке, не похожей на женственную руку Лидса, приславшего тот цветник, каким увлеченно занималась она теперь. — к воображенной руке обращалась она, несуществующей, но необходимой, и в такой руке мысленно видела свои розы. — «Возьмите их,— сказал тот, чьего лица не видела Руна,— не бойтесь ничего рядом со мной». — На руку ее упал лепесток; — «Я жду, что вы мне напишете», — подсказал он; тут же, уколов палец, от чего движение руки случайно соединило две розы, белую и бордо, она увидела их прижавшимися, в столь разной, но столь внутренне близкой и взаимно необходимой красе, что этого не могло не быть. — «Что знаем мы о себе и, если я вам пишу,— случайно ли это? Быть

вместе,—пока все, о чем думаю я. Рады ли вы этим словам?» — так, без мысли о незримом резце, ваяющем настроение, импровизировала она речь твердой руке; здесь подали ей письмо.

Оставив цветы, Руна стала читать любезное и остроумное повествование бравого балагура: — лесть, шутки, наблюдения, остроты и гимны, — то легкос, лишь спокойному сердцу внятное давление мужского пара, каким действуют психологи сердечного спорта. Без улыбки прочла она привычную и искусную лесть, но был там постскрипtum, где одно имя — Г а л л ь — тяжело взволновало ее: «Вот черная весть, естественно вызывающая почтительное молчание,— и я кладу перо; капитан Галль скончался в Азудже от лихорадки. Мир славной его душе».

Ее как бы хлестнуло по глазам, и, тронув их холодной рукой, еще раз прочла Руна красноречивый постскрипtum. Все то же прочла она, — ни больше, ни меньше; лишь больше — в своей душе, поняв, что письмо, едва родившееся в ней, пока она разбирала цветы, — смято уже этим ударом; что думалось и назначалось оно в Азуджу, — ради спасения — погибшему офицеру.

XI

К концу сентября Руна переехала в Гвинкль, где горы обступают долину небесным снегом, строго наказав прислуге не сообщать никому ее адрес, и всем запретила писать себе. Ее круг, узнав это, переглянулся с церемонной улыбкой, приветствующей каприз, ставший законом.

Она сняла в деревенской семье комнату с бедной обстановкой, живя, как жили окружавшие ее люди, преодолев насмешливые или недоброжелательные взгляды, работала она на виноградниках и в садах, в изнеможении таская корзины, полные винограда и слив, копая землю, умываясь в ручье, засыпая и вставая с зарей, питаясь кислым хлебом и молоком, не зная книг, далеко уходя в лес, в дикой громаде которого печально рассматривала внутренний мир свой, как смотрят на драгоценный сосуд, теряющий замкнутое свое единство от расколовшей его трещины. Как ни уставала, как ни томилась она среди этого мира, где одинаково звучат ласка и

брань, где позыв заменяет желание, где никто не видит листьев и цветов так, как видим мы их, будто читая книгу,— ничто не утратила она ни из осанки, ни из выражений своих и, содрогаясь тонким плечом под тяжестью фруктовых корзин, шла так же, как входила на бал. Она загорела, ее руки покраснели и стали портиться, но следовала она намеченному с упорством страдающего бессонницей, который, повернувшись лицом к стене и отсчитывая до ста, готов еще и еще повторять счет,— пока не заснет. Так шла неделя, другая,— на третьей почувствовала она, что хороша и мила ей эта раскинувшаяся цветущим трудом земля; что «я» и «она» можно соединить в «мы», без мысли, лишь вздохом успокоения. Она стала напевать, мирно улыбаться прохожим, шевелить носком прут, устойчивость и мера вещей снова окружали ее. Руна окрепла.

Раз вечером утих ветер; западное небо побледнело и выяснилось, как зеркало, отразившее пустоту. Три облака встали над красной полосой горизонта — одно другого громаднее, медленно валились они к тускнеющему зениту,— обрывок великолепной страны, не знающей посещения. Едва наделяло воображение монументальную легкость этих эфемерид земной формой пейзажа, полного белым светом, как с чувством путника бродило уже вверх, в сказочном одиночестве непостижимой и вечной цели. Легко было задуматься без желаний отчетливым сном раскрывшей глаза души над отблесками этой страны, но не легко вернуться к себе,— печально и далеко звеня, падало, теряясь при этом, что-то подобное украшению.

Не скоро заметила Руна, что к легкому ее созерцанию подошло беспокойство, но, различив среди светлых теней вечера темную глухую черту, встала, как при опасности. Протянув руку, отталкивала она этот набег.— вихрь, какой — сердце не обмануло ее— возник в облачных садах Гесперид. Звонкие голоса играющих детей стали вдруг смутны, как за стеной; силы оставили ее: беспомощно устремив взгляд на плавное движение облачного массива, увидела она, что прямо к ее лицу мчатся, подобно налетающей птице, блестящие, задумчивые глаза,— ни черт, ни линий тела не было в ужасной игре той,— одни лишь, получившие невозможную жизнь среди алой зари, падая и летя, близились с воздушных

стремнин глаза Друда. Как при встрече, были уже близки и ясны они, но, едва сердце несчастной стало на краю обморока, мгновенно исчезли.

Два дня Руна была больна, на третий, с внезапным отвращением к тому, что так еще недавно поддерживало и веселило ее,—возвратилась домой. Она не потеряла надежды. Напротив, в новой надежде этой, так просто протянувшей ей руку, встретила она как бы старого друга, о котором забыла. Но друг был тут, рядом,—стоило лишь с доверием обратиться к нему. Его голос был так же спокоен, как и в дни детства,—вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. Следовало послушать, что скажет он, выслушать и поверить ему.

Тот день она провела тихо, не беспокоили ее ни мелочи жизни, ни страх, ни воспоминания. Прошлое двигалось как бы за прозрачной стеной, незыблемой и пропускающей душевные бедствия, и она тихо рассматривала его. Как стемнело, Руна вышла одна, калиткой сада, в сеть второстепенных улиц города; за ними был переулок с маленькой церковью, стоявшей на небольшой площади. Вечерняя служба кончилась; несколько прохожих миновали ее, выйдя из освещенных дверей, в глубине которых блестели серебро и свечи. Уже разошлись все, храм был полутемен и пуст; церковный сторож, подметая за колоннами пол, передвигал огромную свою тень из угла в угол, сам оставаясь невидимым; мерный шум его щетки, потрескивание горящего воска и тишина, еще полная теплого церковного запаха, казалось, всегда были и всегда будут здесь, маня внутренне отдохнуть.

Хотя свечи догорали в приделах, сообщая лиловеющими огнями лицам святых особенное выражение тайной, ушедшей в себя жизни, алтарь был освещен ярко; блестели там цветные и золотые искры сосудов; огромные, снежной белизны свечи вздымали спокойное пламя к полутьме сводов, отблеск которого золотой водой струился по потемневшим краскам образа богородицы, лет тридцать назад заказанной и пожертвованной моряками Лисса. Буйная братия украшала драгоценность свою, как могла. Не один изъеденный тропическими чесотками, почерневший от спирта и зноя, начиненный болезнями и деяниями, о которых даже говорить надо, подумав как это сказать, волосатый верзила, разу-

чившись крестить лоб, а из молитв помня лишь «Дай», — являлся сюда после многолетнего рейса, умытый и выбритый; дрожа с похмелья, оставлял он перед святой девушкой Назарета, что мог или хотел захватить. На деревянных горках лежали здесь предметы разнообразнейшие. Модели судов, океанские раковины, маленькие золоченые якоря, свертки канатов, перевитые кораллом и жемчугом, куски паруса, куски мачт или рулей — от тех, чье судно выдержало набег смерти; китайские ларцы, монеты всех стран; среди пестроты даров этих лежали на спине с злыми, топорными лицами деревянные идолы, вывезенные бог весть из какой замысловатой страны. Смотря на странные эти коллекции, невольно думалось и о бедности и о страшном богатстве тех, кто может дарить так, сам искренне любясь подарком своим, и ради него же лишний раз заходя в церковь, чтобы, рассматривая какого-нибудь засохшего морского ежа, повторить удовольствие, думая: «Ежа принес я; вот он стоит».

Среди этого вызывающего раздумье великолепия, воздвигнутого людьми, знающими смерть и жизнь далеко не понаслышке, взгляд божественной девушки был с кротким и важным вниманием обращен к лицу сидящего на ее коленях ребенка, который, левой ручонкой держась за правую руку матери, детским жестом протягивал другую к зрителю, ладошкой вперед. Его глаза — эти всегда задумчивые глаза маленького Христа — смотрели на далекую судьбу мира. У его ног, нарисованный технически так безукоризненно, что, несомненно, искупал тем общие недочеты живописи, лежал корабельный компас.

Здесь Руна стала на колени с опущенной головой, прося и моля спасения. Но не сливалась ее душа с озадаченным покоем мирной картины этой; ни простоты, ни легкости не чувствовала она; ни тихих, само собой возникающих, единственно-нужных слов, ни — по иному — лепета тишины; лишь ставя свое бедствие мысленно меж алтарем и собой, как приведенного насильно врага. Что-то неуловимое и твердое не могло раствориться в ней, мешая выйти слезам. И страстно слез этих хотелось ей. Как мысли, как душа, стеснено было ее дыхание, — больше и прежде всего чувствовала она себя, — такую, к какой привыкла, — и рассеянно наблюдая за со-

бой, не могла выйти из плена этого рассматривающего ее,— в ней же,— спокойного наблюдения. Как будто в теплой комнате босая на холодном полу стояла она.

— Так верю ли я? — спросила она с отчаянием.

— Верю,— ответила себе Руна,— верю, конечно, нельзя не знать этого, но отвыкла чувствовать я веру свою. Боже, окропи мне ее!

Измученная, подняла она взгляд, помня, как впечатление глаз задумавшегося ребенка подало ей вначале надежду увлекательного порыва. Выше поднялось пламя свечей, алтарь стал ярче, ослепительно сверкнул золотой узор церкви, как огненной чертой было обведено все по контуру. И здесь, единственный за все это время раз — без тени страха, так как окружающее самовнушенной защитой светилось и горело в ней,— увидела она, сквозь золотой туман алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки; улыбнулся ему Христос довольной улыбкой мальчика, видящего забавного дядю, и приветливо посмотрела Она. Пришедший взял острую раковину с завернутым внутрь краем и приложил к уху. «Вот шумит море»,— тихо сказал он.— «Шумит»... «море»...— шепнуло эхо в ушах. И он подал раковину Христу, чтобы слышал он, как шумит море в сердцах. Мальчик нетерпеливым жестом схватил ее, больше его головы была эта раковина, но, с некоторым трудом удержав ее при помощи матери, он стал так же, как прикладывал к уху Друд, слушать, с глазами, устремленными в ту даль, откуда рокотала волна. Затем палец взрослого человека опустился на стрелку компаса, водя ее взад и вперед — кругом. Ребенок посмотрел и кивнул.

Усмотрев неподвижно застывшую в земном, долгом поклоне женщину, сторож некоторое время ожидал, что она поднимется — он собрался закрыть и запереть церковь. Но женщина не шевелилась. Тогда, окликнув, а затем тронув ее, испуганный человек принес холодной воды. Очнувшись, Руна отдала ему деньги, какие были с ней, и, сославшись на нездоровье, попросила позвать извозчика, что и было исполнено. Усталая и разбитая, как устают после долгого путешествия, она вернулась домой, спрашивая себя,— стоит ли и можно ли теперь жить?

ЧАСТЬ III

ВЕЧЕР И ДАЛЬ

I

К двенадцатому часу ночи Тави вернулась в Сан-Риоль. Все мелкие и большие события этого дня, подобных которым не было еще ничего в ее жизни, ехали и высадились с ней, и она не могла прогнать их. Они жили и осаждали ее под знаком Крукса.

По стеклянной галерее старого дома, среди развешенного для сушки белья, ненужных ящиков и другогохлама, откатывая ногой пустую бутылку или спотыкаясь о кошку, Тави нащупала свою дверь и, усталой рукою вложив ключ, задумчиво повернула его. Здесь на нее напал малый столбняк, подобный большому столбняку в Лиссе, когда, приложив к губам кончик пальца, она выстояла не менее получаса у витрины в глубокой рассеянности Сократа, решая все и не решив ничего. Среди волнения и потуг малый столбняк этот разразился наконец многочисленными бурными вздохами, а также тщеславным взглядом на себя со стороны, как на бывалого человека,—этакого тертого дядю, которого теперь трудно удивить чем-нибудь.

Получив наконец окончательное круговое движение, ключ пропахал таинственные внутренности замка, став теплым от горячей руки, и вырвался из железа с треском, наполнившим сердце Тави уважением к себе, а также желанием совершить рывком что-нибудь еще более отчетливое. Войдя, сумрачно осмотрелась она.

Запыленная электрическая лампочка, вокруг которой немедленно появились мухи, вспыхнула своей раскаленной петлей среди беспорядка, возвращаясь к которому после впечатлений иных, мы в первый раз замечаем его. Холодом и пустотой окружена каждая вещь; безжизненно как засохший букет, в пыли и сору встречает нас покинутое жилище. Кажется, что год мы не были здесь,—так резка нетерпеливая жажда уюта,—с неприглядностью, оставшейся после торопливых и полных надежд сборов.

Все этажи этого дома были окружены крытыми стеклянными галереями, с выходящим на них рядом дверей

тесных полуквартир, имевших кухню при самой двери, с небольшою за ней комнатою, два окна которой обращены на полузасохшие кусты пыльного двора. Здесь ютилась ремесленная беднота, мелкие торговцы, благородные нищие и матросы. У Тави не было мебели, не было также никого родственников. Мебель в квартире осталась от прежнего жильца, пьяницы капитана, давно покинувшего свое ремесло; он умер собачьей смертью во время драки на Берадском мосту; шатнувшись, грузное тело багрового старика опрокинуло гнилые перила, и очевидцы могли рассказать только, что, падая, выругался он страшно и громко. Поток унес его тело, грехи и брань в острые расселины Ревущей щели; тело не было найдено. От него остались — комод, ящики которого распухали иногда по неизвестной причине, не закрываясь неделями; кровать, несколько ковровых складных стульев, шкаф с тряпками и коробки из-под табаку, гипсовый раскрашенный сарацин да пара тарелок; остальное, если и было что получше, — исчезло.

Тави не помнила ни отца, ни матери; ее мать, бросив мужа, бежала с проезжим красивым казнокрадом; отец поступил на военную службу и погиб в сражении. Детство свое провела Тави у полуслепой двоюродной тетки, мучаясь более чем старуха ее болезнями и припадками, так как они отняли у нее много крови. На пятнадцатом году знакомый теткин книготорговец взял девушку в работу по лавке; она продавала книги и жила впроголодь. Потом он разорился и умер, а Тави напечатала объявление.

Вот биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошв Казановы по полусветским и дворцовым паркетам мира. Но не об этом думала Тави, сев в кухне перед плитой и кипятя чай; так были резки новые ее впечатления, что она не отрывалась от них. Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном и в его лучистом дыме над свечами страшного гроба неслись серебряные гирлянды странного аппарата. То представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится, пестрея, огромный диск города; то чувство случайно попавшего в сражение и благополучно его покинувшего человека поднималось вместе с благодарственным дымом от наболевших пяток к утомленным

глазам; то искренно дивилась она, что не произошло чего-нибудь еще более ошеломительного.

— Тави, моя дорогая, — говорила девушка, — как ты на это смотришь? Знала ли я, что существуют города, где от тебя могут остаться только рожки да ножки? Воистину, Торп — Синяя Борода. Кто же такой Крукс? Но это, видимо, вполне порядочный человек. Все-таки он прост, как теленок. Он мог бы прилететь в своем аппарате и сесть к ним прямо на стол.

Представив это, она залилась смехом, упав в ладони лицом; выразительная дрожь тихой забавы, смеха и удовольствия перебегала в заискрившихся ее глазах, поглядывающих на воображаемое из-за пальцев, как из фаты. Она принадлежала к тем немногим поистине счастливым натурам, для которых все в мире так же просто, как их кроткое благодушие; аэроплан и бабочка едва ли сильно разнились на взгляд Тави, разве лишь тем, что у бабочки нет винта. Поэтому более удивительным казался ей неистовый восторг зрителей, чем самый эксперимент.

— Он поднялся, но он сказал, что поднимется; и сказал — почему: вибрация звуков, производимых колокольчиками. Как вышло красиво! Правду сказал кто-то, что искусство воздухоплавания начинает новую эру! Давно пора делать эти вещи красивыми и разнообразными, как делают же, например, мебель.

Сквозь такие мысли, полные острого воспоминания, как она была окружена любопытными, вообразившими, что именно эта девушка все знает, и как бегством спаслась от них, неотступно мерещилось лицо самого Крукса; все еще слышала она его голос; как он сказал: «Мы скоро увидимся». — Зачем он сказал это? Почему знает он, что Торп умер? Она стала, наконец, раздражаться, так как ни объяснить, ни придумать ничего не могла, даже в спине заняло от размышлений. «Спросил ли он по крайней мере, — хочу ли я увидеть его?» — вот вопрос, о который споткнувшись, Тави начала повторять: — «Хочу ли увидеть его?» «Хочу ли увидеть его?» — пока ей это не надоело. «Хочу. Да, хочу, и все тут; у него было ко мне хорошее отношение». От этой мысли почувствовала она себя сиротливо-усталой, обобранной и затерянной; к глазам подступили слезы. Тави всплакнула, съела кусок хлеба, выпила чай, утихла и

легла спать, твердо решив оживить завтрашний день рождения весельем и угощением немногих своих знакомых.

Повертываясь лицом к стене, тронула она грудь, чувствуя, что чего-то нет. Не было медальона, оставленного ею в Лисском ломбарде.

«Но я выкуплю его, как продам шаль,— подумала девушка.— Заказываю себе видеть хороший сон, о-чень интересный. Крукса хочу. Должно быть, увижу, как лечу с ним туда-сюда, в этой его штуковине.

Ах, Крукс, не знаете вы, что одна думает о вас и ничего не понимает и спит... спит... ссп...»

Здесь трубочкой собрались губы, с приткнувшимся к ним указательным пальцем; затем Тави умолкла, видя все, чего не увидим мы.

II

В семь утра Тави проснулась, увидев все, что видим и мы. Минуты две возилась она с изгнанием ночной свежести, проникшей под одеяло, утыкала его вокруг себя, протерла глаза и восстановила момент. Он имел праздничный оттенок, с загадкой вчера и безденежьем сегодня. Меж настоящим и давно бывшим, отрывком непостижимой истории, лежало путешествие в Лисс.

Хотя, устав, спала она крепко, но проснулась так рано по внутреннему приказанию, какое бессознательно даем себе мы, если грядущий день ставит хлеспотливые цели.

— Этого-то числа я родилась,— сказала девушка, вытаскивая из-под одеяла свои руки, глядя их и рассматривая как бы со стороны.

С скорбью нашла она, что они достойны гримасы, во всяком случае не хороши так, как у статуй или на известных картинах. Но — ничего. Полюбовавшись на руки, с тревогой ощупала она ноги, — не кривы ли они, — вдруг они кривы? Одну вытащила она из-под одеяла, подняв вверх, но кроме белизны, прямизны и маленькой ступни, не заметила ничего. Вдруг представила она, что кто-то видит эти поучительные занятия и, взрыв постель, скрылась в ней, как в воде, таща тут же со стула брошенную вчера одежду и оделась для уюта под одеялом.

С шалью, увязанной в газеты, вышла она из кухни. Ей стали встречаться соседи. Веселая, горбатая прачка бойко загремела за ней по лестнице, схватив ее руку и крича, как глухой:

— Разве не уезжала? Когда приехала?

Супруги Пунктир, заезжие актеры без сцены, кокетливые старички, поливали из чайника цветочные горшки; завидев Тави, дружно ринулись они к ней с жеманным любопытством в глазах.

— Устроили ли вы ваши дела, Тави? — сказала старушка; старик, приподняв одну бровь, готовил соответствующее выражение, в зависимости от того, какой будет ответ.

— Да, ваши дела, — повторил он. — Откройте в себе талант, талант к сцене, при выигрышной вашей фигуре...

Супруга перебила его ледяным взглядом, отчего, собрав плечи к ушам, умолк он с сладостью и приятностью в лице, стряхивая с рукава ниточку.

— У кого же будете вы служить, моя милая? — осведомилась мадам Пунктир тоном легкого нездоровья.

Еще несколько лиц, в туфлях на босую ногу, с трубкой или шпилькой в зубах задали Тави те же вопросы, и всем им отвечала она, что не согласилась на скаредные условия при трудной работе.

— Ну, как-нибудь! — был общий ответ.

Короче всего поговорила девушка с Квангом, массивная фигура которого, сидя на тюфяке у дверей и протянув ноги поперек галереи, не убрала бы их, шестув тут эскадрон; — их требовалось обойти или перешагнуть. Кванг был кочегар. Увидев Тави, он только дрогнул ногой, но не убрал ее, а почесал спину. Вынув изо рта трубку, он сказал в разбегающееся кольцо дыма:

— Не вышло?

— Нет, — бросила на ходу Тави. При этом разговаривающие даже не посмотрели друг другу в лицо.

— Кикс? — сказал Кванг.

— Фью, — свистнула Тави.

Кванг продолжал курить.

Наступал один из тех упоенных блеском своим жарких и звонких дней, когда волнующаяся, легкая свежесть нарядного утра подобна приветливой руке, трогающей глаза, перед тем как взглянуть им за огненную черту чувств в полном и тяжелом цвете. Торопясь до наступления жары вернуться домой, Тави шла скоро, попав в центр к открытию магазинов. Ей приходилось уже иметь дело с лавками, торгующими случайными вещами самого

разнообразного назначения; в одну такую лавку и обратилась она.

— Эту шаль я продаю,— сурово сказала она торговцу, бросившему свой завтрак ради наживы.

Жуя, стал он рассматривать шаль, вертя ее перед кисло-угрюмым своим лицом так тщательно, как едва ли вертели ее ткачи.

— Пока вы смотрите, я поговорю в ваш телефон,— сказала девушка и, припомнив нужные номера, стала звонить.

— Квартира доктора Эммерсона,— сказал ей в ухо издалека женский голос.

— Ну, и что же вы хотите за вашу вещь? — спросил лавочник.

— Рита дома? — сказала Тави.— Тридцать она стоила, может быть, двадцать пять не разорит вас? — «Она дома, и я сейчас позову ее».

— Послушайте, барышня,— сказал торговец,— зачем говорить лишнее, когда я вам продам такую же, и еще лучше за пятнадцать, две, три, сто штук продам.

— Ведь я продаю,— кротко ответила девушка.— Рита, ты? — «Да, я, кто это?» — голос был спокоен и глуховат.— Но это я, Тави.

— Берите двенадцать,— сказал лавочник.

— Лучше я брошу ее,— «Тави, что ты говоришь? Я не поняла».— Не смущайся, Рита, я говорю с тобой и еще с одним. Приходи сегодня ко мне вечером с твоим пузиковатым Бутсом. Это? — День рождения.

— Берите пятнадцать! — крикнул торгаш.

— Ну, что там поздравлять,— хорошо, я возьму пятнадцать,— стареем мы с тобой, Рита, легко ли нести почти два десятка?! Жду и угощу всякими штуками. Что? Ну, будь здорова.

Отойдя, подставила она руку, серьезно и грустно смотря, как хозяин лавки опускал в нее одну за другой серебряные монеты. Он делал это, осклабясь и засматривая в лицо девушке.

— Будьте здоровы,— сказал он,— приносите, что будет; мы все купим.

— Купить, перекупить, распроприторговать и распротерепродать,— рассеянно сказала Тави, став на порог и оборачиваясь с задорной улыбкой,— но одного вы не купите.

— Ну, что такое? — задетый в торговом азарте, спросил лавочник, взбодрясь и потирая руки,

— Вы не купите дня рождения, как я купила его. Вот! — она сжала деньги, подняла руку и рассмеялась. — Не купите! Трафагатор, Эклиадор и Макридатор!

С тем, выпалив эти слова в подражание оккультному роману, который прочла недавно, смеясь, выпорхнула и исчезла девушка на блеске раннего солнца, мешающего смотреть прямо белой слепотой в слезящихся глазах.

Купив, о чем мечтала еще вчера, — красную розу и белую лилию, Тави приколотла их к платью. В ее корзинке лежали уже яйца, мясо, масло и мука; среди провизии торчало серебряное горлышко темной винной бутылки; несколько апельсинов рдели под батистовым локтем. Так, вооруженная, с сознанием подвига явилась она домой, присела, почмокала в хозяйственном раздумье и затопила плиту.

Разгоревшись, огонь вычертил щели чугунных досок. Комната и кухня пылали солнцем; уютен стал сам беспорядок; роза и лилия, в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол с оползшей скатертью, отрадно цвели. Смотря на них, Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами, и яркая, как громкое биение сердца, тишина властвует над чистой минутой. Опустив мясо в кастрюлю, посмотрела она вокруг и увидела простой, одинокий час, пригретый утренним солнцем. Тогда захотелось ей, чтобы сердце билось больно и сладко; варварски расправилась она с своими припасами и, наспех, притопывая от нетерпения ногой, шлепнула на мясо кусок масла, решив посолить потом, как будет готово; кипя и сердясь, протолкла в глиняной чашке муку, полив ее молоком и яйцами, размесила фарш и начинила пирог. По приближении к концу этих занятий представилось ей как будто все вкусно; тогда, искательно посмотрев на пирог и мясо, уже несколько бережнее сунула она кушанье в духовой шкаф; затем вымыла руки, схватила книгу и уселась против окна.

Тонкий запах розы противоречил убожеству. Жажда роскоши овладела Тави; опрокинув на платок из флакона каплю духов, вдохнула она аромат их с видом относительного удовлетворения и положила платок рядом на стол. Но было что-то в другой руке, и она разжала ее:

упал на колени кусок старого сыра, схваченного попутно, в рассеянности. Как водится, сыр просил хлеба. Нехотя придвинула она ногой стул, на котором со вчерашнего вечера лежала краюха, ушипнула от корки. Сыр был так горек, что она плюнула, но, воодушевшись, старательно выскребла ножом плесень, снова уселась и стала жевать, не забывая прикладывать к платку; меж тем ее блестящие глаза быстро, — взад-вперед, — пересекали страницу.

В то время, как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгореть, чем уступить какой-то литературе, всадник из Сен-Круа по каменистой дороге, взбивая пыль, мчался к Алансонскому герцогу с известием о нападении англичан, и, держась за всадника, сидела пропитанная духами Тави. В то время как лорд, губернатор Калэ, требовал от Дианы невозможных страстей, — соус полился через край, но Тави ледяным взглядом сказала лорду: — «О, нет!» И когда рыцарь, герой всех времен и стран, освобождал пленницу, пирог, лопнув, выпустил часть начинки, а Тави, краснея, решила уже сказать рыцарю с огромным мечом: — «Да».

О вы, люди, умершие люди, с детской чертой глаз, омраченных жизнью! Вам улыбаются и вас приветствуют все, кто дышит воздухом беспокойным и сладким невозможной страны. Спала или нет Тави — не знала она; но, устав, видела, как среди армий англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их? Все пропало. Проведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству.

III

Убирая комнату, стирала она тряпкой пыль, гремела стульями, чистила и вытирала посуду, и от возни разгорелись ее нежные щеки. Чувствуя, что они горят, Тави подошла к зеркалу, фыркая и отплевываясь.

— Тьфу, тьфу! как ведьма, как трубочист; не лучше я этого Сарацина!

Действительно ее нос был в пыли, полоса сажи мара-ла щеку, а шея засерела от пыли. Уже Тави схватила полотенце, чтобы вытереться, но, подавленная, со вздохом опустила руку, качая головой:

— Не для кого мне прибираться и умываться; хороша я и так

Действительно, она была хороша и так.

Нет более удобного момента описать женщину, как когда она сама вспомнит об этом; описать, так сказать, при случае. Раз наступил такой случай, грешно было бы упустить его, ожидая нового случая. Вероятно, проницательный читатель заметил, что, подчеркивая наши слова — «она была хороша и так», — то есть хороша, не смотря на запачканное пылью и сажей личико, мы разумеем не классическую гармонию очертаний, которой именно нельзя быть тронутой сажей, так как сажное пятно мгновенно обезобразит ее. Попробуйте произвести опыт со статуей, попавкав ее прекрасные, однако лишенные иного выражения, кроме выражения условного совершенства, черты чем-нибудь темным, хотя бы той же сажей, — мгновенно исчезнет очарование. Пятно или полоска придадут спокойствию совершенных форм мрамора гибельную черту, так же неумолимо поражающую законченность, как клякса на белом листе бумаги делает вдруг неопрятным весь лист. Равным образом красавица с головы до ног, женщина красоты безупречной и строгой, теряет все, если у ней запылится нос или осквернится щека чернильным пятном; такова природа всякого совершенства, могучего, но и беззащитного, если чему-нибудь в чем-нибудь резко уступило оно.

Однако живая и веселая девушка с неправильным, но милым и нежным лицом, с лучистым и теплым, как тихий звон, взглядом, выражение которого беспрерывно разнообразно; девушка, все время ткущая вокруг себя незримый след легких и беззаботных движений; худенькая, но хорошо сложенная, с открытым и чистым голосом, с улыбкой, мелькающей как трепет летней листвы, — может, не вредя себе ровно ничем, пачкаться и пылиться сколько душе угодно; ее вызывающая заботливую улыбку прелесть победит черное тягло сажи потому, что у нее более средств для этого, чем у неподвижной статуи, или живой, но с медленным темпом излучаемых впечатлений богини. Может ли последняя запрыгать, хохоча и хлопая себя по бокам? Нет. Но это может всякая просто милотвидная девушка, мало заботящаяся о том, как выглядит подобный эксперимент.

Вот все, что мы хотели сказать, воспользовавшись подходящим моментом. Меж тем, вытирая вещи, стоящие на комодѣ, Тави повела мысленную бесѣду с Сарацином из гипса. Не раз о его подножіе пропавшій капитан выколачивал трубку, чем сбил краску, окружив ноги Сарацина ужасными ямами. Сарацин, поднеся руку к глазам, смотрѣлъ вдаль, другой же рукой держался за рукоятъ ятагана.

— Ну, как у вас в Сарацинии? — спросила девушка.

— Да ничего, помаленьку.

— Вот, говорят, вы просветили Испанію, — продолжала Тави; — были вы, говорят, велики, но умалились. Почему это?

— Я гипсовый, я не знаю, — сказал Сарацин.

— Слушай, — подбоченься, заговорила девушка, — вынь же наконецъ свой ятаган, свистни им в воздухѣ и издай боевой кличъ; сколько летъ держишься ты за эфесъ, а вытащить клинокъ не можешь. Воспрянь и изобрази!

— Это не выйдетъ, — отвѣчал Сарацин, — но вотъ что я скажу тебѣ, бѣлая христіанская девушка: я смотрю в даль, гдѣ вижу твою судьбу.

Такъ ясно прозвучали эти слова, какъ будто Тави сама произнесла ихъ. И отъ неподвижнаго взгляда гипсовой фигуры, с думой о его направленіи, невольно обратила она свой взглядъ в сторону, куда смотрѣлъ мавръ; смотрѣлъ онъ на стену. Но за ея скучной границей сияла громадная орифламма міра, с мелькающимъ голубымъ зигзагомъ, который былъ какъ бы будущее самой Тави. Такъ, часто, в теняхъ тѣней невидимаго, чертитъ неразгаданные знаки наша душа, внимая и обещаая имъ на языкѣ размышляющаго молчанія все, что лишено словъ.

За уборкой, мытьемъ посуды, беготней в лавочку, стряпней и различными касающимися всего этого соображеніями прошелъ жаркій день, уступивъ душному вечеру. Но не было ничего забыто изъ происшествій памятнаго лисскаго дня; напротивъ, чѣмъ далѣе, чѣмъ упорнѣе и тяжелѣе катились мысли, тѣмъ непроницаемѣе становились событія; была в нихъ недоступная и непонятная связь. Какъ ни мучительно стягивала Тави узелъ изъ Крукса, знавшаго, что Торпъ умеръ; изъ Крукса, сразившаго толпу дѣйствіями, покрывшими оскорбительный гвалтъ воплемъ немедленнаго признанія; изъ Крукса, сказавшаго, что они скоро увидятся и что ей не надо будетъ больше

служить,— вся сложная плетенка узла оставалась все же ничем иным, как неразделимым шнуром, стягивая который, лишь каменила она его, бессильная ни развязать, ни порвать. Смерть Торпа была, казалось, выбита двойным рельефом медали из одного с ней и Круксом куска. Размышляя о Круксе, не могла она отказать ему в силе и спокойной уверенности, наполняющих ожиданием, но, представляя себя с затерянной жизнью своей, она смущалась, недоумевая, что может быть общего у него с ней,— у человека, который, не сегодня так завтра, затмит, может быть, Эдисона.

IV

К восьми вечера, соскучившись уже быть одна, Тави стремглав кинулась открывать дверь, услышав сироголиво-приличный стук, с каким входит человек, оглядывающийся на свои следы.

— Я тебя угадала,— крикнула она,— это ты, Рита, мышка, тихоня, и твой, надо быть, похудевший Бутс!

Рыженькая, сухая девушка, с мелкими чертами лица, солидно переступила порог, оглядываясь на шествующего сзади поклонника.

— Это я,— протяжно сказала она,— но почему же Бутс похудел?

За ее спиной хихикнуло существо столь толстенькое и круглое, что, казалось, положенное набок, могло бы вращаться оно в таком положении, подобно волчку, без опасения задеть ложе какой-либо второй точкой фигуры.

— Почему же Бутс похудел? Он кушает, слава богу. Но милая, поздравляю тебя. Бутс, поздравляйте. Это тебе торт, Тави.

Взяв одной рукой торт и приняв коротенький поцелуй в губы, на который ответила порывистым чмоком в ухо, другой рукой Тави уцепилась за Бутса, притянув его вплотную к себе. Бутс был человек двадцати двух лет, во всем цвете пышной полноты десятилетних великанчиков, при каждом повороте которых вспоминается младенец Гаргантюа.

— Так вы не хотите похудеть, Бутс,— сказал Тави, ущипнув его за вздрогнувший локоть,— жаль, а тогда вы мне стали бы больше нравиться! Как вы вспотели! Это вам воротничок жмет. Рита, ты не следишь, чтобы

он всходил по лестнице тихо.— как у него сердце бьется, как дышит — бедный, бедный! Вам надо попудриться. Хотите, я вас попудрю?

Смеясь, она уже кинулась за пуховкой, но Бутс, подняв обе руки, защитился этим движением с самым жалким видом; искренний испуг и смятение выразились в побагровевшем его лице, а глаза стали влажны, но, подавшись чему-то смешному, он неожиданно фыркнул, хихикнул и залился тихим смехом.

— По-пу... по-пудриться,— выговорил он, наконец задыхаясь и обтирая лицо платочком,— нет, нет, я никогда, никогда... не... не пудрюсь! Благодарю вас. Будьте здоровы!

Эти, сказанные наспех, но с жаром отвращения к пудре слова Бутса заставили хозяйку шлепнуться на табурет, удерживая обессиливающий хохот руками, прижавшими к лицу: даже Рита рассмеялась с благодушным спокойствием.

— Однако, милочка,— осведомлась она,— ты так возбуждена, что мне стало тревожно. А? Что с тобой?

Новый стук в дверь перебил это замечание.

— Я весь вечер буду такая! — успела сказать Тави.— Видишь ли, моя милая, у меня нервы.

Все еще смеясь, открыла она дверь, приняв в объятия чернокудрявую, с смуглым лицом маленькой обезьянки, в огромной шляпе, Целестину Дюфор, некогда служившую вместе с ней в книжной торговле.

— Здравствуй, Целестиночка, здравствуй!

— Поздравляю, Тавушка, поздравляю!

— Да, старость не радость. Целестинка, негодная, с кем ты пришла? Ах, это твой брат!

Взявшись за руки, скакнули они друг перед другом разка три; затем Тави была изысканно и хлестко поздравлена Флаком, братом девушки; его манеры, насмешливое, самоуверенное лицо, особый лоск заученных и вертлявых жестов, популярных на публичных балах, делали этого юношу с пожившим лицом опытным кавалером, сметливым в любую минуту.

— Цвести и украшать собой жизненный путь, цвеля с каждым годом все пышнее и ярче! — так кончил он поздравление.

Внимательно с подвижной улыбкой выслушав как выговор эту тираду, Тави торжественно подала ему вытя-

нутую палкой руку и, неистово тряся руку любезного поздравителя, со вздохом произнесла:

— Ах! Вы пронзили мне сердце! Пронзил он мне сердце или нет? — тут же обратилась она серьезной скороговоркой по очереди ко всем: — Пронзил или нет? Пронзил или нет? Пронзил или нет? — наткнувшись на учтиво посторонившегося Бутса. Умильно склонив голову, толстяк с азартом проклокотал:

— Нет, нет, нет! — и боязливо покосился на Риту, но его выходка была встречена милостивой гримасой.

Тут Тави собралась вытолкнуть гостей из кухни в освещенную, чистую комнату, но сквозь полуприкрытую дверь донеслась снизу металлическая трель мандолин, на что Флак, поведя бровью, заметил:

— О, вот идут Ральф и Муррей!

Точно, два рослых молодых человека, выдвинув вперед такую же рослую, крупную, мужественного вида девушку с некрасивым, но приятным лицом, стали против двери, выставив одну ногу и, тронув рукой бархатные береты, вырвали из струн «безумно-увлекательный» вальс. Так они и вошли с вальсом, так и раскланялись, не переставая играть. Тут самый очаровательный черт, который сидел когда-либо под юбкой, взвизгнув, дернул девушек за икры, со стоном кинулись они к кавалерам, приладились к их обнявшей руке и завертелись на одном месте, так как вертеться по кругу было бы невысказано в такой тесноте даже цыплятам. Хотя Бутс более поворачивался, чем танцевал, Тави, казалось, была довольна.

— Но вы прелестно танцуете! — шепнула она. — Так легко, как пуховичок!

И добрый толстяк от всего сердца простил ей дерзновенную пудру. В это время высокая девушка, которую звали Алиса, прехладнокровно мяла и вертела в руках жеманно сияющую Риту; наконец, Целестина стукнулась спиной об одного музыканта и бал кончился.

— Как вы б о л е е живописны, — сказала Тави молодцам в беретах, чей одинаковый костюм состоял из голубых блуз с красными атласными воротниками, — то мы устроим пестринку. Что, если посажу я вас одного рядом с собой, — именно вас, Муррей, ибо вы приятно мне улыбаетесь, к тому же белое мое платье и черный пояс — одно к другому подходит?! Ральф, деточка, идите сюда! Алиса, дай, дружок, я к тебе немножко прижмусь.

Они обнялись и погладили друг друга по голове со смехом и теплотой.

— Вот, как-то теперь отраднее,— ну, идите, идите, садитесь, садитесь все, все, все! Этот стул хромой; этот, хотя и не хромой, но хрупок для вас, Бутс; ну, все сели? Уф!

Так, болтая, смеясь, проталкивая одного и усаживая-пересаживая другого, Тави поместила всех за круглым столом, сама усевшись меж Алисой и Мурреем. Не без гордости смотрела она на стол. Алиса принесла сладкий пирог, Рита торт, Ральф вытащил колбасу, а Муррей корсбку цукат; кроме того, перемигнувшись, басом пообещали они друг другу «выпить как следует», отчего дамы, хмыкнув, пожали плечами, спрашивая друг друга:

— Ты понимаешь что-нибудь? Нет. А ты? Еще меньше тебя!

С этого момента Тави можно было видеть в трех положениях: сидящей, ерзая на стуле, и помахивающей перед собой указательным пальцем, держа остальной кулачок сжатым, словно в нем был орех; вставшей, чтобы, топнув, усилить тем значение каких-либо ее стремительных слов, и парящей в полусогнутом виде над заставленным посудой столом. Смеялась и говорила она без умолку, но как камень лежало что-то под сердцем, мешая вольно вздохнуть. Так ноет иногда зуб,— ноет, когда вспомнишь о нем.

Как едят и пьют — нам известно, разве лишь если звякнет оброненная ложка, или поперхнется, брызнув изо рта кофеем, смешливый сосед, вызвав визг и отодвигание стульев,— стоит упомянуть об этом.

— Что же твоя поездка, Тави? — спросила Алиса, взглянув на ввернувшую словцо Риту.

— Ты не раздумала служить в о о б щ е? — сказала Рита; — право, твой праздник хоть кому впору!

Тави перевернула блюдечко, подбросила, поймала его и стала еще подбрасывать, говоря:

— С этим делом прозевала, прозевала! Опоздала. Там нанялась другая.

Вдруг захотелось ей рассказать все, но, открыв рот и уже блеснув глазами, почувствовала, что не может. Есть минуты, которых нельзя коснуться без удивления, а может быть, и усмешки со стороны слушателя, во вся-

ком случае рассказывают их с глазу на глаз, а не в трепете веселого вечера.

— А... э... э... — этими щебетовидными звуками ограничился ее слабый порыв; она порозовела и толкнула Муррея, написав ему пальцем на щеке: — «Фью».

— Оставим это, — равнодушно сказала Тави; — сегодня мне не хочется говорить о моей неудаче.

— Ну, так и быть! — вскричал Ральф, хлопая себя по колену. — Займемся существенным. Неси бутылки, Муррей, а штопор у меня есть.

Ни слова не говоря, Муррей поднялся с лунатическим лицом, вышел и вернулся с бутылками, висящими у него горлышками меж пальцев, как гроздь.

— Вот так ручища, — сказал Флак. — Но где же было это добро?

— Боясь, что мы застанем всех пьяными, — сказал Муррей, — и не желая никому гибели, я оставил их в галсрее.

Похохотав, компания стала рассматривать ярлыки. Целестина, обводя пальцами буквы, прочла: «Ром».

— Ром! — вскричала она с ужасом. — Но это нас убьет! Ты станешь пить эту гадость, Алиса? А ты, Рита? Я — нет, ни за что!

— Есть и мускат, — вежливо возразил Ральф, — вот он, водичка для канареек, позор пьющих и нищета философии!

— А что это такое? — спросила Рита, серьезно приглядываясь к бутылке.

— Простая касторка, — сказал Муррей.

Наконец переговоры и перешутили по этому поводу все, и Муррей стал наливать; дамы протягивали ему стаканы, прижимая отмеривающий пальчик почти к самому дну, но постепенно поднимая его выше, как повышался уровень булькающего из бутылки вина.

— А моя, моя, моя скромненькая бутылочка, что я купила, — сказала Тави, — мне подавать ли ее?

— Непременно, непременно! — вскричали мужчины. Бутс тихо потел, кланялся и сиял, вытирая лицо.

— Так выпьем! — предложил более других нетерпеливый Флак.

Тут кто пригубил, кто опрокинул, и стройные поздравления зашумели вокруг Тави, которая, поперхнувшись

слегка вином, чихнула, нервно помахав рукой в знак благодарности.

— Всем, всем, всем! — сказала она, тут же подумав: — «Интересно, как позддравил бы меня таинственный мой знакомый Крукс?»

Но мысли ее перебились возгласом:

— Так должен я рассказать,— продолжал возгласивший,— это был Муррей,— что в преинтереснейшем номере сегодняшней газеты прочел я поразительнейшую вещь,— и я думал, Тави, что вы, может быть, вчера слышали об этом, так как были в Лиссе.

— Я тоже читала. Глупости,— сказала, прожевывая пирог, Рита.— Что-то невероятное.

— Так вы не знаете? — закричал Муррей.— Со мной есть эта газета. Речь идет о новом изобретателе. Он полетел так, что все ахнули. Неужели вы не слышали ничего?

Удерживая знаки тревожного волнения, Тави невинно обратила к нему лицо, мигая с внимающим недоумением, слегка окрашенным беззаботным усилением памяти.

— Я слышала,— протяжно сказала она,— я слышала что-то такое, что-то в этом роде, но, надо думать, я задремала и заспала что говорили в вагоне. Ну, почитайте!

Муррей развернул газету, отыскивая статью, поразившую его.

— Тише,— сказала Рита, хотя все молча ожидали чтения; Муррею же никак не удавалось сразу разыскать нужный столбец. Общество, покашливая, ожидало начала чтения. Было тихо; этой тишине ответила вдруг ставшая неприятно ясной внешняя тишина дома; как будто разом погрузился он в сон, как бы заснул и весь город.

— Что это, как тихо везде! — заметила, нервно оглядываясь, Алиса,— неужели уже так поздно?

— Вот,— сказал, раскладывая газету, Муррей.— Судите сами, какое волнение произошло в Лиссе. Слушайте! — Но он остановился, как немедленно остановили свое внимание на другом все: быстрый, громкий стук заставил оцепенеть чтеца и слушателей.

— Это что такое? — воскликнула Тави, но еще громче и требовательнее грянули новые удары и, слабо побледнев, двинулась она с обеспокоенным лицом в кухню, жестом приглашая сидеть всех спокойно. У двери ее опе-

редил Муррей; отстранив девушку, он сильно распахнул дверь; за ней, во тьме, пошевелилась толпа.

Кто понял, кто успел понять в чем дело,— уже вскрикнули и повскакали, грохоча стульями, но Тави, прижав рукой грудь, шаг за шагом отступала к комнате.

— Гром и молния! — сказал, оглядывая гостей, Флак; как он, оглядывались друг на друга все, видя, что бледны и поражены. Но Тави с упавшим сердцем могла только быстро дышать, не веря глазам. Шесть жандармов окружало ее; еще двое, войдя, остановились у двери; остальные, разъединив гостей, наполнили всю квартиру, став зорки и неподвижны, и в лицах их сверкнуло что-то цепное, готовое сорваться по приказанию.

Как вещь, которой только что любовались мы покойно и беззаботно, вырванная мгновенно из рук чужим, полным ненависти движением, исчезает с сразившей настрояние болью внутреннего удара, так мгновенно вырван был, сломан и отброшен веселый цвет этого вечера. Страх вдвинул томительное жало в упавшие сердца бледных гостей; вскочив, вскрикнули и переглянулись они, видя по лицам других, как бледны сами, как схвачены и потрясены видом оружия.

— Тави! — вскричала Алиса.

— Я отказываюсь понимать что-нибудь, — с сердцем сказала девушка, мрачно рассматривая остановившегося на пороге человека в черном мундире, в свою очередь, пристально смотревшего на нее. У него был привычно отмечающий центр сцены взгляд; в руке он держал портфель, сжимая другой рукой острый свой подбородок.

— Так объясните, что это все значит, — сказала Тави, стараясь улыбнуться, — это вы привели их? Смотрите, как перепугали вы нас. Я еще вся дрожу. Ведь вы ошиблись, конечно? Тогда извинитесь и уйдите; и то еще я посмотрю, как прошу вас. Это помещение занимаю я. Меня зовут Тави Тум. Вот все, что вам было неужно знать.

— Тави Тум, — сказал неизвестный, — установить вашу личность — как раз то, что нам нужно. Вы арестованы.

Эти слова вывели из оцепенения всех. Тави, двинув плечом, оттолкнула легшую на него руку жандарма и ушла в угол, повернувшись с тронутым слезами и надмен-

ной улыбкой лицом. Ральф и Муррей бросились к середине комнаты, мешая схватить хозяйку.

— Вы совершенно сошли с ума.— горячо заговорил Муррей, протягивая руки, чтобы задержать двинувшихся солдат,— стыдитесь!.. Нет более безобидного и кроткого существа, чем эта девушка, на которую вы нападаете всемером!

Его отбросило движение локтя.

— Здесь есть человек, который знает, что делает,— резко ответил чиновник.— Или вы хотите, чтобы я арестовал также и вас?

Целестина, бросившись на кровать, горько рыдала; Рита, трепеща, бессмысленно твердила, оглядываясь с жалким смехом:

— Уйдемте, уйдемте отсюда! Боже мой, какой ужас!

Но Бутс, вдруг налившись кровью, затопал ногами, схватил и швырнул стул.

— Не смей, я не дам! — азартно закричал он.

— Молчать! — громко сказал жандарм. Но, уже струсив сам, Бутс умолк с негодующим видом, помялся и стих.

Теперь, когда сказано было все самое страшное, наступила, как это бывает в случаях быстрого и напряженного действия, краткая тишина, подобная ужасной картине, неподвижной, но красноречиво памятной навсегда. Все взгляды были устремлены на пленницу, пытавшуюся тщетно вырваться из четырех сильных рук, механически державших ее. Плача, с открытыми мстительными глазами, с презрительно стиснутым, но полным слезотом, меж тем как лицо дергалось и тосковало совершенно уже по-детски, Тави перестала наконец рваться и выкручивать руки, но, сколько могла сжав руки, резко и внушительно потрясла ими. Она говорила и задыхалась:

— Я требую,— сказала она со всем пылом отчаяния,— чтобы вы объяснили мне вашу шутку! Сегодня мой праздник, день рождения моего, а вы взяли меня, как уличную воровку! Вот мои гости, мои друзья,— что подумают они обо мне?!

— Тави, дурочка! — поспешила перебить ее, утирая слезы, Алиса.— не говори глупостей!

— Подумаем, что ты ребячий кипяток,— сказал, сжимая ей руку, Муррей.— Послушай, с этими людьми препирательства бесполезны. Мы останемся ждать тебя.

Не бей их и поезжай, когда так. Ошибка слишком груба. Черт их знает, что они там напутали.

— Одно слово,— сказала Тави человеку, руководившему арестом,— какая причина вашего мерзкого дела?

— Вам будут даны объяснения на месте,— сказал тот, двигая взглядом солдат по направлению к выходу.— Я действую по приказанию и ничего ровно не знаю.

— Лжете,— ответила Тави с гневом и горечью,— лжете, вы лгать привыкли. Что делать вам здесь с целым отрядом? Я снова вас спрашиваю: зачем эта подлость?

— Довольно,— сказал чиновник,— попрощайтесь и идите беспрекословно вниз. Вас отвезут. Ну, господа,— он обратился к гостям,— вас всех я задержу несколько времени. Предстоит обыск. Пока он не окончится, никто отсюда не выйдет.

— Дайте же мне обнять их,— сказала Тави жандармам. Ее отпустили; она обняла друзей, привстав на носки, когда дошло дело до Муррея и Ральфа, и, целуя, вымазала слезами всех. Солдаты не отходили от нее ни на шаг; сй подали шляпу, шарф, теплый жакет. Тыча в его затерявшиеся рукава дрожащими руками, она наспех собралась, ответила восклицаниям воздушными поцелуями, помахала рукой, вышла в громе сабель и сапогов и, заметив, что чиновник обернулся на замедление с таким видом, словно хотел прикрикнуть, спокойно показала язык.

V

Стиснув зубы, глотая слезы и трепеща, как бы толкаемая убийственным ветром, Тави быстро пошла по галерее, среди тесно шагавших вокруг солдат. На дворе, внизу, двигались фонари, стучали копыта; из дверей соседних квартир выглядывали дети и женщины, уцепившись друг за друга, словно им тоже грозила беда. Со страхом и вопросом смотрели они на помутившееся лицо девушки. Тави из последних сил кивала или беспомощно улыбалась тем, кого знала. Когда шествие равнялось с такой выпускающей свет и голоса дверью, она резко прихлопывалась и из-за нее доносились глухие ругательства. Солдаты спешили; двое шли впереди, махая рукой убирать с дороги тем, кто шел случайно навстречу, и чело-

век мигом прижимался к стене; лишь Кванг, ставший неподвижно по самой середине прохода, с пыхающей в зубах трубкой, отошел так медленно, что жандарм угрожающе потянул саблю.

— Я ничего не думаю! — успел крикнуть Кванг девушке. — До свиданья с торжеством!

Тави блеснула ему глазами так выразительно, что он понял все ее смятение.

— Ну да, — донеслось ей вслед, — схватили как птицу и ничего более.

Еще эти темные, но горячие слова грели ее порывом теплого ветра, как все внезапно остановилось: на лестницу вбежал солдат, крича:

— Карета уехала! Там перебесились все лошади: дрожат и рвутся, кучер ничего не мог сделать. Рванул, и понесли!

Гул восклицаний покрыл эти слова; меж тем шествие сбилось в кучу и, когда выровнялось, уже прозвучали торопливые приказания. С глубоким наслаждением слушала Тави, как часть солдат, покинув ее, загремела по ступеням вниз — что-то улаживать и выяснять.

— Вот вам, — сказала она сквозь зубы. — Лошади-то умнее вас!

Оставшиеся с ней, подталкивая ее, свели девушку на озаренный окнами дома двор, где, повскакав в седла, с трудом удерживали чем-то напуганных лошадей; они ржали и били копытами, пятась или шараясь с фырканием, полным ужаса.

— Ну, что же делать? — сказал кто-то с досадой.

— Сажай девушку на седло, — крикнул другой. — Смотрите в оба и помните, что случай опасный!

— Оружие наготове!

— Стой: держи арестованную посередине!

— Чего он боится? — прозвучал осторожный шепот.

— Это никому неизвестно, тут сам черт не поймет ничего.

Тави подвели к лошади; к ней протянулась рука нагнувшегося в седле солдата; другой, сзади девушки, неожиданно и сильно приподнял ее. Она рванулась, ударив с отчаянием ногой в бок коня, отчего тот внезапно проскакал в ворота на улицу, откуда гулкий, раскалывающий треск подков по булыжнику дал понять всем, что всадник едва сдерживает готовое закусить удила живот-

ное; оно храпело и ржало. Тогда раздались крики бешенства кинувшихся кончать дело людей.

— Ну и черт эта девчонка,— сказал тот, кто держал Тави.

— Не хочу,— мрачно сказала она, борясь с увлекающим ее хаосом хватки и возни жестких рук, сопротивляться которым более почти не могла.

— Что за ночь! — раздалось над ее ухом.

— Давайте ближе фонарь! — кричали в стороне.

— Не могу справиться,— сказал жандарм в седле, с которым должна была ехать Тави.— Станьте по сторонам и придержите за узду этого дьявола.

Было темно, как человеку с завязанными глазами: ни звезд, ни луны; редкие фонари окраины мерцали издалика. Порывами налетал ветер. Казалось, в таком мраке навсегда забыт день и что пропало все, кроме стука и голов. Фонарь, поданный торопливой рукой, озарил Тави каски державших ее солдат и задранную уздой вверх лошадиную голову, с безумием в огромных глазах; из ее рта текла пена. Теперь все крики и голоса были в затылок девушке; наконец ее почти бросили на седло, где схваченная за талию неподатливой как обруч рукой, очутилась она сидящей с пылающим лицом, сожженным высохшими слезами.

— Скачи, Прост! — крикнули солдату, увозящему Тави.— Эй, расступись, все по седлам и догоняйте его; смотри в оба!

— Пусти лошадь,— сказал жандарм.

Державшие коня отбежали; солдат метнулся, ахнул и, прежде чем смолк в оцепеневшем слухе гром хлопнувшего как бы по лицу выстрела, разжал руки, валясь головой вниз, а Тави, потеряв равновесие, скользнула с седла; нога ее подвернулась, и, упав, она подумала, что убита. Лошадь, заржав, исчезла.

Взрыв криков, топот и лязг сабель рванулись со всех сторон. Встав, Тави прислонилась к стене, где тотчас ее схватили, трясая с иступлением и злобой, так как подумали, что выстрелила она.

— Обыщите, отнимите револьвер! — переговаривались перед ее лицом,— свяжите ее!

Оскорбленная грубым прикосновением, Тави ловко вывернула руку, ударив по лицу ближайшего: в то же время три выстрела, гулко толкнув тьму, с блеском, сек-

нувшим глаза как бы посреди самой свалки, перевернули все; качаясь, двое солдат отошли и повалились со стоном; остальные, вне себя, ринулись куда попало, хватая и отталкивая впопыхах друг друга.

— Нас убивают! Чего смотрите, надо оцепить дом и всю улицу! На лошадей! Где арестованная?!

Застыв, прижалась Таби к стене, с поднятой для защиты рукой; изнемогая от страха, стала она кричать, в то время как паника и грохот лошадиных копыт вместе с меловым мельканием сабель кружились кругом нее, подкашивая колени. Вдруг в самое ее ухо прозвучал быстрый шепот:

— Сдержитесь; в полном молчании повинуйтесь мне.

— А кто это? — таким же шепотом, задыхаясь, спросила девушка.

— Я — Крукс.

Она не успела опомниться, как вокруг ее спины обвилась резким и спокойным усилием твердо отрывающаяся от земли рука; в то же время шум свалки отдалился, как если бы на нее бросили большое сукно.

VI

Он поднял ее в руках, обвив ими легкое тело девушки так покойно, как будто ничто не угрожало ему, и неторопливо поправился, когда заметил, что ее плечо стиснуто его левой рукой. Но были уже притуплены ее чувства, и только глубокий вздох, вбирающий с болью новую силу изнемогшему сердцу, показал Друдру, как было тяжело и как стало теперь легко ей. Она была потрясена-тиха и бесконечно блаженно-слаба. Но чувство совершенной безопасности охватило уже ее ровным теплом; она как бы скрылась в сомкнувшейся за ней толще стены. Это впечатление поддерживалось решительной тишиной, в даях которой мелькали лишь подобные шуму платья или плеску глухой струи неровные и ничтожные звуки, отчего подумала она, что скрыта где-то поблизости дома, в месте случайном, но недоступном. По ее лицу скользил, холодя висок, ветер, что могло быть только на открытом пространстве

— Помогите же мне,— сказала она едва слышно,— все объясните мне и как можно скорее, мне плохо; рас судок покидает меня. Вы ли это? Где я теперь?

— Терпи и верь, — сказал Друд. — Еще не время для объяснения; пока лучше молчи. Я без угрозы говорю это. Тебе очень неловко?

— Нет, ничего. Но не надо больше меня держать. Я встану, пустите.

— И этому будет время. Там, где мы стоим, сыро. Я по колено в воде.

Тави инстинктивно поджала ноги. «Ты» Друда не тронуло ничего в ее прижавшейся к спасению и защите душе; он говорил «ты» с простотой владеющего положением человека, не придавая форме значения. Она умолкла, но нестихающий ветер загадкой лился в лицо, и девушка не могла ничего понять.

— Я не буду говорить, — виновато сказала Тави, — но можно мне спросить вас о б о д н о м только, в два слова?

— Ну говори, — кротко согласился Друд.

— Отчего так тихо? Почему ветер в этих стенах?

— Ветер дует в окно, — сказал, помолчав, Друд, — мы в старом складе; окно склада разрушено; он ниже земли; вода и ветер гуляют в нем.

— Мы не потонем?

— Нет.

— Я только два слова, и ничего больше, молчу.

— Я это вижу.

Она затихла, покачивая ногой, висевшей на сгибе Друдова локтя, с целью испытать его настроение, но Друд сурово подобрал ногу, сказав:

— Чем меньше ты будешь шевелиться, тем лучше. Жди и молчи.

— Молчу, молчу, — поспешно отозвалась девушка; странное явление опрокинуло все ее внимание на круг световой пыли, неподвижно стоящей прямо под ней фосфорическим туманным узором; по нему с медленностью мух бродили желтая и красная точки.

— Что светится? — невольно спросила она. — Как угольки рассыпаны там; объясните же мне, наконец, Крукс, дорогой мой, — вы спасли и добры, но зачем не сказать сразу?

Думая, что она заплачет, Друд осторожно погладил ее засвеженную ветром руку.

— В сыром погребе светится, гниет свод; гнилые балки полны микроскопических насекомых; под ними во-

да и поблескивающая светом в ней отражена гниль. Вот все,— сказал он,— скоро конец.

Она поверила, посмотрела вверх, но ничего не увидела; стоял ветреный мрак, скованный тишиной, междометия отражения в воде, о которых говорил Друд, меняясь и переходя из узора в узор, вычертились рассеянным полукругом. Ее томление, наконец, достигло предела; жажда уразуметь происходящее стала болью острого исступления,— еще немного, и она разразилась бы рыданиями и воплем безумным. Ее дрожь усилилась, дыхание было полно стога и тоски. Поняв это, Друд стиснул зубы, каменея от напряжения, увеличившего быстроту вдвое; наконец мог он сказать:

— Смотри. Видишь это окно?

Глотая слезы, Тави протерла глаза, смотря по некоторому уклону вниз, где, без перспективы, что придавало указанному Друдом явлению мнимодоступную руке близость, сиял во тьме узкий вертикальный четырехугольник, внутренность которого дымилась смутными очертаниями; всмотревшись, можно было признать четырехугольник окном; оно увеличивалось с той незаметной ощутительностью, какую дает пример часовой стрелки, если не отрывать от нее глаз. Момент этот, прильнув к магниту опрокинутого сознания, расположился, как железные опилки, неподвижным узором; страх исчез; веселое, бессмысленное «ура!», хватив через край, грянуло в уши Друда ликованием все озарившей догадки, и Тави заскакала в его руках подобно схваченному во время игры козленку.

— Ничего больше, как страннейший распричудливый сон,— сказала она, посмеиваясь; — ну-с, теперь мы с вами поговорим. Во сне не стыдно; никто не узнает, что делаешь и говоришь. Что хочу, то и выпало; жаль, что я вижу вас только во сне. А не проснуться ли мне? Но сон не страшен уже... Нам кое-что надо бы выяснить, уважаемый Монте-Кристо. Не смейте, не смейте прижимать крепко! Но держать можете. Во сне я не постесняюсь, велика важность. Знайте, что вы приятны моему сердцу. А я вам приятна? Где ваша машина с колокольчиками? Почему знали вы, что умер старик? Кто вы, скажите мне, таинственный человек? И как вы живете? Не скучно ли, не тяжело ли вам среди бездарных глупцов?

Говоря так, смеялась и трясла она его послушную руку, прижимаясь к его груди, где чувствовала себя уютно, размышляя в то же время о правах сновидения не без упрека себе, но в лени и усталости чрезвычайной.

— Краснею ли я? — думала она вслух.

— Так это твой сон? — спросил Друд так особенно, как звучат голоса во сне.

— Ну-да сон, — беззаботно твердила девушка, держа его руку и смотря на налетающее окно, — сон, — повторила она, подняв голову, чтобы рассмотреть кирпичную кладку. Окно охватило их и перебросилось взад.

— Сон, — растирая глаза, сказала, топнув ногой, Тави — Друд уже опустил ее. Отекшие ноги заставили ее опереться на стол, и от движения, звякнув, жестяная кружка перекатилась по плите пола. Стеббс, молча, поднял ее, светясь и улыбаясь всем своим существом.

Она вздрогнула, выпрямилась и перевела взгляд со Стеббса на Друда; отступила, волнуясь, взяла кружку и бросила вновь, прислушиваясь, как звякнула жесть. Неразложимый на призраки голос предмета открыл истину.

— Это не сон, — медленно выговорила, садясь и складывая руки, девушка; сверкнуло все и раздалось в ней чудным ударом.

Друд посмотрел на Стеббса, сказав рукой, что надо уйти. Тави, сжав руки, переступила шага два ближе, так что Друд был с ней теперь рядом.

— Посмотрите на меня долго!

Он посмотрел с тем выражением, желание какого угадал в ней, — покорно и просто.

— Теперь не смотрите на меня.

— Бог с тобой, я не смотрю, — взволнованно проговорил Друд, — сядь и овладей сердцем своим. В себе ты найдешь все.

— Не трогайте, не разговаривайте меня, — чуть слышно сказала Тави. — Иначе что-то спутается...

Но не по силам было ей происшедшее во всем размахе его. Она встрепенулась.

— Очень много всего, — сказала Тави, взглядывая на Друда с бледным и тяжелым лицом.

Факты были сильнее ее, и она не могла одолеть их ни рассуждением, ни волнением; так резко жизнь бросила ее на другой берег, с которого прежний виден только в тумане, а этот поразителен, но молчит.

— Еще болят руки, так стиснул меня солдат. Спрашивается — за что?

— За тобой следили, думая, что узнают, где найти Друда. Мы перекинулись словами, когда мои колокольчики были еще потехой, когда ты славным сердцем своим встала на защиту осмеянного. Поэтому за тобой шел, а потом ехал приличный человек с умным лицом. Меня зовут Друд — ты слышала обо мне?

С ее лица не сходила задумчивость и покорность, а взгляд, блуждая с тихой рассеянностью, был полон тени, — он не играл, не блестел. Ее впечатления оставались, застилая сознание огромным слепым пятном, и Друд понимал это, но не тревожился.

— Нет, не слышала, — сказала, по-прежнему безучастно, девушка, — а вы кто?

— Я человек такой же, как ты. Я хочу, чтобы тебе было покойно.

— Мне покойно. Мне хорошо с вами. Здесь так хорошо сидеть. А это — что? — Тави слабо повела рукой. — Ведь это — старинный замок?

— Это маяк, Тави; но он, а также все приюты мои, — их много, — для тебя замки и будут замками. Все это для тебя и тебе.

Она подумала, потом улыбнулась.

— Вот как! Но что же... что же... чем же я отличалась?

— Наверное, тем, что ты сама не знаешь этого. Но я шел, а ты остановила меня. Правда, немного прошло времени, однако пора мне заботиться о тебе и с открытым сердцем слушать тебя. Мы, одинокие среди множества нам подобных, живем по другим законам. Час, год, пять или десять лет — не все ли равно? Ошибался и я, но научился не ошибаться. Я тебя зову, девушка, сердце родное мне, идти со мной в мир недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?

— Я все скажу... Я скажу все; но я сейчас не могу. — Она дышала слабо и тихо; ее взгляд был странно покоен; временами она шептала про себя или покачивала головой. — Я ведь нетребовательна; мне все равно; мне только чтобы не было горести.

— Тави,—сказал Друд так громко, что кровь вернулась к ее лицу,— Тави, очнись!

Она посмотрела на свои руки, провела пальцами по глазам.

— Разве я сплю?! Но верно,— все в тумане кругом.— Что это? Что со мной? Очните меня!

Он положил руку на ее голову, потом погладил, как разволновавшегося ребенка.

— Сейчас ты станешь сама собой, Тави; туман рассеется и все будет ни чудесным, ни странным; все просто, когда двое думают об одном. Смотри,— стол; на нем хлеб, яичница, кофейник и чашки; в помещении этом живет смотритель маяка, Стеббс; плохой поэт, но хороший друг. Он, правда, друг мне, и я это ценю. Здесь родился и твой образ — год назад, ночью, когда играли мы на стеклянной арфе из пузырьков; а потом я уже видел тебя всегда, пока не нашел. Вот и все; такое же, как и у других, и люди такие же. Только одному из них — мне — суждено было не знать ни расстояний, ни высоты; во всем остальном значительно уступаю я Стеббсу; он и сильнее, и проворнее, а также отлично ныряет, чему я не могу научиться, а потому иногда завидую. Хочешь, я позову Стеббса?

— Хочу.— Она взглянула снизу на стоящего перед ней Друда, потом схватила его руку своими обеими руками и, зажмурясь, крепко потрясла ее, натужив лицо; открыла глаза и рассмеялась смехом полным тихого удовольствия.— Вы еще мне много покажете?

— Довольно, чтобы тебе не было никогда скучно. Стеббс!

Он стал звать, открыв дверь.

— Иду, иду! — сказал Стеббс с лестницы, где стоял, ожидая зова. Он был причесан, был вымыт, и, хотя дело происходило ночью, его брюки были отчищены бензином и мылом.

— Как хорошо! — сказал он.— Какая отличная ночь! Не хочется оторвать глаз от звездных миров, и я рассматривал их... Что вы сказали?

— Стеббс,— перебил его Друд,— сядь; второй раз мы прощаемся с тобой так внезапно. Но со мной жизнь, которую я искал, и ей нужен глубокий отдых. Есть также сведения о маяке у тех, кого мы не любим. Поэтому

я не задержусь, только поем. Но ты будешь извещен скоро и явишься навсегда.

— Спасибо, Гора,— сказал Стеббс.— Как зовут нового друга?

Друд засмеялся:

— «Великий маленький друг»,— зовут его,— «Тави» зовут ее, «Быстрый ручей», «Пленительный звон» ..

— Да, нас четырнадцать,— прибавила Тави,— но не все пересчитаны. Остальных, впрочем, вы знаете... А это правда, я — друг вам, друг, но только ведь навсегда?!

— Он знает это. Он — Гора,— сказал Стеббс, наполняя тарелку девушки. Но она не могла есть, лишь выпила, торопясь, кофе и снова стала смотреть поочередно на Друда и Стеббса, в то время как Стеббс спрашивал, куда отправится теперь Друд. Его мучило любопытство. Девушка была не совсем в его вкусе, но Друд принес и берег ее, поэтому Стеббс рассматривал Тави с недоумением почтальона, вскрывшего шифрованное письмо. Но ему было суждено привыкнуть и привязаться к ней очень скоро,— гораздо скорее, чем думал в эту минуту он, мысленно сопоставлявший всегда с Друдом Венеру Тангейзера, какой изображена она на полотне, меньше — Диану, еще меньше — Психею; его психологическое разочарование было все же приятным.

Любопытный как коза, Стеббс остерегся однако спрашивать о событиях, зная вперед, что не получит ответа, так как никогда Друд не торопился открывать душу тем, кто не теперь тронул ее. Но он сказал все же немного:

— Ты будешь думать, что я ее спас, как узнаешь впоследствии, что было; нет,— она спасение носила в груди своей. Мы шли по одной дороге, я догнал, и она обернулась, и так пойдем вместе теперь.

Затем он встал, принес большое одеяло и подошел к девушке, говоря:

— Не будем медлить, здесь не место засиживаться, воспользуемся темнотой и этим отдыхом, чтобы продолжать путь. Утром не будет уже загадок тебе, я скажу все, но дома. Да, у меня есть дом, Тави, и не один; есть также много друзей, на которых я могу положиться, как на себя. Не бойся ничего. Время принесет нам и простоту, и легкость, и один взгляд на все, и много хо-

роших дней. Тогда эту резкую ночь мы вспомним, как утешение.

Красная, как пион, с отважными слезами в глазах, Тави скрестила руки, и Друд плотно укутал ее, обвязав, чтобы не свалилось одеяло, вязаным шарфом Стеббса. Теперь имела она забавный вид и чувствовала это, слегка шевеля руками, чтобы ощутить взрослость.

— Все гудит внутри,— призналась она,— о-о! сердце стучит, руки холодные. Каково это — быть птицей?! А?

Все трое враз начали хохотать до боли в боках, до спазм, так что нельзя было ничего сказать, а можно только трясти руками. Тут, более от страха, чем от естественной живости, на Тави напало озорство, и она стала покачиваться, приговаривая:

— Сезам, Сезам, отворись! Избушка на курьих ножках, стань к лесу задом, а ко мне передом! — С нежностью и тревогой посмотрел на нее Друд. — О, не сердитесь, милый! — пламенно вскричала она, пытаясь протянуть руки, — не сердитесь, поймите меня!

— Как же сердиться,— сказал Друд, — когда стало светло? Нет. — Он застегнул пояс, накрыл голову и махнул рукой Стеббсу. — Я тороплюсь. Сколько раз прощался уже я с тобой, но все-таки мы встречаемся и будем встречаться. Не грусти.

Он подошел к Тави; невольно отступила она, обмерла и очнулась, когда Друд легко поднял ее. Но уже двинулось кругом все, подобно обвалу; замораживая и щекоча, от самых ног поднялся к сердцу лед, пространство раздалось, гул сказки покрыл ропот далекой, внизу, воды, и ветер застрял в ушах.

— Тави? — вопросительно сказал Друд, чувствуя, что он вновь равен для нее летящей стремглав ночи, что он — Гора.

— Ау! — слабо выскочило из одеяла. Но тотчас с восторгом освободила и подняла она голову, крича, как глухому: — Что это светится там, внизу? Это гнилые балки, дерево гниет, светится, вот это что! И пусть никто не поверит, что можно жить так, пусть даже и не знает никто! Теперь не отделить меня от вас, как носик от чайника. Это так в песне поется... Она оборвала, но сквозь зубы взволнованно и сердито окончила: — «Ты мне муж будешь, а я буду твоя жена», — а перед тем

так: «Если меня не забудешь, как волну забывает волна... та-та-та-та-та-та-та будешь и... та-та-та, та-та-та... жена».

Она уже плакала, так печально показалось ей вдруг, что «волну забывает волна». Затем стал говорить Друд и сказал все, что нужно для глубокой души.

Как все звуки земли имеют отражение здесь, так все, прозвучавшее на высоте, таинственно раздается внизу. В тот час,— в те минуты, когда два сердца терпеливо учились биться согласно, седой мэтр изящной словесности, сидя за роскошным своим столом в сутане а-ля-Бальзак и бархатной черной шапочке, среди описания великосветского раута, занявшего четыре дня и выходящего довольно удачно, почувствовал вдруг прилив томительных и глухих строк мелькающего стихотворения. Бессильный отстранить это, он стал писать на полях что-то несвязное. И оно очертилось так:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна,
Ты мне мужем приветливым будешь,
А я буду твоя жена.

Он прочел, вспомнил, что жизнь прошла, и удивился варварской версификации четверостишия, выведенной рукой, полной до самых ногтей почтения, с каким пожимали ее.

Не блеск ли ручья, бросающего веселые свои воды в дикую красоту потока, видим мы среди водоворотов его, рассекающего зеленую страну навеки запечатленным путем? Исчез и не исчез тот ручей, но, зачерпнув воду потока, не пьем ли с ней и воду ручья? Равно — есть смех, похожий на наш, и есть печали, тронувшие бы и нашу душу. В одном движении гаснет форма и порода явлений. Ветер струит дым, флюгер и флаг рвутся, вымпел трепещет, летит пыль; бумажки, сор, высокие облака, осенние листья, шляпа прохожего, газ и кисея шарфа, лепестки яблонь,— все стремится, отрывается, мчит-ся и — в этот момент — одно. Глухой музыкой тревожит оно остановившуюся среди пути душу и манит. Но тяжелей камня душа; завистливо и бессильно рассматривает она ожившую вихрем даль, зевает и закрывает глаза.

В течение пяти месяцев шесть замкнутых, молчаливых людей делали одно дело, связанные общим планом и общей целью; этими людьми двигал руководитель, встречаясь и разговаривая с ними только в тех случаях, когда это было совершенно необходимо. Они получали и расходовали большие суммы, мелькая по всем путям сообщения с неутомимостью и настойчивостью, способными организовать великое переселение или вызвать войну. Если у них не хватало денег или встречались препятствия, рассекаемые, единственно, золотым громадным мечом,—треск телеграмм перебегал по стране, вручая замкнутый трепет своей белой руке, открывавшей нетерпеливым женским движением матовые стекла банковых кабин, где причисанный человек нумеровал, подписывал и методично оканчивал дело превращения еще не высохшей подписи в цветные брикеты ассигнаций или золотых свертков, оттягивающих руку к земле.

Вначале маршруты шестерых, посвятивших, казалось, всю жизнь свою тому делу, для которого их призвал руководитель, охватывали огромные пространства. Их пути часто пересекались. Иногда они виделись и говорили о своем, получая новые указания, после чего устремлялись в места, имеющие какое-либо отношение к их задаче, или возвращались на старый след, устанавливая новую точку зрения, делающую путь заманчивее, задачу — отчетливее, приемы — просторнее. Они были все связаны и в то же время каждый был одинок.

Постепенно их путешествия утрачивали грандиозный размах, сосредоточиваясь вокруг нескольких линий, отмеченных на своеобразной карте, в которой мы не поняли бы ничего, сложными знаками. От периферии они стягивались, кружась, к некоему центру или, вернее, к территории с неустойчивыми границами, в пределах которых цель чувствовалась более отчетливо, более вероятно, хотя и определяясь немногими шансами простона случайности, но все же возбуждая решительные надежды.

Уже мерещилась некая глухая развязка. Уже факты, несколько раз проверенные, повторялись блестящей, беглой чертой, подобной отдаленной вспышке беззвучного выстрела; уже прямой след кинулся под ноги, мимо

венно сцепив все тщательные соображения в одно последнее действие... действие развернулось, руки, схватив пустоту, дрогнули, немея в изнеможении, и обратный удар вдребезги разнес таинственные тенета. Затем наступил день, в свете которого ошеломляюще ясно стало на свои места все, видимое обыкновенными глазами обыкновенных людей,— как не было ничего.

Мы возвращаемся к Руне Бегуэм, душа которой подошла к мрачной черте. Ее голос стал сух, взгляд неподвижно спокосен, движения устали и резки. Но ни разу за все время, что искала смерти пламенному сердцу невинного и бесстрашного человека, она не назвала вещи их настоящими именами и не подумала о них в ужасной тоске. Она гибла и защищалась с холодным отчаянием, найдя опору в уверенности, что смерть Друда освободит и успокоит ее. Эта уверенность, подобная наитию или порыву, вызванному нестерпимой мукой, но длящемуся бесконечно, создала цель, доверенную руководителю, и только с ним говорила она об этом, но всегда с просьбой как можно менее беспокоить ее.

Нет дела и цели, какие рано или поздно не овладели бы всей мыслью и всей душой какого-нибудь одного человека, дотоле, быть может, живущего без особых планов, но с предчувствием и настроением своей роли. Его надо было извлечь из ровной травы голов, узнать и отметить среди множества подобных ему лицом, среди двойников с обманчивым впечатлением оригинала. Казалось, ничто подобное не совместимо с силами и опытом девушки, отъезд и приезд которой отмечался светской газетной хроникой в повышенном тоне. Действительно, она не могла совершить это при всем сознании особенностей задачи и ясном отчете самой себе, что надо было бы сделать; предстоял публичный вызов или пересмотр населения нескольких городов с испытаниями, занявшими бы не один год.

Нужный человек пришел сам, как будто бы ловил минуту изнеможения, чтобы постучать, войти и заговорить. Был слышен по пустынной ночной улице стук колес, звучавший все громче, и Руна, отогнав сон,— вернее, мертвую неподвижность мысли, с какой пыталась забыться на жегшей щеку подушке,— прислушивалась к шуму невидимого экипажа.

— Кто едет ночью? куда? — спрашивала она, не-

волью замечая, что прислушивается с странным ожиданием, что кровь дико стучит; казалось, к ней именно направлен был этот одинокий стук ночи. Все громче звучал он. отчетливее и поспешнее становилась его трескучая трель; кто-то спешил, и Руна приподнялась, вслушиваясь, не загремят ли снова колеса. Но шум стих против ее дома; другой шум, возникающий лениво и смутно, коснулся напряженного слуха; тихий как пение комара, далекий звонок, еще звонок, — ближе, стук отдаленной двери, шорох и замирание смутных шагов. Не выдержав, она позвонила сама, с облегчением чувствуя, как это самостоятельное действие выводит ее из оцепенения

Тихо постучав, вошла горничная.

— К вам приехали, — сказала она, — и мы не могли ничего сделать. Карета с гербами: из нее вышел человек, настойчиво приказавший передать вам письмо. «Едва его прочтут, — сказал он, — как вы получите приказание немедленно провести меня к госпоже вашей». Мы посоветовались. Видя, что не решаются беспокоить вас, он роздал нам, смеясь, по несколько золотых монет. Нам стало ясно, что такое, по-видимому, важное лицо не решится беспокоить вас по-пустому. «Рискнем!» — подумали мы...

— Как! — невольно возмущась, сказала Руна. — Лишь несколько золотых монет... Я посмотрю это письмо. Горе вам, если оно недостаточно серьезно для такого неслыханно дерзкого посещения.

Она разорвала конверт, мрачно смотря на горничную, успевшую, запинаясь, пролепетать:

— Никто не знает, почему мы пустили его. В нем что-то есть, будто он знает, что делает. Он так спокоен.

Руна уже не слышала ее. Устремив взгляд на атласный листок, она видела и переживала слово — одно слово: «Друд»; сама фраза могла показаться бессмыслицей всякой иной душе. Она прочла: «По следам Друда» — более ничего не было в той записке, но этого оказалось довольно.

— Подайте одеться, — быстро сказала девушка, мгновенно сжав письмо, как сжимают платок, — ведите этого человека в мраморную гостиную.

Тогда, среди ночи, вспыхнули обращения к саду окны. Ярко озарил свет статуи и ковры; неестественным

оживлением веяло от этого часа ночной тревоги, замкнутой в беззвучное колесо тайны. Болезненно владея собой, вошла Руна с холодным и неподвижным лицом, увидев там человека, обратившего к ней полуприкрытый взгляд узких тяжелых глаз. Эти глаза выражали острую, почти маниакальную внимательность, равную неприятно резкому звуку; вокруг скул темного лица вились седые, падающие локонами на грудь волосы, оживляя восемнадцатое столетие. Кривая линия бритого рта окрашивала все лицо мрачным светом, напоминающим улыбку Джоконды. Такое лицо могло бы заставить вздрогнуть, если, напевая, беззаботно обернуться к нему. Он был в черном сюртуке и шляпу держал в руках.

Руна вошла с вопросом, но лишь взглянула на посетителя, как понятно стало ей, что не нужен вопрос. Это было как бы продолжением только что примолкшего разговора.

— Я не назову себя,— сказал неизвестный,— а также не объясню вам, почему только теперь, но не позже, не раньше, вхожу сюда. Но вы ждали меня, и я пришел.

Дрожа, знаком пригласила она его сесть и, стиснув руки, села сама, по праву ожидая неслыханного. Без жестов и улыбки продолжал свою речь гость; он сложил на остром колене желтые руки, став более неподвижен, чем мраморные Леандр и Геро сзади него со скорбью и смертью своей. Он сказал:

— Я знаю как вы живете, знаю, что ваша жизнь полна вечного страха, что ваша молодость гаснет. И я также знаю, что думая в одном направлении, всегда думая об одном и том же, без тени надежды победить этот след молнии, опалившей вас среди вашего прекрасного голубого дня, вы пришли к спокойному и задумчивому решению.

Этими словами ее состояние было схвачено и показано ей самой.

— Ваше имя,— сказала она, отшатываясь, и так хрипло, что было близко к вскрику.— Первый раз я вас вижу. Который раз видите вы меня? Разве я говорила с вами? Где? Скажите, кто предал меня? Да, я уже не живу; я грежу и погибаю.

— Кто бы я ни был,— сказал неизвестный, изменив своей неподвижности и слегка покачиваясь с глубокой и зловещей рассеянностью,— я, как и вы,— враг ему,

следовательно, — друг ваш. Отныне, если наш разговор соединит нас, вы будете звать меня просто — «Руководитель». Друд более жить не должен. Его существование нестерпимо. Он вмешивается в законы природы, и сам он — прямое отрицание их. В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в чью-либо сторону, создадут катастрофы. Может быть я один знаю его тайну; сам он никогда не откроет ее. Вы встретили его в момент забавы — сверкающего вызова всем, кто, встречая его в толпе, далек от иных мыслей, кроме той, что видит обыкновенного человека. Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он, — одно, другое, третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши. Он бродит по мастерским молодых пьяниц, внушая им или обольщая их пейзажами неведомых нам планет, насвистывает поэтам оратории и симфонии, тогда как жизнь вопит о неудобоваримейшей простоте; поддакивает изобретателям, тревожит сны и вмешивается в судьбу. Неподвижную, раз навсегда данную как отчетливая картина, жизнь, волнуется он, и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их. Этот человек должен исчезнуть.

Где слабый ненавидит — сильный уничтожает. Воля и золото говорят теперь между собой. Совершите траты необходимые, быть может, безумные; но помните, что нет спасения без борьбы; не вы нанесете этот удар. Начнем издалека, уверенно сжимая кольцом. По свету бродят цыгане, и они знают многое, что никому не доступно, кроме их грязных кочевий. Они жадны и скрытны. Однако под рукой у меня есть несколько людей особой породы, углубленных, как и я, в рассматривание дымных фигур жизни, в мелькающий и едва слышный трепет ее. Мы сходим по золотой тропе к этим оборванным, волосатым кочевникам, где, под полами цветных шатров, та-

ятся хитрая красота и сведения самого различного свойства, по тем линиям, на какие нам надо ступить. Но не будем пренебрегать также помощью официальной, лишь с осторожностью и выбором чрезвычайными, если не хотим, чтобы поиски наши стали достоянием всех. В этом случае наши карты будут смешаны и поражены тем противоречием, в какое станем мы с задачей своей к прочей действительности.

Чем более слушала его Руна, тем яснее возникала ее надежда; и уже не хотелось ей ни о чем спрашивать, но лишь, единственно, действовать. Глухая пелена укрыла ее душу; без жестокости, без ясного отчета себе, на что решается, блаженно смеясь, сказала она:

— Будьте Руководителем. Я ничего не пожалею на это, ни о чем не вздохну, но буду ждать терпеливо и дам все, что нужно.

Она вышла и принесла все деньги, какие были у нее в этот момент, также принесла чек на крупную сумму.

— Довольно ли этого?

— Пока довольно,— сказал гость,— теперь я могу отлично провести время. А что, безумная девушка, скажете вы, если одно из самых замечательных мошенничеств разыгралось только что на ваших глазах?

Но она улыбнулась,— так слабо, как слабо подействовала на нее шутка.

— Вы правы,— сказал посетитель, вставая и отвешивая глубокий поклон.— Когда придет время, я извещу вас обо всем важном. Спокойной ночи.

Он сказал это с резкой улыбкой, пристально посмотрев на нее.

Выразилась ли в жестких словах этих ее собственная жажда отлетевшего в бред и ужас покоя, или было задето что-нибудь еще, более значительное,— но мгновенной болью исказилось лицо девушки. Вздвогнув, выпрямилась и овладела она собой.

— Идите,— сказала она, быстро и тяжело дыша,— вас зовет пославшая сюда ночь. Идите и убейте его.

— Я выйду и стану на его след; и буду идти по следу, не отрываясь,— сказал Руководитель.— Я спешу, уйду.

Он вышел; его карета отъехала; быстро отлетающий стук колес, прогремев у подъезда, стал вскоре смутным

жужжанием. Прислушиваясь к нему, Руна говорила с собой, сжимая руку, смеялась и плакала.

С той ночи стало медленнее идти время. Ее тревога росла; неподвижное упорство человека, вынужденного ожидать пассивно и может быть в те часы, когда ломаются самые острые углы тайного действия, скользящего по земле, росло в ней костенеющей массой, мрачно сжимающая губы всякий раз, когда ясно представляла она конец. По-прежнему мелькали среди ее дней улыбка или лицо Друда, данного как бы навсегда в спутники, но уже не так потрясая, не так сбрасывая могучим толчком, как то было недавно. Теперь смутно мерещилось ей рядом с ним другое лицо, но с неуловимыми и тонкими очертаниями, едва выраженным намеком беспокойного света; то пропадало, то появлялось это лицо, и она не могла отчетливо уловить его. Меж тем ее пораженная мысль двигалась по кругу, стиснувшему в себе чувство безотчетной утраты и тупой страх душевной болезни. Это состояние, усиливаясь, ослабевая и вновь усиливаясь, достигло наконец мрачных пустынь, в свинцовом свете которых гнется и кричит жизнь.

На второй день после того как Друд, смеясь, перешел границу, раскинутую страшной охотой, Руководитель посетил Руну в последний раз. Как приговор, выслушала она его слова, не поднимая взгляда, лишь тихо перебирая рукой кисть веера; бледней жемчуга было ее лицо. Казалось, сама ненависть, принявшая жуткий человеческий облик, сидит с ней. Его слова шипели и жгли, и он с трудом, сквозь разорванное злобой дыхание, быстро, как выстрелы, бросал их:

— Не было ни одного момента в связи всех действий и слов наших, не проверенного с точностью астрономического хронометра. Друзья были приведены к молчанию; предатели выслежены и убиты; все негодное, бездарное в этом деле было обречено ничтожеству и бездействию. Мы предусмотрели случайности, высчитали миллионные части шансов,— больше чем исчисляет сама природа, производя живое существо, сделали мы, но лучший момент упущен. Как, где, кем допущена ошибка? Еще не ясно это, но что в том? Какую черту, какой оттенок мысли кого-либо из связанных с нами людей

упустили мы или придали ей неточное значение? А! Я опять спрашиваю этот пустой воздух, когда он уже пуст и невинен! когда можно смотреть вверх только на птиц! когда струсившее, или слабое, или сманенное им сердце, покойно улыбаясь, ложится спать, тихо вздохнув!

Он умолк, и Руна подняла глаза. Но более испугалась она теперь, чем когда-либо в худшие минуты своего бреда. Само бешенство с дергающимся синим лицом сгибалось перед ней, и залитые мраком глаза неистово ссекали острым блеском своим вздрогнувший взгляд девушки.

— Мне нехорошо, — сказала она, — идите; все кончено. И все кончено между нами.

Вдруг слабым стал его голос; плечи поникли, взгляд потух, руки, растерянно и беспомощно дрожа, как будто искали опоры. Он встал, осунувшись; вяло и тускло осмотревшись, скорбно повел он бровью и направился к выходу.

— Я только старик, — услышала девушка, — силы оставляют меня, слабеет зрение, — и жизнь, данная на один порыв, восстанет ли опять стальным блеском своим? Я сломан: борьба вничью.

Он удалился, шепча и покачивая головой в свете огромных дверей, делающих его старинную фигуру легкой, как марионетка; забыв о нем, Руна сошла вниз. Ее вело желание двигаться, в то время как смерть была уже решена уснувшей ее душой. Но Руна не знала этого.

Она оделась и вышла, рассеянно кивнув слуге на вопрос, которого и не поняла и не слышала. У нее не было цели, но двигаться среди вечерней толпы манило ее холодным отдыхом шумного и пестрого одиночества. Обычно сияли окна; дрожащие лучи моторов, обгоняя лошадей и людей, то ослепляли спереди прямо в глаза, то брызгали из-за спины, двигаясь и исчезая среди пересекающих теней. Густая толпа двигалась ей навстречу, раскалываясь перед этим бледным и прекрасным лицом с точностью водораздела, обливающего скалу; небрежно и тихо шла девушка, не замечая ничего, кроме золотых цепей вечерней иллюминации, рассеивающей под небом прозрачный голубой газ. Временами ее внимание отмечало что-нибудь, немедленно принимающее гигантские размеры, как если бы это явление подавляло все остальное: газету величиной в дом, женское или мужское лицо

с страниц «Пищи богов», ширину улицы, казавшейся озаренной пропастью, щель или плиту тротуара, делавшиеся немедленно центром, вокруг которого гремел город.

Постепенно толпа становилась гуще и шире, в ней замечался некоторый беспорядок, разраставшийся в легкую давку. Слышались вопросы и возгласы. Сколько могла, Руна продвигалась вперед, пока не была вынуждена остановиться. Под ее рукой шмыгали дети; ряды спин, сомкнутых перед ней, скрывали сцену или событие, вокруг которого установилось цепляющееся за любопытство молчание; если кто на мгновение оборачивался из переднего ряда, в его лице светилось сдержанное волнение.

С сознанием, что происходящее или происшедшее там каким-то особым образом относится к ней, хотя никак не могла бы сказать, почему это, а не другое чувство вызвано было уличным внезапным затором, Руна громко и спокойно произнесла:

— Пропустите меня.

Этот тон, выработанный столетиями, действовал всегда одинаково. Часть людей отскочила, часть, изогнувшись, вытолкнута была раздавшейся массой, и девушка вошла в круг.

Она не замечала теперь, что привлекла больше внимания, чем человек, лежавший ничком в позе прильнувшего к тротуару, как бы слушая подземные голоса. У самых ее ног блестел расползающийся кровавой развод, с терпким, сырым запахом. Лежащий был прекрасно одет, его темные волосы мокли в крови и на ней же лежали полусогнутые пальцы левой руки.

Безмолвно, глубоко и тяжело вздыхая, смотрела Руна на этого человека, уступая одну мысль другой, пока, молниями смещая друг друга, не разразились они полной и веселой отрадой. В этот момент девушка была совершенно безумна, но видела, для себя, с истиной, не подлежащей сомнению, — того, кто так часто, так больно, не ведая о том сам, вставал перед ее стиснутым сердцем. Вдруг смолкли и отступили все, едва заговорила она.

— Вы говорите, — тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора, — что этот человек — самоубийца? Что он бросился из окна? О нет! Вот он — враг мой. Земля сильнее его; он мертв, мертв, да; и я вновь буду жить, как жила.

Улыбаясь, осмотрела она всех, кто, внимательно шепча что-то соседу, сам пристально смотрел на нее и, встав на колени, прижала к губам теплую, тяжелую руку умершего. Со стуком упала рука, когда девушка поднялась.

— Прости,— сказала она.— Все прости. В том мире, где теперь ты, нет ненависти, нет страстей; ты мертв, и я отдохну.

Она откинулась, обмерла и, потеряв сознание, стала биться в руках тех, кто, подскочив, успел ее удержать. Обычная в таких случаях суматоха окончилась появлением врача и вызовом собственного экипажа Руны,— так как некоторые из толпы узнали ее.

Вот все, что надо, что можно, что следовало сказать об этой крупной душе, легшей ничком. Но еще несколько слов, может быть, совершенно удовлетворят пытливого читателя, думающего дальше, чем автор, и в одной истории отыскивающего другую, пока не будут исчерпаны все жизни, все любви, все встречи и случаи, пока кроткие могильные холмы, пестреющие зеленью и цветами, не прикроют жизни и дела всех героев, всех людей этого скромного повествования о битвах и делах душевных. Так, следуя за выздоровевшей, но совершенно забывшей все девушкой, отметим мы и ее брак с Квинсеем, твердой рукой протянувшим ей новые, не менее чудесные цветы жизни, и возвращение жизнерадостности,— и все, чем дышит и живет человек, когда судьба благоприятна ему. Только иногда, обращая взгляд к небу, где вольные черты птиц от горизонта до горизонта ведут свой невидимый голубой путь, Руна Квинсей пыталась припомнить нечто, задумчиво сдвигая тонкие брови свои; но момент гас, и лишь его тень, светлым эхом возвращаясь издали, шептала слова,— подслушанные ли где, или возникшие чужой волей? — быть может, слышанные еще в детстве:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна...

14 ноября 1921 г.
28-го марта 23 г.

ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

И там как раз, где смысл искать напрасно
Там слово может горю пособить.

(Фауст)

I

ПОЕЗДКА

Путешественник Аммон Кут после нескольких лет отсутствия возвратился на родину. Он остановился у старого своего друга, директора акционерного общества Тонара, человека с сомнительным прошлым, но помещанного на благопристойности и порядочности. В первый же день приезда Аммон поссорился с Тонаром из-за газетной передовицы, обозвал друга «креатурой» министра и вышел на улицу для прогулки.

Аммон Кут принадлежал к числу людей серьезных, более чем кажутся они на первый взгляд. Его путешествия, не отмеченные газетами и не внесшие ни в одну карту малейших изменений материков, были для него тем не менее совершенно необходимы. «Жить — значит путешествовать», — говорил он субъектам, привязанным к жизни с ее одного, самого теплого и потного, как горячий пирог, бока. Глаза Аммона — две вечно алчные пропасти — обшаривали небо и землю в поисках за новой добычей; стремительно проваливалось в них все виденное им и на дне памяти, в страшной тесноте, укладывалось раз навсегда, для себя. В противоположность туристу Аммон видел еще многое, кроме музеев и церквей, где, притворяясь знатоками, обозреватели

ищут в плохо намалеванных картинах неземной красоты.

Любопытства ради Аммон Кут зашел в вегетарианскую столовую. В больших комнатах, где пахло лаком, краской, свежепросохшими обоями и еще каким-то особым трезвенным запахом, сидело человек сто. Аммон заметил отсутствие стариков. Чрезвычайная, несвойственная даже понятию о еде, тишина внушала аппетиту входящего быть молитвенно нежным, вкрадчивым, как самая идея травоядения. Постные, хотя румяные лица помешанных на здоровье людей безразлично осматривали Аммона. Он сел. Обед, поданный ему с церемониальной, несколько подчеркнутой торжественностью, состоял из отвратительной каши «Геркулес», жареного картофеля, огурцов и безвкусной капусты. Побродив вилкой среди этого гастрономического убожества, Аммон съел кусок хлеба, огурец и выпил стакан воды; затем, щелкнув портсигаром, вспомнил о запрещении курить и невесело осмотрелся. За столиками в гробовом молчании чинно и деликатно двигались жующие рты. Дух противодействия поднялся в голодном Аммоне. Он хорошо знал, что мог бы и не заходить сюда — его никто не просил об этом, — но он с трудом отказывал себе в случайных капризах. Вполголоса, однако же достаточно явственно, чтобы его слышали, Аммон сказал как бы про себя, смотря на тарелку:

— Дрянь. Хорошо бы теперь поесть мяса!

При слове «мясо» многие вздрогнули; некоторые уронили вилки; все, насторожившись, рассматривали дерзкого посетителя.

— Мяса бы! — повторил, вздыхая, Аммон.

Раздался подчеркнутый кашель, и кто-то шумно задышал в углу.

Скучая, Аммон вышел в переднюю. Слуга подал пальто.

— Я пришлю вам индейку, — сказал Аммон, — кушайте на здоровье.

— Ах, господин! — возразил, печально качая головой, истощенный старик-слуга. — Если бы вы привыкли к нашему режиму...

Аммон, не слушая его, вышел. «Вот и испорчен день, — думал он, шагая по теневой стороне улицы. —

Огурец душит меня». Ему захотелось вернуться домой; он так и сделал. Тонар сидел в гостиной перед открытым роялем, кончив играть свои любимые бравурные вещи, но был еще полон их резким одушевлением. Тонар любил все определенное, безусловное, яркое: например, деньги и молоко.

— Согласись, что статья глупа! — сказал, входя, Аммон. — Для твоего министра я предложил бы и свое колено... но — инспектор полиции дельный парень.

— Мы, — возразил, не поворачиваясь, Тонар, — мы, люди коммерческие, смотрим иначе. Для таких бездельников, как ты, развращенных путешествиями и романтизмом, приятен всякий играющий в Гарун-аль-Рашида. Я знаю — вместо того, чтобы толково преследовать аферистов, гадающих нам на бирже, гораздо легче, надев фальшивую бороду, шляться по притонам, пьянствуя с жуликами.

— Что же... он интересный человек, — сказал Аммон, — я его ценю только за это. Надо ценить истинно интересных людей. Многих я знаю. Один, бывший гермафродитом, вышел замуж; а затем, после развода, женился сам. Второй, ранее священник, изобрел машинку для пения басом, разбогател, загрыз на пари зубами цирковую змею, держал в Каире гарем, а теперь торгует сыром. Третий замечателен как феномен. Он обладал поразительным свойством сосредоточивать внимание окружающих исключительно на себе; в его присутствии все молчали; говорил только он; побольше ума — и он мог бы стать чем угодно. Четвертый добровольно ослепил себя, чтобы не видеть людей. Пятый был искренним дураком сорока лет; когда его спрашивали: «Кто вы?» — он говорил — «дурак» и смеялся. Интересно, что он не был ни сумасшедшим, ни идиотом, а именно классическим дураком. Шестой... шестой... это я.

— Да? — иронически спросил Тонар.

— Да. Я враг ложного смирения. За сорок пять лет своей жизни я видел много; много пережил и много участвовал в чужих жизнях.

— Однако... Нет! — сказал, помолчав, Тонар. — Я знаю человека действительно интересного. Вы, нервные батареи, живете впроголодь. Вам всегда всего ма-

ло. Я знаю человека идеально прекрасной нормальной жизни, вполне благовоспитанного, чудных принципов, живущего здоровой атмосферой сельского труда и природы. Кстати, это мой идеал. Но я человек не цельный. Посмотрел бы ты на него, Аммон! Его жизнь по сравнению с твоей — сочное, красное яблоко перед прогнившим бананом.

— Покажи мне это чудовище! — вскричал Аммон. — Ради бога!

— Сделай одолжение. Он нашего круга.

Аммон смеялся, стараясь представить себе спокойную и здоровую жизнь. Взмалошный, горячий, резкий — он издали тянулся (временами) к такому существованию, но только воображением; однообразие убивало его. В изложении Тонара было столько вкусно-го мысленного причмокивания, что Аммон заинтересовался.

— Если не идеально, — сказал он, — я не поеду, но если ты уверяешь...

— Я ручаюсь за то, что самые неумеренные требования...

— Таких людей я еще не видал, — перебил Аммон. — Пожалуйста, напиши мне к завтраку рекомендательное письмо. Это не очень далеко?

— Четыре часа езды.

Аммон, расхаживая по комнате, остановился за спиной Тонара и, увлекшись уже новыми грядущими впечатлениями, продекламировал, положив руку, как на пюпитр, на лысину друга:

Поля родные! К вашей тишине,
К задумчиво сияющей луне,
К туманам, медленным в извилистых оврагах,
К наивной прелести в преданиях и сагах,
К румянцу щек и блеску свежих глаз
Вернулся я; таким же вижу вас
Как ранее, и благодати гений
Хранит мой сон среди родных видений!

— Неужели тебе сорок пять лет? — спросил, грузно вваливаясь в кресло, Тонар.

— Сорок пять. — Аммон подошел к зеркалу. — Кто же выдергивает мне седые волосы? И неужели я еще долго буду ездить, ездить, ездить — всегда?

II ПРИЕЗД

Синий и белый снег гор, зубчатый взлет которых тянулся полукругом вокруг холмистой равнины, Аммон увидел из окна поезда рано утром. Вдали солнечной полоской блеснуло море.

Белая станция, увитая по стенам диким виноградом, приветливо подбежала к поезду. Паровоз, пыхтя отработанным паром, остановился, вагоны лязгнули, и Аммон вышел.

Он видел, что Лилиана — настоящее красивое место. Улицы, по которым ехал Аммон, наняв экипаж к Доггеру, не были безукоризненно правильны: мягкая извилистость их держала глаза в постоянном ожидании глубокой перспективы. Между тем постепенно разворачивающееся разнообразие строений очень развлекало Аммона. Дома были усеяны балкончиками и лепкой или выставляли полукруглые башенки; серые на белом фасаде арки, подтянутые или опущенные, как поля шляпы, крыши различно приветствовали смотрящего; все это, затопленное торжественно цветущими садами, солнцем, цветниками и небом, выглядело неплохо. Улицы были обсажены пальмами; зонтичные вершины их бросали на желтую от полудня землю синие тени. Иногда среди площади появлялся старый, как дед, фонтан, полный трепещущей от выкидываемых брызг воды; местами в боковой переулочек взвивалась каменная винтовая лестница, а выше над ней бровью перегибался мостик, легкий как рука подбоченившейся девушки.

III ДОМ ДОГГЕРА

Проехав город, Аммон еще издали увидел сад и черепичную крышу. Дорога, усыпанная гравием, вела через аллею к подъезду — простому, как и весь дом из некрашеного белого дерева. Аммон подошел к дому. Это было одноэтажное бревенчатое здание с двумя боковыми выступами и террасой. Вьющаяся зелень заваливала простенки фасада цветами и листьями; цветов было

много везде — гвоздик, тюльпанов, анемон, мальв, астр и левкоев.

К Аммону спокойными, свободными шагами сильного человека подошел Доггер, стоявший у дерева. Он был без шляпы; статная, розовая от загара шея его пряталась под курчавыми белокурыми волосами. Крепкий, как ожившая грудастая статуя Геркулеса, Доггер производил впечатление несокрушимого здоровяка. Крупные черты радушного лица, серые теплые глаза, небольшие борода и усы очень понравились Аммону. Костюм Доггера состоял из парусинной блузы, таких же брюк, кожаного пояса и высоких сапог мягкой кожи. Руку он пожимал крепко, но быстро, а его грудной голос звучал свободно и ясно.

— Аммон Кут — это я, — сказал, кланяясь, Аммон, — если вы получили письмо Тонара, я буду иметь честь объяснить вам цель моего приезда.

— Я получил письмо, и вы прежде всего мой гость, — сказал, предупредительно улыбаясь, Доггер. — Пойдемте, я познакомлю вас с женой. Затем мы поговорим обо всем, что будет вам угодно сказать.

Аммон последовал за ним в очень простую, с высокими окнами и скромной мебелью гостиную. Ничто не бросалось в глаза, напротив, все было рассчитано на неуловимый для внимания уют. Здесь и в других комнатах, где побывал Аммон, обстановка забывалась, как забывается телом давно обношенное привычное платье. На стенах не было никаких картин или гравюр. Аммон не сразу обратил на это внимание: пустота простенков как бы случайно драпировалась в близко сходящиеся друг с другом складки оконных занавесей. Опрятность, чистота и свет придавали всему оттенок нежной заботливости о вещах, с которыми, как со старыми друзьями, живут всю жизнь.

— Эльма! — сказал Доггер, открывая проходную дверь. — Иди-ка сюда.

Аммон нетерпеливо ожидал встречи с подругой Доггера. Его интересовало увидеть их в паре. Не прошло минуты, как из сумерек коридора появилась улыбающаяся красивая женщина в нарядном домашнем платье с открытыми рукавами. Избыток здоровья сказывался в каждом ее движении. Блондинка, лет двадцати двух, она сияла свежим покоем удовлетворенной мо-

лодой крови, весельем хорошо спавшего тела, величественным добродушием крепкого счастья. Аммон подумал, что и внутри ее, где таинственно работают органы, все так же стройно, красно и радостно; аккуратно толкает по голубым жилам алую кровь стальное сердце; розовые легкие бойко вбирают, освежая кровь, воздух и греются среди белых ребер под белой грудью.

Доггер, не переставая улыбаться, что было, по-видимому, у него потребностью, а не усилием,— представил Кута жене; она заговорила свободно, звонко, как будто была давно знакома с Аммоном:

— Как путешественник, вы будете у нас немного скучать, но это принесет вам одну пользу, только пользу!

— Я тронут,— сказал Аммон, кланяясь.

Все сели. Доггер, молча, открыто улыбаясь, смотрел прямо в лицо Аммону, также и Эльма; выражение их лиц говорило: «Мы видим, что вы тоже очень простой человек, с вами можно, не скучая, свободно молчать». Аммон хорошо понимал, что, несмотря на подкупающую простоту хозяев и обстановки, он не доверял видимому.

— Я очень хочу объяснить вам прямую цель моего посещения,— приступил он к необходимой лжи.— Путешествуя, я стал заядлым фотографом. В занятие это, по моему мнению, можно внести много искусства.

— Искусства,— сказал Доггер, кивая.

— Да. Каждый пейзаж меняет сотни выражений в день. Солнце, время дня, луна, звезды, человеческая фигура делают его каждый раз иным: или отнимают что-либо или же прибавляют. Тонар соблазнил меня описанием прелестей Лилланы, самого города, окрестностей и чудного вашего поместья. Я вижу, что мой аппарат нетерпеливо шевелится в чемодане и самостоятельно от нетерпенья щелкает затвором. Вы давно знакомы с Тонаром, Доггер?

— Очень давно. Мы познакомились, торгуя вместе это имение, но я перебил. Наши отношения с ним прекрасны, он заезжает иногда к нам. Он очень любит деревенскую жизнь.

— Странно, что он сам не живет так,— сказал Аммон.

— Знаете,— возразила, кладя голову на руки, а руки на спинку кресла, Эльма,— для этого нужно родиться такими, как я с мужем. Правда, милый?

— Правда,— сказал Доггер задумчиво.— Но, Аммон, пока не подали обед, я покажу вам хозяйство. Ты, Эльма, пойдешь?

— Нет,— отказалась, смеясь, молодая женщина,— я хозяйка, и мне нужно распорядиться.

— Тогда...— Доггер встал. Аммон встал.— Тогда мы отправимся путешествовать.

IV

НА ДВОРЕ

«Настоящий искатель приключений,— твердил про себя Аммон, идя рядом с Доггером,— отличается от банально любопытного человека тем, что каждое неясное положение исчерпывается им до конца. Теперь мне нужно осмотреть все. Не верю Доггеру». Не углубляясь больше в себя, он отдался впечатлениям. Доггер вел Аммона сводчатыми аллеями сада к задворкам. Разговор их коснулся природы, и Доггер, с несвойственной его внешности тонкостью, проник в самый тайник, хаос противоречивых, легких, как движение ресниц, душевных движений, производимых явлениями природы. Он говорил немного лениво, но природа в общем ее понятии вдруг перестала существовать для Аммона. Подобно сложенному из кубиков дому, рассыпалась она перед ним на элементарные свои части. Затем, так же бережно, незаметно, точно играя, Доггер восстановил разрушенное, стройно и чинно свел распавшееся к первоначальному его виду, и Аммон вновь увидел исчезнувшую было совокупность мировой красоты.

— Вы — художник или должны быть им,— сказал Аммон.

— Сейчас я покажу вам корову,— оживленно проговорил Доггер,— здоровенный экземпляр и хорошей породы.

Они вышли на веселый просторный двор, где бродило множество домашней птицы: цветистые куры, огненные петухи, пестрые утки, неврастенические индейки, желтые, как одуванчики, цыплята и несколько пар фазанов. Огромная цепная собака лежала в зеленой будке, свесив язык. В загородке лоснились розовые бревна

свиней; осел, хлопая ушами, добродушно косился на петуха, рывшего лапой навоз под самым его копытом; голубые и белые голуби стаями носились в воздухе; буколический вид этот выражал столько мирной животной радости, что Аммон улыбнулся. Доггер, с довольным видом осмотрев двор, сказал:

— Я очень люблю животных с уживчивой психологией. Тигры, удавы, змеи, хамелеоны и иные анархисты мне органически неприятны. Теперь посмотрим корову.

В хлеву, где было довольно светло от маленьких лучистых окон, Аммон увидел четырех гигантских коров. Доггер подошел к одной из них, цвета желтого мыла, с рогами полумесяцем; зверь дышал силой, салом и молоком; огромное, розовое с черными пятнами вымя висело почти до земли. Корова, как бы понимая, что ее рассматривают, повернула к людям тяжелую толстую морду и помахала хвостом.

Доггер, подбочившись, что делало его мужиковатым, посмотрел на Аммона, корову и опять на Аммона, а затем кряжисто хлопнул ладонью по коровьей спине.

— Красавица! Я назвал ее — «Диана». Лучший экземпляр во всем округе.

— Да, внушительная, — подтвердил Аммон.

Доггер снял висевшее в ряду других ведро красной меди и стал засучивать рукава.

— Посмотрите, как я дою, Аммон. Попробуйте молоко.

Аммон, сдерживая улыбку, выразил в лице живейшее внимание. Доггер, присев на корточки, подставил под корову ведро и, умело вытягивая сосцы, пустил в звонкую медь сильно бьющие молочные струи. Очень скоро молоко поднялось в ведре пальца на два, пенясь от брызг. Серьезное лицо Доггера, материнское обращение его с коровой и процесс доения, производимый мужчиной, так рассмешили Аммона, что он, не удержавшись, расхохотался. Доггер, перестав доить, с изумлением посмотрел на него и наконец рассмеялся сам.

— Узнаю горожанина, — сказал он. — Вам не смешно, когда в болезненном забытьи люди прыгают друг перед другом, вскидывая ноги под музыку, но смешны здоровые, вытекающие из самой природы занятия.

— Извините, — сказал Аммон, — я вообразил себя на вашем месте и... И никогда не прошу себе этого.

— Пустое,— спокойно возразил Доггер,— это нервы. Попробуйте.

Он принес из глубины хлева фаянсовую кружку и налил Аммону густого, почти горячего молока.

— О,— сказал, выпив, Аммон,— ваша корова не осквернилась. Положительно, я завидую вам. Вы нашли простую мудрость жизни.

— Да,— кивнул Доггер.

— Вы очень счастливы?

— Да,— кивнул Доггер.

— Я не могу ошибиться?

— Нет.

Доггер неторопливо взял от Аммона пустую кружку и неторопливо отнес ее на прежнее место.

— Смешно,— сказал он, возвращаясь,— смешно хвастаться, но я действительно живу в светлом покое.

Аммон протянул ему руку.

— От всего сердца приветствую вас,— произнес он медленно, чтобы дольше задержать руку Доггера. Но Доггер, открыто улыбаясь, ровно жал его руку, без тени нетерпения, даже охотно.

— Теперь мы пойдем завтракать,— сказал Доггер, выходя из хлева.— Остальное, если это вам интересно, мы успеем посмотреть вечером: луг, огород, оранжерею и парники.

Той же дорогой они вернулись в дом. По пути Доггер сказал:

— Много теряют те, кто ищет в природе болезни и уродства, а не красоты и здоровья.

Фраза эта была как нельзя более уместна среди шиповника и жасмина, по благоухающим аллеям которых шел, искоса наблюдая Доггера, Аммон Кут.

V

ДРАКОН И ЗАНОЗА

Аммон Кут редко испытывал такую свежесть и чистоту простой жизни, с какой столкнула его судьба в имени Доггера. Остаток подозрительности держался в нем до конца завтрака, но приветливое обращение Доггеров, естественная простота их движений, улыбок,

взглядов обвеяли Кута подкупающим ароматом счастья. Обильный завтрак состоял из масла, молока, сыра, ветчины и яиц. Прислуга, вносящая и убирающая кушанья, тоже понравилась Аммону; это была степенная женщина, здоровая, как все в доме.

Аммон по просьбе Эльмы рассказал кое-что из своих путешествий, а затем, из чувства внутреннего противодействия, свойственного кровному горожанину в деревне, где он сознает себя немного чужим, стал говорить о новинках сезона.

— Новая оперетка Растрелли — «Розовый гном» — хуже, чем прошлая его вещь. Растрелли повторяет себя. Но концерты Седира очаровательны. Его скрипка могущественна, и я думаю, что такой скрипач, как Седир, мог бы управлять с помощью своего смычка целым королевством.

— Я не люблю музыки, — сказал Доггер, разбивая яйцо. — Позвольте предложить вам козьего сыру.

Аммон поклонился.

— А вы, сударыня? — сказал он.

— Вкусы мои и мужа совпадают, — ответила, слегка покраснев, Эльма. — Я тоже не люблю музыки: я равнодушна к ней.

Аммон не сразу нашелся, что сказать на это, так как поверил. Этим уравновешенным, спокойным людям не было никаких причин рисоваться. Но Аммон начал чувствовать себя — слегка похоже — сидящим в вегетарианской столовой.

— Да, здесь спорить невыносимо, — сказал он. — На весенней выставке меня пленила небольшая картина Алара «Дракон, занозивший лапу». Заноза и усилия, которые делает дракон, валяясь на спине, как собака, чтобы удалить из раненого места кусок щепки, — действуют убедительно. Невозможно, смотря на эту картину из быта драконов, сомневаться в их существовании. Однако мой приятель нашел, что если бы даже дракон этот пил молоко и облизывался...

— Я не люблю искусства, — кратко заметил Доггер.

Эльма посмотрела на него, затем на Аммона и улыбнулась.

— Вот и все, — сказала она. — Когда вы были последний раз в тропиках?

— Нет, я хочу объяснить, — мягко перебил Дог-

гер.— Искусство — большое зло; я говорю про искусство, разумеется, настоящее. Тема искусства — красота, но ничто не причиняет столько страданий, как красота. Представьте себе совершеннейшее произведение искусства. В нем таится жестокости более, чем вынес бы человек.

— Но и в жизни есть красота,— возразил Аммон.

— Красота искусства больше красоты жизни.

— Что же тогда?

— Я чувствую отвращение к искусству. У меня душа — как это говорится — мещанина. В политике я стою за порядок, в любви — за постоянство, в обществе — за незаметный полезный труд. А вообще в личной жизни — за трудолюбие, честность, долг, спокойствие и умеренное самолюбие.

— Мне нечего возразить вам,— осторожно сказал Аммон. Убедительный тон Доггера окончательно доказал ему, что Тонар прав. Доггер являл собой редкий экземпляр человека, создавшего особый мир несокрушимой нормальности.

Вдруг Доггер весело рассмеялся.

— Что толковать,— сказал он,— я жизнерадостный и простой человек. Эльма, ты поедешь с нами верхом? Я хочу показать гостю огород, луг и окрестности.

— Да.

VI

ЛЕСНАЯ ЯМА

Прогулка, кроме лесной ямы, ничего нового не дала Аммону. Они ехали рядом. Доггер с правой, а Кут с левой стороны Эльмы, и Аммон, не касаясь более убеждений Доггера, рассказывал о себе, своих встречах и наблюдениях. Он сидел на сытой, красивой, спокойной лошади в простом черном седле. Несколько людей повстречались им, занятых очисткой канав и окапыванием молодых деревьев; то были рабочие Доггера, коренастые молодцы, почтительно снимавшие шляпы. «Прекрасная пара,— думал Аммон, смотря на своих хозяев.— Такими, вероятно, были до грехопадения Адам и Ева». Впечатлительный, как все бродяги, он начинал проникаться их сурово-милостивым отношением ко всему,

что не было их собственной жизнью. Осмотр владений Доггера заставил его сказать несколько комплиментов: огород, как и все имение, был образцовым. Сочный, засеянный отборной травой луг веселил глаз.

За лугом, примыкавшим к горному склону, тянулся лес, и всадники, подъехав к опушке, остановились. Доггер спокойно осматривал с этого возвышенного места свои владения. Он сказал:

— Люблю собственность, Аммон. А вот посмотрите яму.

Проехав в лес, Доггер остановился у сумеречной, сырой ямы под сводами густой листвы старых деревьев. Свет нехотя проникал сюда, здесь было прохладно, как в колоде, и глухо. Валежник наполнял яму; корни протягивались в нее, сломанный бурей ствол перекидывался над хаосом лесного сора и папоротника. Острый запах грибов, плесени и земли шел из обширной впадины, и Доггер сказал:

— Здесь веет жизнью таинственных существ, зверей. Мне чудятся осторожные шаги хорьков, шелест змеи, выпученные глаза жаб, похожих на водяного болыного. Летучие мыши кружатся здесь в лунном свете, и блестят круглые очки сов. Вероятно, это ночной клуб.

«Он притворяется,— подумал Аммон с новой вспышкой недоверия к Доггеру,— но где зарыта собака?»

— Я хочу домой,— сказала Эльма.— Я не люблю леса.

Доггер ласково посмотрел на жену.

— Она против сумерек,— сказал он Аммону,— так же, как я. Вернемся. Я чувствую себя хорошо только дома.

VII НОЧЬ

В половине двенадцатого, простившись с гостеприимными хозяевами, Аммон отправился в отведенную ему комнату левого крыла дома; ее окна выходили на двор, отделенный от него узким палисадом, полным цветов. Обстановка комнаты дышала тем же здоровым, свежим уютом, как и весь дом: мебель из некрашеного белого

дерева, металлический умывальник, чистые занавеси, простыни, подушки; серое теплое одеяло; зеркало в простой раме, цветы на окнах; массивный письменный стол; чугунная лампа. Не было ничего лишнего, но все необходимое, в голой простоте своего назначения.

— Так вот куда я попал! — сказал Аммон, снимая жилет. — Руссо мог бы позавидовать Доггеру. Прекрасно говорил Доггер о природе и лесной яме; это стоит в противоречии с отвратительной плоскостью остальных его рассуждений. Мне больше нечего делать здесь. Я убедился, что можно жить осмысленной растительной жизнью. Однако еще посмотрим.

Он сел на кровать и задумался. Столовые стальные часы пробили двенадцать. Раскрытое окно дышало цветами и влагой лугов. Все спало; звезды над черными крышами горели, как огоньки далекого города. Аммон думал с грустным волнением о постоянной мечте людей — хорошей, светлой, здоровой жизни — и недоумевал, почему самые яркие попытки этого рода, как, например, жизнь Доггера, лишены крыльев очарования. Все образцово, вкусно и чисто; нежно и полезно, красиво и честно, но незначительно, и хочется сказать: «Ах, я был еще на одной выставке! Там есть премированный человек...»

Тогда он стал рисовать мысленно возможности иного порядка. Он представил себе пожар, треск балок, буйную жизнь огня, любовь Эльмы к рабочему, Доггера — пьяницу, сумасшедшего, морфиниста; вообразил его религиозным фанатиком, антикваром, двоеженцем, писателем, но все это не вязалось с хозяевами поместья в Лилиане. Трепет нервной, разрушительной или творческой жизни чужд им. Возможность пожара была, конечно, исключена в общем благоустройстве дома, и никогда не суждено испытать ему испуга, хаоса горящего здания. Год за годом, толково, разумно, тщательно и счастливо проходят, рука об руку, две молодые жизни — венец творения.

— Итак, — сказал Аммон, — я ложусь спать. — Откинув одеяло, Аммон хотел потушить лампу, как вдруг услышал в коридоре тихие мужские шаги; кто-то шел мимо его комнаты, шел так, как ходят обыкновенно ночью, когда в доме все спят: напряженно, легко. Аммон вслушался. Шаги стихли в конце коридора; прошло

пять, десять минут, но никто не возвращался, и Кут осторожно приотворил дверь.

Висячая лампа освещала коридор ровным ночным светом. В проходе было три двери: одна, ближе к центру дома, вела в помещение для прислуги и находилась против комнаты Кута; вторая, соседняя от Аммона слева, судя по висячему на ней замку, была дверью кладовой или нежилой комнаты. Направо же, в конце крыла, дверей совсем не было — тупик с высоким закрытым окном в сад, но шаги замерли именно в этом месте.

— Не мог же он провалиться сквозь землю! — сказал Кут. — И это едва ли Доггер: он говорил сам, что сон его крепок, как у солдата после сражения. Рабочему незачем входить в дом. Окно в конце коридора ведет в сад; допустив, что Доггер по неизвестным мне причинам вздумал гулять, к его услугам три выходных двери, и я к тому же слышал бы стук рамы, а этого не было.

Аммон повернулся и прикрыл дверь.

Наполовину он придавал значение этим шагам, наполовину нет. Мысль его бродила в области прекрасных суеверий, легенд о человеческой жизни, цель которых — прославить имя человека, вознося его из болота будней в мир таинственной прелести, где душа повинуется своим законам, как богу. Аммон еще раз заставил себя мысленно услышать шаги. Вдруг ему показалось, что в раскрытое окно может заглянуть неизвестный «тот»; он быстро потушил лампу и насторожился.

— О, глупец я! — сказал, не слыша ничего более, Аммон. — Мало ли кто почему может ходить ночью!.. Я просто узкий профессионал, искатель приключений, не более. Какая тайна может быть здесь, в запахе сена и гиацинтов? Стоит лишь посмотреть на домашнюю красавицу Эльму, чтобы не заниматься глупостями.

Тем не менее инстинкт спорил с логикой. Около полудня, ожидая, как влюбленный свидания, новых звуков, Аммон стоял у двери, заглядывая в замочную скважину. В это небольшое отверстие, напоминающее форму подошвы, обращенной вниз, видел он сосновые панели стены, и ничего более. Настроение его падало, он зевнул и хотел лечь, как снова явственно раздались те же шаги. Аммон, подобно нырнувшему пловцу, перестал дышать, смотря в скважину. Мимо его дверей, го-

ловой выше поля зрения Аммона, ровной, на цыпочках походкой прошел из тупика Доггер в рубашке с расстегнутыми рукавами и брюках; куртки на нем не было. Шаги стихли, глухо хлопнула внутренняя дверь, и Аммон выпрямился; неудержимые подозрения закипели в нем вопреки логике положения. Слишком благоразумный, чтобы давать им какую-либо определенную форму, он довольствовался пока тем, что твердил один и тот же вопрос: «Где мог находиться Доггер в конце коридора?» Аммон кружился по комнате, то усмехаясь, то задумываясь; он перебрал все возможности: интрига с женщиной, лунатизм, бессонница, прогулка, но все это висело в воздухе в силу закрытого окна и тупика; хотя окно, конечно, открывалось,— путь через него в сад для такого солидного и положительного человека, как Доггер, казался непростительным легкомыслием.

Решив тщательно осмотреть коридор, Аммон, надев войлочные туфли, но без револьвера, так как в этом не представлялось необходимости, вышел из своей комнаты. Спокойная тишина ярко освещенного коридора отрезвила Кута, он устыдился и хотел вернуться, но прошедший день, полный чрезмерной, утомительной для подвижной души, будничной простоты, толкал Кута по линии искусственного оживления хотя бы неудовлетворенных фантазий. Быстро он прошел в конец коридора, к окну, убедился, что оно плотно закрыто, на полные, верхнюю и нижнюю, задвижки, осмотрелся и увидел справа маленькую, едва прикрытую дверь, без косяков, в одной плоскости со стеной; дверца эта, сбита из тонких досок, была, по-видимому, прорезана и вставлена после постройки дома. Рассматривая дверцу, Аммон думал, что она выходит, вероятно, на лесенку, устроенную для входа в палисад изнутри коридора. Решив таким образом вопрос, куда исчезал Доггер, Аммон тихо протянул руку, снял петлю и открыл дверь.

Она отворялась в коридор. За ней было темно, хотя виднелось несколько крутых белых ступенек лестницы, шедшей вверх, а не вниз. Лестница подымалась вплотную к узким стенам; чтобы войти, нужно было сильно нагнуться. «Стоит ли? — подумал Аммон.— Должно быть, это ход на чердак, где сушат белье, живут голуби... Однако Доггер не охотник за голубями и, ясно, не прачка. Зачем он ходил сюда? О, Аммон, Ам-

мон, инстинкт говорит мне, что есть дичь. Пусть, пусть это будет даже холостой выстрел — если я подымусь, — зато по крайней мере все кончится, и я усну до завтрашней простокваши с чистой, как у телят, совестью. Если Доггеру вздумается опять, по неизвестным причинам, посетить чердак и он застанет меня, — солгу, что слышал на чердаке шаги; сослаться в таких случаях на воров — незаменимо».

Оглянувшись, Аммон плотно прикрыл за собой дверь и, осветив лестницу восковой свечкой, стал всходить. От маленькой площадки лестница поворачивала налево; в верхнем конце ее оказалась площадка просторнее, к ней примыкала под крутым скатом крыши дверь, ведущая на чердак. Она, так же как и нижняя дверь, была не на ключе, а притворена. Аммон, прислушался, опасаясь, нет ли кого за дверью. Тишина успокоила его. Он смело потянул скобку, и свечка от воздушного толчка погасла; Аммон переступил через порог во тьму; слегка душный воздух жилого помещения испугал его; торопясь убедиться, не попал ли он в каморку рабочих или прислуги, Аммон зажег вторую свечку, и тени бросились от ее желтого света в углы, прояснив окружающее.

Увидев прежде всего на огромном посреди комнаты столе свечу, Аммон затеплил ее и отступил к двери, осматриваясь. На задней стене спускалась до полу белая занавесь, такие же висели на левой и правой стене от входа. В косом потолке просвечивало далекими звездами сетчатое окно. Не всмотревшись еще в заваленный множеством различных предметов стол, Аммон бросился по углам. Там был лишь неубранный сор, клочки бумаги, сломанные карандаши. Выпрямившись, подошел он к задней стене, где у гвоздика висели шнуры от занавеси, и потянул их. Занавесь поднялась.

Аммон, отступив, увидел внезапно блеснувший день — земля взошла к уровню чердака, и стена исчезла. В трех шагах от путешественника, спиной к нему, на тропинке, бегущей в холмы, стояла женщина с маленькими босыми ногами; простое черное платье, неуловимо лишенное траурности, подчеркивало белизну ее обнаженных шеи и рук. Все линии молодого тела угадывались под тонкой материей. Бронзовые волосы тяжелым узлом скрывали затылок. Сверхъестественная, тягостная живость изображения перешла здесь границы

человеческого; живая женщина стояла перед Аммоном и чудесной пустотой дали; Аммон, чувствуя, что она сейчас обернется и через плечо взглянет на него,— растерянно улыбнулся.

Но здесь кончалось и вместе с тем усиливалось торжество гениальной кисти. Поза женщины, левая ее рука, отнесенная слегка назад, висок, линия щеки, мимолетное усилие шеи в сторону поворота и множество недоступных анализу немых черт держали зрителя в ожидании чуда. Художник закрепил мгновение; оно длилось, оставалось все тем же, как будто исчезло время, но вот-вот в каждую следующую секунду возобновит свой бег, и женщина взглянет через плечо на потрясенного зрителя. Аммон смотрел на ужасную в готовности своей показать таинственное лицо голову с чувством непобедимого ожидания; сердце его стучало, как у ребенка, оставленного в темной комнате, и, с неприятным чувством бессилия перед неисполнимой, но явной угрозой, отпустил он шнурки. Упала занавесь, а все еще казалось ему, что, протянув руку, наткнется он, за полотном, на теплое, живое плечо.

— Нет меры гению и нет пределов ему! — сказал взволнованный Кут. — Так вот, Доггер, откуда ты уходишь доить коров? Хозяин моего открытия — великий инстинкт. Я буду кричать на весь мир, я болен от восторга и страха! Но что там?

Он бросился к той занавеси, что висела слева от входа. Рука его путалась в шнурах, он нетерпеливо рвал их, потянул вниз и поднял над головой свечу. Та же женщина, в той же прелестной живости, но еще более углубленной блеском лица, стояла перед ним, исполнив прекрасную свою угрозу. Она обернулась. Всю материнскую нежность, всю ласку женщины вложил художник в это лицо. Огонь чистой, горделивой молодости сверкал в нежных, но твердых глазах; надменной казался над тонкими, ясными ее бровями бронзовый шелк волос; благородных юношеских очертаний рот дышал умом и любовью. Стоя вполоборота, но открыто повернув все лицо, сверкала она молодой силой жизни и волнующей, как сон в страстных слезах радости.

Тихо смотрел Аммон на эту картину. Казалось ему, что стоит произнести одно слово, нарушить тишину красок, и, опустив ресницы, женщина подойдет к нему,

еще более прекрасная в движениях, чем в тягостной неподвижности чудесным образом созданного живого тела. Он видел пыль на ее ногах, готовых идти дальше, и отдельные за маленьким ухом волосы, похожие на лучистый наряд колосьев. Радость и тоска держали его в нежном плену.

— Доггер, вы деспот! — сказал Аммон. — Можно ли большее, чем вы, ранить сердце? — Он топнул ногой. — Я брежу, — вскричал Аммон, — так невысказанно рисовать; никто, никто на свете не может, не смеет этого!

И еще выразительнее, полнее, глубже глянули на него настоящие глаза женщины.

Почти испуганный, с сильно бьющимся сердцем, задрнул Аммон картину. Что-то удерживало его на месте; он не мог заставить себя пройтись взад-вперед, как делал обыкновенно в моменты волнения. Он боялся оглянуться, пошевелиться; тишина, в коей слышались лишь собственное его дыхание и потрескивание горячей свечи, была неприятна, как запах угара. Наконец, превозмогая оцепенение, Аммон подошел к третьему полотну, обнажил картину... и волосы зашевелились на его голове.

Что сделал Доггер, чтобы произвести эффект кошмарный, способный воскресить суеверия? В том же повороте стояла перед Аммоном обернувшаяся на ходу женщина, но лицо ее непостижимо преобразилось, а между тем до последней черты было тем, на которое только что смотрел Кут. Страшно, с непостижимой яркостью встретились с его глазами хихикающие глаза изображения. Ближе, чем ранее, глядели они мрачно и глухо; иначе блеснули зрачки; рот, с выражением зловещим и подлым, готов был просиять омерзительной улыбкой безумия, а красота чудного лица стала отвратительной; свирепым, жадным огнем дышало оно, готовое душить, сосать кровь; вожеление гада и страсти демона озарили его гнусный овал, полный взволнованного сладострастия, мрака и бешенства; и беспредельная тоска охватила Аммона, когда, всмотревшись, нашел он в этом лице готовность заговорить. Полуоткрытые уста, где противно блестели зубы, казались шепчущими; прежняя мягкая женственность фигуры еще более подчеркивала ужасную жизнь головы, только что не кивавшей из рамы. Глубоко вздохнув, Аммон отпустил шнурок; за-

навесь, шедестя, ринулась вниз, и показалось ему, что под падающие складки вынырнуло и спряталось, подмигнув, дьявольское лицо.

Аммон отвернулся. Папка, лежавшая на столе, приковала к себе его расстроенное внимание своими размерами; большая и толстая, она, когда он раскрыл ее, оказалась полной рисунков. Но странны и дики были они... Один за другим просматривал их Аммон, пораженный нечеловеческим мастерством фантазии. Он видел стаи воронов, летевших над полями роз; холмы, усеянные, как травой, зажженными электрическими лампочками; реку, запруженную зелеными трупами; сплетение волосатых рук, сжимающих окровавленные ножи; кабачок, битком набитый пьяными рыбами и омарами; сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными; огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети; мертвецов, читающих в могилах при свете гнилушек пожелтевшие фолианты; бассейн, полный бородатых женщин; сцены разврата, пиршество людоедов, свежую толстяка; тут же, из котла, подвешенного к очагу, торчала рука; одна за другой проходили перед ним фигуры умопомрачительные, с красными усами, синими шевелюрами, одноголазые, трехглазые и слепые; кто ел змею, кто играл в кости с тигром, кто плакал, и из глаз его падали золотые украшения; почти все рисунки были осыпаны по костюмам изображений золотыми блестками и исполнены тщательно, как выполняется вообще всякая любимая работа. С жутким любопытством перелистывал эти рисунки Аммон. Дверь стукнула, он отскочил от стола и увидел Доггера.

VIII ОБЪЯСНЕНИЕ

Самообладание никогда не покидало Аммона даже в самых опасных случаях; однако, застигнутый врасплох, он испытал мгновенное замешательство. Доггер, по-видимому, не ожидал увидеть Аммона; растерянно остановился он у дверей, осматриваясь, но скоро побледнел, а затем вспыхнул так, что от гнева покраснела обнаженная его шея. Он быстро подошел к Аммону, вскричав:

— Как смели вы забраться сюда!.. Как назвать ваш поступок?! Я не ожидал этого! А? Аммон!

— Вы правы,— ответил спокойно Кут, не опуская глаз,— войти я не смел. Но я чувствовал бы себя виновным только в том случае, если бы ничего не увидел; увидевши же здесь нечто, смею думать,— приобрел тем самым право отвергнуть обвинение в нескромности. Скажу больше: узнай я, уехав от вас, что предстояло мне видеть, поднявшись наверх, и не сделай я этого,— я никогда не простил бы себе подобной оплошности. Мотивы моего поступка следующие... Извините, положение требует откровенности, как бы вы ни отнеслись к ней. Смутно не верил я вашим коровкам, Доггер, и репе, и сытым фазаньим курочкам; случайно попав на верный след к вашей душе, я достиг цели. Ужасная сила гения водила вашей кистью. Да, я украл глазами то, из чего вы сделали тайну, но воровством этим горжусь не меньше, чем Колумб — Западным полушарием, так как мое призвание — искать, делать открытия, следить!

— Молчать! — вскричал Доггер. В его лице не было и тени благодушного равновесия; но не было и злобы, несвойственной людям характера высокого; тяжкое возмущение выражало оно и боль.— Вы смеете еще... О, Аммон, вы, с вашими разговорами о проклятом искусстве, заставили меня не спать в муках, недоступных для вас, а теперь, врываясь сюда, хотите меня уверить, что это достойно похвалы. Кто вы, чтобы осмелиться на подобное?

— Искатель, искатель приключений,— холодно возразил Аммон.— У меня иная мораль. Иметь дело с сердцем и душой человека и никогда не подвергаться за эти опыты проклятиям — было бы именно не хорошо; чего стоит душа, подобострастно расстилающаяся всей внутренностью?

— Однако,— сказал Доггер,— вы смелы! Я не люблю с л и ш к о м смелых людей. Уйдите. Возвращайтесь в свою комнату и укладывайтесь. Тотчас же вам подадут лошадь; есть ночной поезд.

— Прекрасно! — Аммон подошел к двери.— Прощайте!

Он хотел выйти, как вдруг обе руки Доггера с силой схватили его за плечи и повернули к себе. Аммон увидел жалкое лицо труса; безмерный испуг Доггера пе-

редался ему, и он, не зная в чем дело, побледнел от волнения.

— Никому,— сказал Доггер,— ни слова никому совершенно! Ради меня, ради бога, пощадите: ничего, никому!

— Даю слово, да, я даю слово, успокойтесь.

Доггер отпустил Аммона. Взгляд его, полный ненависти, остановился поочередно на каждой из трех картин. Аммон вышел, спустился по лестнице и, войдя в свое помещение, приготовился ехать. Через полчаса он, сопровождаемый слугой, вышел, не встретив более Доггера, к темному подъезду со стороны сада, где стоял экипаж, уселся и выехал.

Звездная роса неба, волнение, беспредельная, благоухающая тьма и дыхание придорожных рощ усиливали очарование торжества. В такт торжествующему сердцу Аммона глухо билось огромное слепое сердце земли, приветствующее своего сына-искателя. Смутно, но цепко нащупывал Аммон истину души Доггера.

— Нет, не уйдешь от себя, Доггер, нет,— сказал он, вспоминая рисунки.

Возница, ломая голову над внезапным отъездом гостя, несмело обернулся, спрашивая:

— Никак дело случилось экстренное у вас, сударь?

— Дело? Да. Именно — дело. Я должен немедленно схать в Индию. У меня там захворали чумой: бабушка, свояченица и три двоюродных брата.

— Вот как! — удивленно произнес крестьянин. — Дела-а!..

IX

ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ДОГГЕРОМ

— Милый,— сказал Тонар Куту, распечатав одно из писем: — Доггер, у которого ты был четыре года тому назад, просит тебя ехать к нему немедленно. Не зная твоего адреса, он передает свою просьбу через меня. Но что могло там случиться?

Аммон, не скрывая удивления, быстро подошел к приятелю.

— Просит?! В каких выражениях?

— Конца восемнадцатого столетия. «Вы очень обяжете меня,— прочел Тонар,— сообщив господину Аммону Куту, что я был бы весьма признателен ему за немедленное с ним свидание»... Не объяснишь ли ты, в чем дело?

— Нет, я не знаю.

— Да ну?! Ты хитрый, Аммон!

— Я могу только обещать тебе, если удастся, рассказать после.

— Прекрасно. Любопытство мое задето. Как, ты уже смотришь на часы? Посмотри расписание.

— Есть поезд в четыре,— сказал, нажимая кнопку звонка, Аммон. Слуга остановился в дверях.— Герт! Высокие сапоги, револьвер, плед и маленький саквояж. Прощай, Тонарище! Я еду в веселые луга Лилианы!

Не без волнения ехал Аммон к странному человеку на его зов. Он хорошо помнил до сих пор тягостный удар по душе, нанесенный двуликой женщиной чудесных картин, и ставил их невольно в связь с приглашением Доггера. Но далее было безрассудно гадать, чего хочет от него Доггер. Вероятным оставалось одно, что предстоит нечто серьезное. В глубокой задумчивости стоял Аммон у окна вагона. Все свое знание людей, все сложные узлы их душ, все возможности, вытекающие из того, что видел четыре года назад, перебрал он с тщательностью слепого, разыскивающего ощупью нужную ему вещь, но, неудовлетворенный, отказался, наконец, предвидеть будущее.

В восемь часов вечера Аммон стоял перед тихим домом в саду, где ярко, пышно и радостно молились цветы засыпающему в серебристых облаках солнцу. Аммон встретил Эльма; в ее движениях и лице пропала музыкальная ясность; огорченная, нервная, страдающая женщина стояла перед Аммоном, тихо говоря:

— Он хочет говорить с вами. Вы не знаете — он умирает, но, может быть, надеюсь, еще верит в выздоровление, сделайте, пожалуйста, вид, что считаете его болезнь пустяком.

— Надо спасти Доггера,— сказал, подумав, Аммон.— Есть ли у него от вас что-нибудь тайное?

Он смотрел Эльме прямо в глаза, придав вопросу осторожную значительность тона.

— Нет, ничего нет. А от вас?

Это было сказано ощупью, но они поняли друг друга.

— Вероятно,— пылливо улыбнулся Аммон,— вы не остались в недоумении относительно спешности прошлого моего отъезда.

— Вы должны извинить Доггера и... себя.

— Да. Во имя того, что вам известно, Доггер не смеет умирать.

— Врачи обманывают его, но я все знаю. Он не проживет до конца месяца.

— Как смешно,— сказал, идя за Эльмой, Аммон,— я знаю огородного сторожа, которому сто четыре года. Но он, правда, не смыслит ничего в красках.

Когда они вошли к больному, Доггер лежал. Ранние сумерки оттеняли прозрачное его лицо легкой воздушной тканью; руки больного лежали под головой. Он был волосат, худ и угрюм; глаза его, выразительно блеснув, остановились на Куте.

— Эльма, оставь нас,— сказал, хрипя, Доггер,— не обижайся на это.

Женщина, грустно улыбнувшись ему, ушла. Аммон сел.

— Вот еще одно приключение, Аммон,— слабо заговорил Доггер,— отметьте его в графе путешествий о ч е н ь далеких. Да, я умираю.

— Вы, кажется, мнительны? — беззаботно спросил Аммон.— Ну, это слабость.

— Да, да. Мы упражняемся во лжи. Эльма говорит то же, что вы, а я делаю вид, что не верю в близкую смерть, и она этим довольна. Ей хочется, чтобы я не верил в то, во что верит она.

— Что с вами, Доггер?

— Что? — Доггер, закрыв глаза, усмехнулся.— Я выпил, видите ли, холодной родниковой воды. Надо вам сказать, что последние одиннадцать лет мне приходилось пить воду только умеренной температуры, дистиллированную. Два года назад, весной, я гулял в соседних горах. Снеговые ручьи неслись в пышной зелени по сверкающим каменным руслам, звенели и бились вокруг. Голубые каскады взбивали снежную пену, прыгая со всех сторон с уступа на уступ, скрещиваясь и толкая друг друга, подобно вспугнутому стаду овец, когда, попав в тесное место, струятся они живою волной белых спин. Ах, я был неблагоприятен, Аммон, но душный жаркий день измучил меня жаждой. С кру-

тизны на мою голову падал тяжелый жар неба, а изобилие пенящейся кругом воды усиливало страдания. Возвращаться было не близко, и меня неудержимо потянуло пить эту дикую, холодную, веселую воду, не оскверненную градусником. Невдалеке был подземный ключ, я нагнулся и пил, обжигая губы его ледяным огнем; то была вкусная, шипящая, как игристое вино, пахнущая травой вода. Редко приходится так блаженно утолять жажду. Я пил долго и затем... слег. У больных, знаете ли, часто весьма тонкий слух, и я, не без усилия однако, подслушал за дверьми доктора с Эльмой. Доктор хорошо поторговался с собой, но все же разрешил мне жить не далее конца этого месяца.

— Вы поступили н е н о р м а л ь н о,— сказал, улыбаясь Кут.

— Отчасти. Но я устаю говорить. Те две картины, где она обернулась... вы как думаете, где они? — Доггер заволновался.— Вот на этом столе ящик, откройте могилку.

Аммон, встав, приподнял крышку красивой шкатулки, и от движения воздуха часть белого пепла, взлетев, осела на рукав Кута. Ящик, полный до краев этим пушистым пеплом, объяснил ему судьбу гениальных произведений.

— Вы сожгли их!

Доггер кивнул глазами.

— Это если не безумие, то варварство,— сказал Аммон.

— Почему? — коротко возразил Доггер.— Одна из них была з л о, а другая — л о ж ь. Вот их история. Я поставил задачей всей своей жизни написать три картины, совершеннее и сильнее всего, что существует в искусстве. Никто не знал даже, что я художник, никто, кроме вас и жены, не видел этих картин. Мне выпало печальное счастье изобразить Жизнь, разделив то, что неразделимо по существу. Это было труднее, чем, смешав воз зерна с возом мака, разобрать смешанное по зернышку, мак и зерно — отдельно. Но я сделал это, и вы, Аммон, видели два лица Жизни, каждое в полном блеске могущества. Совершив этот грех, я почувствовал, что неудержимо, всем телом, помыслами и снами тянет меня к т ь м е; я видел перед собой полное ее воплощение... и не устоял. Как я тогда жил — я знаю, больше

никто. Но и это было мрачное, болезненное существование — тлен и ужас!

То, чем я окружил себя теперь: природа, сельский труд, воздух, растительное благополучие,— это, Аммон, не что иное, как поспешное бегство от самого себя. Я не мог показать людям своих ужасных картин, так как они превознесли бы меня, и я, понукаемый тщеславием, употребил бы свое искусство согласно наклону души — в сторону зла, а это несло гибель мне первому; все темные инстинкты души толкали меня к злему искусству и злой жизни. Как видите, я честно уничтожил в доме всякий соблазн: нет картин, рисунков и статуэток. Этим я убивал воспоминание о себе, как о художнике, но выше сил моих было уничтожить те две, между которыми шла борьба за обладание мной. Ведь это все-таки не так плохо сделано! Но дьявольское лицо жизни временами соблазняло меня, я запирался и уходил в свои фантазии — рисунки, пьянея от кошмарного бреда; той папки тоже нет больше. Вы сдержали слово молчания, и я, веря вам, прошу вас после моей смерти выставить анонимно третью мою картину, она правдива и хороша. Искусство было проклятием для меня, я отрекаюсь от своего имени.

Он помолчал и заплакал, но слезы его не вызвали обидной жалости в Куте; Аммон видел, что большего насилия над собой сделать нельзя. «Сгорел, сгорел человек,— думал Аммон,— слишком непосильное бремя обрушила на него судьба. Но скоро будет покой...»

— Итак,— сказал, успокаиваясь, Доггер,— вы делаете это, Аммон?

— Да, это моя обязанность, Доггер, я нежно люблю вас,— неожиданно для себя волнуясь более, чем хотел, сказал Кут,— люблю ваш талант, вашу борьбу и... последнюю твердость.

— Дайте-ка вашу руку! — попросил, улыбаясь, Доггер. Рукопожатие его было еще резко и твердо.

— Видите, я не совсем слаб,— сказал он.— Прощайте, беспокойная, воровская душа. Эльма отдаст вам картину. Я думаю,— наивно прибавил Доггер,— о ней будут писать...

Аммон и его подруга, худенькая брюнетка с подвижным как у обезьянки лицом, медленно прокладывали се-

бе дорогу в тесной толпе, запрудившей зал. Над головами их среди других рам и изображений стояла, готовая обернуться, живая для взволнованных глаз женщина; она стояла на дороге, ведущей к склонам холмов. Толпа молчала. Совершеннейшее произведение мира являло свое могущество.

— Почти невыносимо,— сказала подруга Кута.— Ведь она действительно обернется!

— О нет,— возразил Аммон,— это, к счастью, только угроза.

— Хорошо счастье! Я хочу видеть ее лицо!

— Так лучше, дорогая моя,— вздохнул Кут,— пусть каждый представляет это лицо по-своему.

ЗЕМЛЯ И ВОДА

I

— Разумеется, я пил молоко,— жалобно сказал Вуич,— но это первобытное удовольствие навязали мне родственники Глотать белую, теплую, с запахом навоза и шерсти, матерински добродетельную жидкость было мне сильно не по душе. Я отравлен. Если меня легонько прижать, я обрызгаю тебя молоком.

— Деревня?..— сказал я.— Когда я о ней думаю, колодезный журавль скрипит перед моими глазами, а пузатые ребятишки шлепают босиком в лужах. Ясно, тихо и скучно.

Вуич сдал карты. От нечего делать мы развлекались рамсом: игра шла на запись на десятки тысяч рублей. Я проиграл около миллиона, но был крайне доволен тем, что мои последние десять рублей мирно хрустят в кармане.

— Что же делать? — продолжал Вуич, стремительно беря взятку.— Я честно исполнил свои обязательства горожанина перед целебным ликом природы. Я гонялся за бабочками. Я шевелил палочкой навозного жука и сердил его этим до обморока. Я бросал черных муравьев к рыжим и кровожадно смотрел, как рыжие

разгрызали черных. Я ел дикую редьку, щавель, ягоды, молодые побеги елок, как это делают мальчишки, единственное племя, еще сохранившее в обиходе различные странные меню, от которых с неудовольствием отворачивается гурман. Я сажал на руку божьих коровок, приговаривая с идиотски-авторитетным видом: «Божья коровка — дождь или ведро?» — пока насекомое не удирало во все лопатки. Я лежал под деревьями, хихикал с бабами, ловил скользких ершей, купался в озере, среди лягушек, осоки и водорослей, и пел в лесу, пугая дроздов.

— Да, ты был честен, — сказал я, бросая семерку.

— А, надоело играть в карты! — вскричал Вуич. — Зачем я вернулся? — Он встал и, скептически поджав губы, исподлобья осмотрел комнату. — Эта дыра в шестом этаже! Этот больной диван! Эта герань! Этот мешочек с сахаром и зеленый от бешенства самовар, и старые туфли, и граммофон во дворе, и узелок с грязным бельем! Зачем я приехал?!

— Серьезно, — спросил я, — зачем?

— Не знаю. — Он высунулся наполовину в окно и продолжал говорить, повернув слегка ко мне голову. — Любовь! Вчера я в сумерках курил папиросу и тосковал. Я следил за дымными кольцами, бесследно уходящими в синий простор окна, — в каждом кольце смотрело на меня лицо Мартыновой. Потребность видеть ее так велика, что я непрерывно мысленно говорю с ней. Я одержим. Что делать?

— Гипноз...

— Оскорбительно.

— Работа...

— Не могу.

— Путешествие...

— Нет.

— Кутежи...

— Грязно.

— Пуля...

— Смешно.

— Тогда, — сказал я, — обратись к логике. — Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца. Ты безразличен ей, и этого для тысячи мужчин было бы совершенно довольно, чтобы повернуться спиной.

— Логика и любовь! — грустно сказал Вуич. — Я еще не старик.

Он сел против меня. В этот исторический день было светлое, легкое, лучистое утро. Я сидел в комнате Вуича, еще полный уличных впечатлений, привычных, но милых сердцу в хороший день: пестрота света и теней, цветы в руках оборванцев, улыбки и глаза под вуалью, силуэты в кофейне, солнце. Я внимательно рассматривал Вуича. У носа, глаз, висков, на лбу и щеках его легли, еще нерешительно и податливо, исчезая при смехе, морщины, но было уже ясно, что корни их — мысли — неистребимы.

— Мартынову, — сказал Вуич, — нужно понять и рассмотреть так, как я. Ты не видел ее совсем. Эта женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки — нежный и маленький. Она очень красива, Лев, но красота ее беспокойна, я смотрю на нее с наслаждением и тоской; она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины; она страшна в своей прелести, так как может свести жизнь к одному желанию. Она жестока; я убедился в этом, посмотрев на ее скупую улыбку и прищуренные глаза, после тяжелого для меня признания.

Он пристально смотрел на меня, как бы желая долгим, сосредоточенным взглядом заставить проникнуться его горем.

— Я пойду к ней, — неожиданно сказал Вуич. Он улыбнулся.

— Когда?

— Сейчас.

— Полно, полно! — возразил я. — Не надо, не надо, Вуич, слышишь, милый? — Я взял его руку и крепко пожал ее. — Разве нет гордости?

— Нет, — тихо сказал он и посмотрел на меня глазами ребенка.

Спорить было бесцельно. Отыскав шляпу, я догнал Вуича; он спускался по лестнице и обернулся.

— Пойдем вместе, Лев, — жалобно сказал он, — с тобой, конечно, я просижу сдержанно, отсутствие посторонних вызовет слезы, злобу и... бессильную страсть.

Я согласился. Мы перешли мост, вышли на Караванную и, не разговаривая более, приехали трамваем к

Исаакиевскому собору. Вунич, торопясь, покинул вагон первым. Я, выйдя, закурил папиросу, для чего мне пришлось немного остановиться, так что мой друг опередил меня по крайней мере на шестьдесят — восемьдесят шагов.

Я намеренно указываю эти подробности в силу значения их в наступившем немедленно вслед за этим снелаву.

II

Меня как бы ударили по ногам. Я упал, ссадив локоть, поднялся и растерянно посмотрел вокруг. Часть прохожих остановилась, из ворот выбежал дворник и тоже остановился, смотря мне в глаза. Я шатался. Вокруг, звеня, лопались, осыпаясь, стекла. Оглушительное сердцебиение заставило меня жадно и глубоко вздохнуть. Мягкий, решительный толчок снизу повторился, отдавшись во всем теле, и я увидел, что мостовая шевелится. Булыжники, поворачиваясь и расходясь, выскакивали из гнезд с глухим стуком. Толпа побежала.

— Что же это, что же это такое?! — слабо закричал я. Я хотел бежать, но не мог. Новый удар помутил сознание, слезы и тошнота душили меня. С купола Исаакиевского собора кружась неслись вниз темные фигуры — град статуй, поражая землю гулом ударов. Купол осел, разваливаясь; колонны падали одна за другой, рухнули фронтоны, обломки их мчались мимо меня, разбивая стекла подвальных этажей. Вихрь пыли обжег лицо.

Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины, — вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском проспекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир, — богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем ее протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня,

валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: «Ваня, я здесь!» Потерявшие сознание женщины лежали на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпиц исчез. На месте Полицейского моста блестела Мойка, вода захлестывала набережную, разливаясь далеко по мостовой. Движение здесь достигло неслыханных размеров. Десятки трамвайных вагонов, сойдя с рельс, загораживали проход, пожарные команды топтались на месте, гремя лестницами и крючьями, дрожали стиснутые потоком людей автомобили, лошади становились на дыбы, а люди, спасаясь или разыскивая друг друга, перелезали вагоны, ныряли под лошадей или, сжав кулаки, прокладывали дорогу ударами. Некоторые дома еще держались, но угрожали падением. Дом на углу улицы Гоголя обвалился до нижнего этажа, балки и потолки навесами торчали со всех сторон, под ногами хрустели стекла, фарфор, картины, ящики с красками, электрические лампы, посуда. Множество предметов, чуждых улице, появилось на мостовой — от мебели до женских манекенов. Отряды конных городских, крестясь, без шапок двигались среди повального смятения неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям.

Впервые я поразился пестротой и разнородностью толпы, окружавшей меня. Приказчики, дети, неизвестные, хорошо одетые, толстые и очень бледные люди, офицеры, плачущие навзрыд дамы, рабочие, солдаты, оборванцы, гимназисты, чиновники, студенты, отталкивая друг друга, падая и крича, бросались по всем направлениям, потеряв голову. Стремительное движение это действовало гипнотически. Глаза мои наполнились слезами, сила душевного потрясения разразилась истерикой, я бился головой о трамвайный вагон. Больше все-

го я боялся сойти с ума; боль в ушах, слабость и тошнота усиливались. Я стоял между прицепным и передним вагоном, встречаясь глазами с тысячью бессмысленных, тусклых взглядов толпы, пока не разразился третий удар. Я закрыл глаза. Вагоны, загредев, сдвинулись, сохранив мне, стиснутому ими до боли в плечах — жизнь, так как уцелевшие стены зданий, медленно и грозно склоняясь, рухнули вокруг Невского, сокрушая неистовую толпу, и свежий туман пыли скрыл небо.

Вдруг я очнулся, исчезло оцепенение, и настоящий животный страх хмелем плеснул в голову, приобщая меня к панике. Удары камней в стенки вагона почти разрушили их, и я уцелел чудом. Я понял, что единственная истина теперь — случайность, законы тяжести, равновесия и устойчивости более не оберегали меня, и я, по свойственному человеку стремлению к дисциплине материи, рвался в сокрушительном волнении города к неизвестно где существующим спасительным остаткам незыблемости. Я кинулся, работая локтями, вперед, к Мойке; это был инстинкт неудержимый и — увы! — слепой, так как многие во власти его нашли смерть.

Я не понимаю, как уцелело бесконечное множество людей, запрудивших улицы. Их было почти столько же, сколько трупов, пробираться между которыми было не так легко. Избегая ступать по мертвым и ползающим с раздробленными ногами, я проваливался в нагромождениях стропил, досок и кирпичей, рискуя сломать шею. Громадные исковерканные вывески гнулись подо мной с характерным железным стоном. С поникших, а местами упавших трамвайных столбов паутиной висела проволока, останавливая бегущих; как я узнал после, электрический ток в момент начала гибели Петербурга был выключен.

Я остановился у Мойки. Сознание отказывалось запечатлеть все виденное мной; любая из сцен, происходящих вокруг, взятая отдельно, в условиях повседневной жизни, могла бы вытеснить все впечатления дня, но сила трагизма их уничтожалась подавляющим, беспримерным событием, последствия которого каждый уцелевший переживал сам.

Я видел и запоминал лишь то, что, по необъяснимо-му капризу внимания, бросалось в глаза; все остальное

напоминало игру теней листвы, бесследно пропадая для памяти, лишь только я обращал взгляд на другие явления. Мало кто смотрел вниз, лица почти всех были обращены к небу, как будто дальнейшее зависело от голубого пространства, жуткого в своей ясной недостижимости. Мимо меня, спотыкаясь, пробежала старуха в дорогом разорванном платье; она прижимала к груди охапку сыплющихся из-под ее рук вещей, среди которых были, вероятно, ненужные теперь рюши и кружевные косынки. Мужчина, коротко стриженный, с красным затылком, сидел, закрывая лицо руками. На углу Мойки полуодетый молодой человек пытался поставить на ноги мертвую женщину и хмурился, не обращая ни на кого внимания. Несколько людей — по-видимому, семейство, — протягивая руки, ползли в щелке и мусоре к повисшему на выступе разрушенной стены человеку; он висел на камнях, подобно перекинутому через плечо полотенцу, лицом ко мне, — по его рукам обильно текла кровь. Извозчик возился около издыхающей лошади, снимая дугу; на той стороне канала городской стрелял из револьвера в группу убегающих проворных людей с котелками на головах. Крики, раздававшиеся вокруг, поражали не выразительностью слов, а звуками, утратившими всякое сходство с голосом человеческим.

«Землетрясение! — О, боже, о боже мой!» — ревело вокруг меня, соединившего свой крик с общим неистовством гибели. По колени в воде я остановился на краю набережной, скинул пиджак и поплыл на другую сторону. Волнение с зловещим глухим плеском бросало меня вперед, назад и опять вперед, пока я среди других плывущих не уцепился за остатки моста. Я вылез на мостовую и побежал, стремясь к Михайловскому скверу, где в случае нового сотрясения почвы площадь могла послужить некоторой защитой от падающих вокруг зданий.

III

Теперь, когда я пишу это, лежа в одной из гелсингфорских больниц (русские города, заставляя вспоминать разрушенный С.-Петербург, внушают мне страх), меня занимает и служит предметом постоянного удивления то, что немногие, определенные и удержанные сознанием мысли, казавшиеся в памятный день 29

июня грандиозными, вполне соответствующими неожиданностью своей размерам события, так элементарны, бессильны и фантастичны. Я думал, например, о таких пустяках, как седые волосы, размышляя, поседею ли я, или торопливо соображал, какой город будет теперь столицей. Любопытство или, вернее, неотразимая притягательность в ужасе — ужаса еще большего, представление о границах возможного для человеческого рассудка, убеждала меня в фактах столь странных, что объяснить это можно лишь полным нарушением в те моменты душевного равновесия. Нисколько не противореча себе и слепо веря призракам грандиозного, единственно возможным в то время, потому что происходили вещи неслыханные, я последовательно переходил от столкновения земного шара с кометой к провалу европейского материка, остановке вращения земли вокруг оси, наконец — к пробуждению неисследованной силы материи во всех ее состояниях, природного разрушительного начала, получившего от неизвестных причин загадочную свободу. Я решил также, что все новые дома должны упасть раньше других. Кроме того, я болезненно хотел знать, как выглядит дом на Невском проспекте между Знаменской и Надеждинской: в этом доме я жил. Падаящий Исаакиевский собор уничтожил мгновенно всякое воспоминание о Вунче и Мартыновой, и я вспомнил о них только вечером, но об этом расскажу после.

У Малой Конюшенной я увидел священника, немолодого, с утомленно-полузакрытыми глазами полного человека без шляпы; он стоял на упавшем ребром обломке стены и, прижимая к груди ярко блестящий крест, говорил громким повелительным голосом: «Пришло время. Время... Если вы понимаете...» Он повторял эти слова как бы в раздумьи. Бледный городской, трясаясь, бросился на меня и, сильно ударив по лицу, разбил губу. Я ускользнул от него, как помню, без удивления и оторопи; за других некогда было думать. Полуодетая, с внимательным и красивым лицом барышня остановила меня, схватив за руку, но, осмотрев, исчезла. «Я думала, это ты», — сказала она. Другая спросила: «Где мама и Вовушка?» Хулиганы рвали из ушей женщин серьги, показывая ножи, рылись в грудях вещей, или, с деловым видом обыскивающих арестанта надзирателей, шарили у рыдающих людей в карманах, и жертвы это-

го беспримерного циничного грабежа относились к насилию безучастно, так же как горячечный больной не замечает присутствующих. Я, опять-таки не удивляясь, словно так было всегда, смотрел на грабителей, но, запнувшись об одного из них, обиравшего, стоя на коленях, труп офицера, вздрогнул, поднял кирпич и разможил оборванцу голову.

Я находился теперь около Казанского сквера. Земля время от времени легонько подталкивала снизу опрокинутый город, как бы держа его на весу в минутном раздумьи. Таинственный трепет земли, напоминающий внезапный порыв ветра в лесу, когда шумит, струясь и затихая, листва, возобновлялся с ничтожными перерывами. В красной пыли развалин, скрывающей горизонт, медленно ползли тучи дыма вспыхивающих пожаров. Казанский собор рассыпался, завалил канал; та же участь постигла прилегающие кварталы. Скопление народа остановило меня.

В этот момент мне довелось увидеть и пережить то, что теперь в истории этого землетрясения известно под именем «Невской трещины». Я стал падать, не чувствуя под ногами земли, и, перевернувшись на месте, сунулся лицом в камни, но тотчас же вскочил и увидел, что падение было общим,— никто не устоял на ногах. Вслед за этим звук, напоминающий мрачный глубокий вздох, пронесся от Невы до Николаевского вокзала, буквально расколов город с левой стороны Невского. Застыв на месте, я видел ползущий в недра земли обвал; люди, уцелевшие стены домов, экипажи, трупы и лошади, сваливаясь, исчезали в зияющей пустоте мрака с быстротой движения водопада. Разорванная земля тряслась.

— Это сон! — закричал я; слезы текли по моим щекам. Я вспомнил, что после Мексиканского землетрясения меня душил ночью кошмар — свирепые образы всеобщего разрушения; тогда снилось мне в черном небе огненное лицо бога, окруженное молниями, и это было самое страшное. Я смотрел вверх с глухой надеждой, но небо, отливавшее теперь тусклым свинцовым блеском, было небом действительности и отчаяния.

Оглянувшись назад, я, к величайшему удивлению своему, заметил одноцветную темную толпу с темными лицами, тесным рядом избегающую на отдаленные груды камней, подобно солдатам, кинувшимся в атаку; за

странной, так легко и быстро движущейся этой толпой не было ничего видно, кроме темной же, обнимающей горизонт, массы; это мчалась вода. Различив наконец белый узор гребней, я отказываюсь дать отчет в том, как и в течение какого времени я очутился на вершине полуразрушенного фасада дома по набережной Екатерининского канала,—этого я не помню.

Я лежал плашмя, уцепившись за карниз, на острых выбоинах. Снизу, угрожая размыть фундамент, вскакивая и падая, с шумом, наводящим смертельное оцепенение, затопляя все видимое, рылись волны. Вода, разбегаясь крутящимися воронками, ринулась по всем направлениям; мутная, черная в тени, поверхность ее мчала головы утопающих, бревна, экипажи, дрова, барки и лодки. Ровный гул убегающих глубоких потоков заглушил все; в неистовом торжестве его вспыхивали горем смерти пронзительные крики людей, захваченных наводнением. Вокруг, на уровне моих глаз, вблизи и вдали, виднелись по редким островкам стен ускользнувшие от воды жители. Высоко над головой парили гатчинские аэропланы. Уровень губительного разлива поднимался незаметно, но быстро; между тем казалось, что стена, на которой лежу я, оседает в кипящую глубину. Я более не надеялся, ожидая смерти, и потерял сознание.

IV

Это была тягостная и беспокойная тьма. Вздохнув, я открыл глаза и тотчас же почувствовал сильную боль в груди от долгого лежания на узком выступе, но не пошевелился, опасаясь упасть. Океан звезд сиял в черном провале воды, отсвечивая глухим блеском. Тревожный ропот замирающего волнения окружал спасшую меня стену; в отдалении раздавались голоса, крики, вздохи, плеск невидимых весел; иногда, бессильно зарываясь в темный простор, доносился протяжный вопль.

Измученный, я закричал сам, моля о спасении. Я призывал спасителя во имя его лучших чувств, ради его матери возлюбленной, обещал неслыханные богатства, проклинал и ломал руки. Совсем обессилев, я мог лишь наконец хрипеть, задыхаясь от ярости и тоски. Прислушавшись в последний раз, я умолк; холодное равнодушие к жизни охватило меня; я апатично по-

смотрел вниз, где, не далее двух аршин от моих глаз, загадочно блестели тонкие струи течения, и улыбнулся спокойно лицу смерти. Я понял, что давно уже пережил и себя и город, пережил еще в те минуты, когда сила безумия потрясла землю. Я знал, что навсегда останусь теперь, если сохраню жизнь, насильственно воскрешенным Лазарем с тяжестью смертельных воспоминаний, навеки прикованный ими к общей братской могиле.

Глубоко, всем сердцем, печально и торжественно желая смерти, я приподнялся на осыпающихся, нетвердых под ногами кирпичях, встал на колени и повернулся лицом к Неве, прощаясь с ее простором и берегами, казавшимися город, полный своеобразного очарования севера.

Я соединил руки, готовясь уйти из мира, как вдруг увидел тихо скользящую лодку; величину и очертания ее трудно было рассмотреть в темноте, тем не менее движущееся черное — чернее мрака — пятно, мерно брякавшее уключинами, могло быть лишь лодкой.

Я остановился, или, вернее, привычка к жизни оставила меня на краю смерти. В лодке сидел один человек, спиной ко мне, и усиленно греб, стараясь держаться к стене; несколько раз весла задели о камни с характерным скребущим звуком; причины осторожности плывущего мне были непонятны, так как успокоившееся, хотя и сильное течение развertyвалось достаточно широко даже для парохода. Вид работающего веслами человека подействовал на меня, как вино; энергия, желание вновь помериться с обстоятельствами вернулись ко мне, едва я заметил подобное себе существо, находящееся в сравнительной безопасности и, конечно, плывущее не без цели. Я снова захотел жить; в ту ночь случайное впечатление — например, слово — действовало магически.

Гребца мне следовало окликнуть, но я, не знаю почему, воздержался от этого, решив подать голос именно в тот момент, когда лодка будет совсем близко. Я снова лег, и меня, вероятно, можно было в темноте счесть за кусок стены. В это время, мигая красным и зеленым огнем, прошумел вдаль пароход, направляясь к Коломенскому району; человек поднял весла и, оглянувшись, прижал лодку к стене так, что я при желании мог коснуться рукой его головы. Он избегал быть замеченным

и внушил мне сильное подозрение. Я подумал, что этот человек, если бы захотел, мог ехать не в одиночестве, спасая других; без сомнения, передо мной сидел мародер, но, не желая брать слишком большой ответственности за неповинного, быть может, человека, я приподнялся и окликнул его вполголоса: «Эй, снимите меня на лодку!»

Гребец подскочил, ткнул веслом в стену и скрылся бы в десять секунд, но я оказался быстрее его. Вскопив на плечи этому человеку, я стиснул его за горло так сильно, что он выпустил весла, откинулся на борт и захрипел. Я оглушил его ударом весла и, напрягая все силы, выбросил в воду; он замахал руками, стараясь ухватиться за борт, но это не удалось. Я повернул лодку, отъехал и заработал веслами, стараясь как можно скорее покинуть место невольного своего плена. В лодке, когда я боролся с гребцом, мои ноги ступали на что-то скользкое и хрустящее; с помощью спички мне удалось рассмотреть большое количество ссыпанных в мешок золотых и серебряных вещей: столового серебра, часов, украшений и церковных сосудов.

Сообразив, что наконец дальнейшее в значительной степени зависит от меня самого, благодаря свободе передвижения, я вспомнил о Вуиче. Адрес Мартыновой мне был случайно известен, но какой горькой иронией звучали слова «адрес», «дом», «улица»!

Протяжно вздыхал ветер, холодный, как рука мертвеца; заморосило, и я трясся в ознобе, пытаюсь согреть дрожащее от холода и изнурения тело сильными взмахами весел, но это не помогло; мокрый и полуголый, я чувствовал себя плохо. Плывая среди неподвижных, напоминающих остановившийся ночной ледоход, каменных заграждений — остатков вчера еще крепких населенных домов, — я стал осматриваться и кричать: «Вуич! Ты жив?» Я не помнил, второй или третий дом от угла был тот, где жила Мартынова, но, вероятно, находился вблизи него и перестал грести, крича все громче и громче.

Мой призыв не остался без ответа, но то отвечал не Вуич. Меня звали со всех сторон. Некоторые, желая указать место своего ожидания, бросали кирпичи в воду, но я не мог спасти всех — лодка поднимала не более десяти человек.

Я направился к трубам уцелевшего среди других дома и еще издали, по изменяющимся в темноте очертаниям крыши, понял, что на ней нет свободного места: там находились, вероятно, сотни людей. Подъехать ближе я не решился, опасаясь, что в лодку бросятся все, топя ее, себя и меня. Скоро, заметив плывущего ко мне человека, я втащил его в лодку; он, молча, не обращая на меня внимания, лег ничком и не шевелился.

— Вуич! — снова закричал я, плавая спиральными кругами и равномерно их увеличивая, с надеждой, что в одну из кривых попадет наконец исчезнувший друг.

Возле Государственного совета в лодку неизвестно с какого места совершенно неожиданно прыгнул еще один человек, выбив из моих рук весло, упал, поднялся и прицелился в меня револьвером, но, видя, что я не угрожаю ему и не собираюсь выбросить его вон, сел, не выпуская из рук оружия. Еще двое, вытянув шеи, кричали, стоя по колена в воде; я посадил их: это были две женщины.

— Куда вы едете? — спросил человек с револьвером.

— Я ищу знакомых.

— Надо выехать из города, — нерешительно сказал он, — на твердую землю.

Я не ответил. Поднимать спор было опасно: четверо против одного могли заставить плыть, куда хотят, приди им в голову та же мысль, что и человеку с револьвером, а я надеялся спасти Вуича, если он жив.

Человек с револьвером настойчиво предложил ехать по линии Николаевской железной дороги.

— Подождем парохода, — возразил я. — Никто не может сказать, как велика площадь разлива.

Я стал торопливо грести, направляясь к прежнему месту поисков. Все молчали. Фигуры их, дремлющих сидя, понурился головы, делались яснее, отчетливее; наконец, я стал различать уключины, весла и борта лодки: светало; призрачный пар скрыл воду, мы плыли в тусклом полусвете тумана, среди розовых от зари камней.

Я наклонился. Лицо, смутно напоминающее лицо Вуича, ввалившимися глазами смотрело на меня с кормы лодки. Это был человек, лежавший ничком; я взял его, как вы помните, первым. Голый до пояса, он сидел, зажав руки между колен. Я долго всматривался в

его тусклое, искаженное неверным светом зари лицо и крикнул:

— Вуич!

Человек безучастно молчал, но по внимательно устремленным на меня глазам я видел его желание понять, чего я хочу. Он поднял руку; на пальце сверкнуло знакомое мне кольцо; это был Вуич.

Я сделал ему знак подойти; он переполз через заснувшего человека с револьвером и вплотную ко мне, стоя на четвереньках, поднял голову. Вероятно, и меня трудно было узнать, так как он не сразу решился произнести мое имя.

— Лева! — сказал наконец он.

Я кивнул. Ни его, ни меня не удивило то, что мы встретились.

— Оглох, — тихо произнес он, сидя у моих ног. — Меня это застигло на лестнице. Мартынова, когда я вбежал, не могла двинуться с места. Я вынес ее, а на улице она меня оттолкнула.

Я спросил глазами, что это значит.

— Руками в грудь, — пояснил Вуич, — так, как отталкивают, когда боятся или ненавидят. Она не хотела быть мне ничем обязанной. Я помню ее лицо.

Он видел, что мне затруднительно спрашивать знаками, и продолжал:

— Последнее, что я услышал от нее, было: «Никогда, даже теперь! Уходите, спасайтесь». Она скрылась в толпе; где она — жива или нет? — не знаю.

Он долго рассказывал о том, как остался в живых. То же самое происходило со множеством других людей, и я слушал рассеянно.

— Теперь ты забыл ее? — крикнул я в ухо Вуичу.

Он смутно понял, скорее угадал мой вопрос.

— Нет, — ответил он, вздрагивая от холода, — это больше, чем город.

В лодке все, кроме нас, спали.

Я кружил по всем направлениям; миноносцы, катера, пароходы и баржи сновали над Петербургом, но мы еще не попали в поле их зрения. Ясное утро расцветило воду живым огнем, золотом и лазурью, а я, далекий от желаний любоваться ужасной красотой разрушения, думал о горе живых, более страшном, чем покой мертвых,

о себе, Мартыновой, Вуиче, жалея людей, равно бес-
сильных в страсти и гибели.

Вскоре незаметно для самого себя я уснул. Вуич уже
спал. Меня разбудил гудок кронштадтского парохода.
Нас окликнули и взяли на борт.

СЛАДКИЙ ЯД ГОРОДА

I

Сын старика Эноха охотился на берегах мутной
Адары, а старик промышлял в горных увалах, близ Вад-
ра. Оба месяцами не видались друг с другом и мало
нуждались в этом; сын, как и отец, привык к одиноче-
ству. Изредка встречались они у скупщика, жившего в
небольшой деревушке, верстах в пятистах от города.
Сыну Эноха — Тарту шел восемнадцатый год, когда,
внезапно остановившись над куньей норой, он глубоко
задумался, отозвал лаявшую у пня собаку, вздохнул,
сел на пень и повесил голову.

Удивляясь сам столь внезапно поразившему его
грустному наваждению, молодой дикарь осмотрелся кру-
гом, пытаясь дать себе отчет в своем настроении. Лес,
где он родился, вырос и чувствовал себя дома, показал-
ся ему слишком тесным, хмурым, однообразным; куни-
ца, хотя он еще и не видал ее — второсортной, а
день — долгим. Сначала он это отнес к тому, что побы-
вал недавно в болотах Зурбагана, где, по уверениям
стариков, можно отравиться на несколько дней испаре-
ниями цветов особого лютика, известного под названи-
ем «Крокодиловой жвачки», но голова его, как бывает
в таких случаях, не болела, а, наоборот, особенно све-
жо и яено сидела на здоровых плечах.

Затем Тарт попробовал объяснить грусть вчерашним
промахом по козе или, в худшем случае, плохим сном,
но и по стаду коз не сделал бы он сейчас ни одного
выстрела, и сон был из средних. Обеспокоенный Тарт
вздохнул, затем, достав трубку, пощипал начинающие
пробиваться усы и стал курить.

Собака нервно переминалась с ноги на ногу, рассматривая хозяина молитвенно-злыми глазами, и тонко скулила; запах куницы нестерпимо томил ее, но Тарт продолжал курить. Куница тем временем передохнув, сидела съежась в норе и обдумывала план побега, удивляясь небывалой сентиментальности своего врага. Тарт почесал за ухом, чувствуя, что ему ужасно хочется неизвестных вещей. Весь арсенал своих несложных желаний перебрал он, но все это было не то. Неопределенные сказочные туманы парили в его воображении; где-то далеко за лесом, неизвестно с какой стороны, манили его невнятные голоса. Хотеть — и не знать чего? Томиться неизвестно почему? Грустить, не зная о чем? Это было слишком новое и сильное ощущение.

Плюнув, к отчаянию собаки, на кунью нору и встав, Тарт медленно, полусознательно направился по тропинке к реке, желая рассеяться. Кроме отца, Тарт знал еще одного умного человека — скупщика мехов Дрибба, бывавшего на своем веку в таких местах, о которых сто лет сказки рассказывают. Дрибб жил в деревушке по течению Адары ниже того места, где находился Тарт, верст пять, и молодой человек думал, что его, Дрибба, авторитет куда выше в таком тонком и странном случае, чем авторитет бродяги Хависсо, известного своей склонностью к размышлениям. Встревоженный, но отчасти и заинтригованный непонятной своей хандрой, Тарт, считая себя человеком незаурядным, так как попадал без промаха в орех на тридцать шагов, перебрал всех знакомых и лишь Дрибба нашел достойным доверия; вспомнив же, что скупщик умеет читать газеты и носит очки — предмет ученого свойства, — почувствовал себя уже легче.

II

Тарт посадил в лодку собаку и отправился к Дриббу. Недолгий путь прошел в молчаливых сетованиях; охотник хмуро брюзжал на берега, реку, солнце, хохлатую цаплю, стоящую у воды, плывущее дерево, собаку и все, что было для него видимым миром. Собака печально лежала на дне, уткнув морду в лапы.

Тарт вспомнил отца, но пренебрежительно сморщился.

— Этот только и знает, что качать головой,— сказал он, настроенный, как большинство родственников, скептически по отношению к родственному взаимному пониманию. — Попадись я ему сейчас — одна тоска. Старик начнет качать головой, и я пропал; не могу видеть, как он щелкает языком и покачивается.

Эпох действительно имел привычку во всех трудных случаях скорбеть и после долгого молчания изрекать грозным голосом: «Не будь олухом, Тарт, возьми мозги в руки!» В иных случаях это, действуя на самолюбие, помогало, но едва ли могло пособить теперь, когда весна жизни, вступая в свои права, заставляет молодого великана повесить голову и стонать.

Выбросив лодку на песок ужасным швырком, Тарт подошел к дому Дрибба. Это было нескладное одноэтажное здание, огороженное частоколом, с кладовыми в дальнем углу двора. Слегка смущаясь, так как не в лесных обычаях ходить среди дня в гости, Тарт стукнул прикладом в дверь, и Дрибб открыл ее, оскалив желтые зубы, что заменяло улыбку. Это был человек лет пятидесяти, без седины, с длинными черными волосами, бритый, с сизым от алкоголя носом; испитое треугольное его лицо быстро меняло выражение, оно могло быть сладким до отвращения и величественным, как у судьи, на протяжении двух секунд. Очки придавали ему вид человека занятого, но доброго.

— Здравствуйте, юноша! — сказал Дрибб. — Я ждал вас. Как дела? Надеюсь поживиться от вас свежими шкурками, да? Дамы в Париже и Риме беспокоены. Вы знаете, какие это очаровательные создания? Входите, пожалуйста. Что я вижу! Вы налегке? Не может быть! Вы, вероятно, оставили добычу в лесу и спустите ее не мне, а другому?! Как это непохоже на вас! Или вы заленились, но что скажут дамы, чьи плечи привыкли кутаться в меховые накидки и боа? Что я скажу дамам?

Болтая, Дрибб придвинул охотнику стул. Тарт сел, осматриваясь по привычке, хотя был у Дрибба по крайней мере сто раз. На стенах висели пестрые связки шкур, часы, карты, ружья, револьверы, плохие картинки и полки с книгами; Дрибб не чуждался литературы. В общем, помещение Дрибба представляло собою смесь охотничьей хижины и походной конторы.

Тарт, потупясь, размышлял, с чего начать разговор; наконец сказал:

— А вот товару я на этот раз вам не захватил.

— Плохо. Прискорбно.

— Ночью какой здоровый был ливень, знаете?

— Как же. Юноша, направьте-ка на меня ваши глаза.

— А что?

— Нет, ничего. Продолжайте ваш интересный рассказ.

— Лебяжьи шкурки...— начал Тарт, смутился, упал духом, но скрепя сердце проговорил, смотря в сторону:

— А бывало вам скучно, Дрибб?

— Скучно? Пф-ф-ф!.. сколько раз!

— Отчего?

— Более всего от желудка,— строго произнес Дрибб.— Я, видите ли, мой милый, рос в неге и роскоши, а нынешние мои обеды тяжеловаты.

— Неужели? — разочарованно спросил Тарт.— Значит, и у меня то же?

— А с вами что?

— Не знаю, я за этим к вам и пришел: не объясните ли вы? Неизвестно почему взяла меня сегодня тоска.

— А! — Дрибб, вытерев очки, укрепил их снова на горбатом переносье и, подперев голову кулаками, стал пристально смотреть на охотника.— Сколько вам лет?

— Скоро восемнадцать, но можно считать все восемнадцать; три месяца — это ведь не так много.

— Так,— заговорил как бы про себя Дрибб,— парню восемнадцать лет, по силе — буйвол, неграмотный, хорошей крови. А вы бывали ли в городах, Тарт?

— Не бывал.

— Видите ли, милый, это большая ошибка. Ваш дедушка был умнее вас. Кстати, где старик Энох?

— Шляется где-нибудь.

— Верно, он говорил вам о деде?

— Нет.

— Ваш дед был аристократ, то есть барин и чудаков. Он разгневался на людей, стал охотником и вырастил такого же, как вы, дикаря — Эноха, а Энох вырастил вас. Вот вам секрет тоски. Кровь зовет вас обратно в

город. Ступайте-ка, пошляйтесь среди людей, право, хорошо будет. Должны же вы, наконец, посмотреть женщин, которые носят ваших бобров и лисиц.

Тарт молчал. Прежний, сказочный, блестящий туман — вихрь, звучащий невнятным голосами, поплыл в его голове, было ему и чудно и страшно.

— Так вы думаете — не от желудка? — несмело произнес он, подняв голову. — Хорошо. Я пойду, схожу в город. А что такое город — по-настоящему?

— Город? — сказал Дрибб. — Но говорить вам о том, что толковать слепому о радуге. Во всяком случае, вы не раскаетесь. Кто там? — и он встал, потому что в дверь постучали.

III

Вошедший подмигнул Дриббу, швырнув на стол двух роскошных бобров, и хлопнул по плечу Тарта. Это и был Энох, маленький худощавый старик с непередаваемо свежим выражением глаз, в которых суровость, свойственная трудной профессии охотника, уживалась с оттенком детского, наивного любопытства; подобные глаза обыкновенно бывают у старых солдат-служак, которым за походами и парадами некогда было думать о чем-либо другом. Энох, увидев сына, обрадовался и поцеловал его в лоб.

— Здравствуй, старик, — сказал Тарт. — Где был?

— Потом расскажу. Ну, а ты как?

— Энох, сколько вы хотите за мех? — сказал Дрибб. — Торгуйтесь, да не очень, молодому человеку нужны деньги, он едет пожить в город.

— В город? — Энох медленно, точно ворюя ее сам у себя, снял шапку и, перестав улыбаться, устремил на сына взгляд, полный тяжелого беспокойства. — Сынишка! Тарт!

— Ну, что? — неохотно отозвался юноша. Он знал, что старик уже качает головой, и избегал смотреть на него.

Голова Эноха пришла в движение, ритмически, как метроном, падала она от одного плеча к другому и обратно. Это продолжалось минуты две. Наконец старик погрозил пальцем и крикнул:

— Не будь олухом, Тарт!

— Я им и не был,— возразил юноша,— но что здесь особенного?

— Ах, Дрибб! — сказал Энох, в волнении опускаясь на кровать.— Это моя вина. Нужно было раньше предупредить его. Я виноват.

— Пустяки,— возразил Дрибб, с серьезной жадностью в глазах глядя на пушистых бобров.

— Тарт — и вы, Дрибб... нет, Дрибб, не вам: у вас свой взгляд на вещи. Тарт, послушай о том, что такое город. Я расскажу тебе, и если ты после этого все же будешь упорствовать в своем безумстве — я не стану возражать более. Но я уверен в противном.

Неясные огоньки блеснули в глазах Тарта.

— Я слушаю, старик,— спокойно сказал он.

— Дрибб, дайте водки!

— Большой стакан или маленький?

— Самый большой, и чтобы стекло потоньше, у вас такой есть.

Скупщик достал из сундука бутылку и налил Эноху. Тарт нетерпеливо смотрел на отца, ожидая, когда он приступит к рассказу о городе, который уже мучил и терзал его любопытство.

Дрибб закурил трубку и скрестил на груди руки: он слишком хорошо знал, что такое город. Но и ему было интересно послушать, за что, почему и как Энох ненавидел все, кроме пустыни.

— Мальчик,— сказал Энох, поглаживая бороду,— когда умирал мой отец, он подозвал меня к себе и сказал: «Мой сын, поклянись, что никогда твоя нога не будет в проклятом городе, вообще ни в каком городе. Город хуже ада, запомни это. А также знай, что в городе живут ужасные люди, которые сделают тебя несчастным навек, как сделали они когда-то меня». Он умер, а я и наш друг Канабелль зарыли труп под Солнечной скалой. Мы, я и Канабелль, жили тогда на берегу Антоннилы. Жгучее желание разгорелось во мне. Слова отца запали в душу, но не с той стороны, куда следует, а со стороны самого коварного, дьявольского любопытства. Что бы ни делал я — принимался ловить рыбу, ставить капканы или следить белок — неотступно стоял передо мной прекрасным, как рай, видением город, и плыли над ним золотые и розовые облака, а по

вечерам искусно выпрашивал я Канабелля, как живут в городе, он же, не подозревая ничего, рисовал передо мной такие картины, что огонь шумел в жилах. Видел я, что много там есть всего. Ну... через месяца полтора плыл я на пароходе в город; не зная, какие мне предстоят испытания, я был весел и пьян ожиданием неизвестного. Со мной, как всегда, были моя винтовка и пистолеты. Наконец, на третий день путешествия, я слез вечером в Сан-Риоле.

Первое время я стоял среди площади, не зная, куда идти и что делать. Множество народа суеилось вокруг, ехали разные экипажи, и все это было обнесено шестиэтажными домами, каких я никогда не видал. Долго бы я стоял и смотрел, как очарованный, на уличную толпу и магазины, если бы меня не ударило дышлом в бок; отскочив, я пошел, не знаю куда. В то время, когда я остановился у одного окна, где был выставлен стул с золотыми ножками, ко мне подошел бравый мужчина, одетый как граф, и сказал, кланяясь: «Вы, должно быть, первый раз в этом городе?» Я сознался, что так. «Я очень люблю молодых людей,— сказал он,— пойдемте, я покажу вам чудесную гостиницу». Мы познакомились, а он взял у меня взаймы половину моих денег, потому что сам должен был на другой день получить миллион. Сдержав обещание указать гостиницу, он подвел меня к чудесно освещенному дому и попрощался, сказав, что принесет деньги завтра к полудню. Я ударил в дверь гостиницы прикладом ружья и потребовал, чтобы меня впустили.

На стук раздались звонки, послышалась беготня, и несколько лакеев выросли передо мной. «Что имеете вы сказать губернатору?» — спросил один. Я сказал им, что если гостиницей заведует губернатор, прошу его пустить меня за хорошую плату переночевать. Тогда один из этих пигалиц захохотал, нахлобучил мне шапку на нос и щелкнул ключом, и все скрылись, крича: «Здесь живет губернатор!» — а я, вспыхив, готов был стрелять в них, но было уже поздно и, по совести, следовало бы убить обманщика-графа.

Чрезвычайно расстроенный, направился я дальше по улице, как вдруг услышал музыку и пение. Передо мной были украшенные флагами и фонарями ворота; тут же стояла кучка народа. Приблизившись, я спросил, что

здесь такое. Все очень долго и внимательно смотрели на меня, наконец, почтенного вида человек, ласково улынувшись, объяснил мне, что это театр и что здесь можно видеть за деньги удивительные и приятные вещи. Я ничего не понял, но, заинтересовавшись, купил билет и направился, по указанию очень смущавшего меня своими услугами почтенного человека, в большой зал. Оглянувшись, я увидел, что за мной идет целая толпа народа и все смотрят на меня; пожав плечами, я решил не обращать на них внимания. Я сел неподалеку от большой стены с нарисованными на ней водопадами, и все, кто шел, расселись вокруг, указывая на меня пальцами. Смущенный, я упорно продолжал смотреть прямо перед собой, держа винтовку между колен, на всякий случай.

Наконец, подняли стену, заиграла музыка, и я увидел на небольшой площадке отъявленного по наружности мерзавца, который, спрятавшись за углом дома, кого-то поджидал. Очень скоро из переулка вышла прехорошенькая женщина; обращаясь ко мне, она сказала, что очень боится идти одна, но надеется на бога. Я хотел уже было предложить ей свои услуги и встал, но в это время показался ее знакомый, должно быть, жених, Эмиль, который утешил ее, сказав, что ее отец вернулся, а мамаша выздоровела; и они поцеловались при всей публике; тогда мерзавец, с которого я не спускал глаз, ловким выстрелом из пистолета свалил Эмиля и, подхватив упавшую в обморок девушку, хотел утащить ее, но я, быстро прицелившись, всадил ему в ногу пулю; я не хотел убить его, дабы его повесили. Разбойник закричал страшным голосом и упал, а девушка, моментально очнувшись, бросилась к нему, плача и обнимая его.

Не успел я удивиться ее странному поведению, как меня крепко схватили со всех сторон, вырвали ружье и повели из театра вон. Сначала я думал, что то приятели разбойника, но потом выяснилось, что эти люди так же, как и я, пришли за деньги посмотреть на злодейство. Я не понимал такого скверного удовольствия. Долго тащили меня по улицам, называя сумасшедшим, дикарем, дураком и как им хотелось, пока не ворвались все в пустую комнату одного дома, куда скоро пришел главный полицейский и стал меня допрашивать. На все

его вопросы я отвечал, что немыслимо было поступить иначе.

Мы долго спорили, и мало-помалу я увидел, что все уже не сердятся, а смеются. Полицейский сказал:

— Дорогой мой, все, что вы видели, происходит не на самом деле, а как будто на самом деле. Эти люди, в которых вы стреляли, получают жалованье за то, что прикидываются разбойниками, графами, нищими и так далее; чем лучше введут в обман, тем больше их любят, а зла они никому не делают.

Тут все наперерыв стали объяснять мне, и я все понял.

— Однако,— возразил я, не желая сдаваться сразу,— хорошо ли поступил тот граф, который сегодня выманил у меня деньги и привел к дому губернатора вместо гостиницы?

Все пожелали узнать, в чем дело, и заставили описать наружность графа. Оказалось, что это мошенник, и его давно ищет полиция, и старший полицейский обещал мне скоро вернуть деньги. После этого кое-кто из публики отвел меня в настоящую гостиницу, где я и уснул, очень довольный роскошным помещением.

Мне уже начинало становиться страшно жить в городе, но я, устыдившись своего малодушия, решил жить до тех пор, пока не узнаю всего. Деньги мне, поймав мошенника, возвратили через старшего полицейского, который также сказал, что подстреленный мной неопасно актер выздоровел и ругает меня. Прожив все деньги, я поступил рабочим на мыловаренный завод, где мне приходилось грузить ящики с товаром. К тому времени я несколько осмотрелся и знал уже многое. Товарищи очень любили меня, я рассказывал им о лесах и озерах, животных и птицах и обо всем, чего нет в городе. Но, на мою беду, приехал хозяин. Однажды я пристально осмотрел его плотную фигуру, шагавшую по двору с пестушиной важностью, и продолжал заниматься своим делом, как вдруг, подбежав ко мне, он стал кричать, почему я ему не кланяюсь. Я, оторопев сначала, сказал, что мы не знакомы, а если он хочет познакомиться, пусть скажет об этом. Он едва не умер от гнева и не задохся. Долго толковал он мне, что все рабочие должны ему кланяться. «Сударь,— сказал я,— я делаю свое дело за

деньги и делаю исправно, этим наши обязательства кончены, что вы еще хотите?» И, действительно, я никак не мог понять, в чем дело. «Грубиян,— сказал он,— мо-локосос!» — «Сударь,— возразил я, подходя к нему,— у нас такие вещи решаются в лесу винтовками. Не хотите ли прогуляться?» Он убежал, я же рассердился и покинул завод.

И вот на каждом почти шагу, Тарт (налейте мне еще стаканчик, Дрибб!), убеждался я, что в городе все устроено странно и малопонятно. Лгут, обманывают, смеются, презируют людей ниже или беднее себя и лижут руки тем, кто сильнее. А женщины! О господи! Да, я был влюблен, Тарт, я познакомился с этой коварной девушкой вечером на гулянье. Так как она мне понравилась, то я подошел к ней и спросил, не желает ли она поговорить со мной о том, что ей более всего приятно. Она объяснила, что ей приятно разговаривать обо всем, кроме любви. Тогда я стал рассказывать ей о силках и о том, как делают челноки. Она подробно расспрашивала меня о моей жизни и, наконец, осведомилась, был ли я когда-нибудь влюблен, но так как мне о любви говорить было запрещено ею же самой, я счел этот вопрос просто желанием испытать меня и свернул на другое.

Девушка эта была портниха. Мы условились встретиться на следующий день и стали видаться часто, но я, хотя и любил ее уже без памяти, однако молчал об этом.

— Энох,— сказала она как-то раз,— вы, может быть, любите меня?

Я пожал плечами.

— Не могу говорить об этом.

— Почему?

— Вы не желаете.

— Вы с ума сошли! — Она недоверчиво посмотрела на меня.

— Я помню всегда, что говорю,— возразил я,— а вы забыли. Две недели назад вы выразили желание не говорить о любви.

— Хм! — Она качала головой. — Нет, теперь можно, Энох, слышите?

— Хорошо. Я страшно люблю вас. А вы меня?

— Не знаю...

Я ужасно удивился и спросил, как можно не знать таких вещей. Далее мы поссорились. Она твердила, что, может быть — любит, а может быть — не любит и не знает даже, почему «может быть», а не «да» или «нет».

Мне стало грустно. Совершенно я не мог понять этого. Однако после этого мы продолжали видеться, и я как-то спросил: знает ли она, наконец, теперь?

— Тоже не знаю! — сказала она и громко расхохоталась.

Рассерженный, я встал.

— Мне нечего тогда больше затруднять вас, — заявил я. — Я потерял надежду, что вы когда-нибудь узнаете такую простую вещь. Прощайте.

Я повернулся и пошел прочь с горем в душе, но не обращая внимания на ее крики и просьбы вернуться. Я знал, что если вернусь, опять потянется это странное: «знаю — не знаю», «люблю — не люблю», — я не привык к этому.

И вот я затосковал. Потянуло меня снова в пустыню, которая не обманывает и где живут люди, которые знают, что они сделают и чего хотят. Надоело мне вечное двоедушие. Что ты думаешь, Тарт, а ведь та девушка очень похожа на город: ничего верного. Ни «да», ни «нет» — ни так, ни этак, ни так, ни сяк. Вернулся я и не пойду больше в город.

Теперь ты убедился, сын, что я прав, предостерегая тебя. Наш дикий простор и суровая наша жизнь — куда лучше духовного городского разврата. Эй, говорю я, возьми мозги в руки, не будь олухом!

IV

Энох так разволновался, что стал размахивать ружьем и топать ногами; Дрибб сидел, не шевелясь, изредка улыбаясь и посматривая на Тарта. Глаза Тарта то вспыхивали, то гасли, мечтательность проявлялась в них, порой усмешка или угроза; он, по-видимому, мысленно был во все время рассказа Эноха в диковинном краю чужой жизни — городе.

— Ах, — сказал юноша, — спасибо, отец, за рассказ. Я вижу, что город очень занятная штука, и скоро там буду. Каждый за себя, братец!

— Сынишка! — вскричал Энох.

— Что — сынишка, — стукнув прикладом об пол, сказал Тарт, — я сумею постоять за себя.

— Сказка про белого бычка, — вздохнул Дрибб и налил старику водки.

КАПИТАН ДЮК

I

Рано утром в маленьком огороде, прилегавшем к одному из домиков общины Голубых Братьев, среди цветущего картофеля, посаженного правильными кустами, появился человек лет сорока, в вязаной безрукавке, морских суконных штанах и трубообразной черной шляпе. В огромном кулаке человека блестела железная лопатка. Подняв глаза к небу и с полным сокрушением сердца пробормотав утреннюю молитву, человек принялся ковырять лопаткой вокруг картофельных кустов, разрыхляя землю. Неумело, но одушевленно тыкая непривычным для него орудием в самые корни картофеля, от чего невидимо крошились под землей на мелкие куски молодые, охаживаемые клубни, человек этот, решив наконец, что для спасения души сделано на сегодня довольно, присел к ограде, заросшей жимолостью и шиповником, и по привычке сунул руку в карман за трубкой. Но, вспомнив, что еще третьего дня трубка сломана им самим, табак рассыпан и дана торжественная клятва избегать всяческих мирских соблазнов, омрачающих душу, — человек с лопаткой горько и укоризненно усмехнулся.

— Так, так, Дюк, — сказал он себе, — далеко тебе еще до просветления, если, не успев хорошенько продрать глаза, тянешься уже к дьявольскому растению. Нет — изнурайся, постись и смирись, и не смей тебе даже вспоминать, например, о мясе. Однако страшно хочется есть. Кок... гм... хорошо делал соус к котле... — Дюк яростно ткнул лопаткой в землю. — Животная пища греховна, и я чувствую себя теперь значительно лучше, питаюсь вегетарианской кухней. Да! Вот идет старший брат Варнава.

Из-за дома вышел высокий, сухопарый человек с очками на утином носу, прямыми, падающими на воротник рыжими волосами, бритый, как актер, сутулый и длинноногий. Его шляпа была такого же фасона, как у Дюка, с той разницей, что сбоку тульи блестело нечто вроде голубого плюмажа. Варнава носил черный, наглухо застегнутый сюртук, башмаки с толстыми подошвами и черные брюки. Увидев стоящего с лопатой Дюка, он издали закивал головой, поднял глаза к небу и изобразил ладонями, сложенными вместе, радостное умиление.

— Радуюсь и торжествую! — закричал Варнава пронзительным голосом. — Свет утра приветствует тебя, дорогой брат, за угодным богу трудом. Ибо сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой».

— Много камней, — пробормотал Дюк, протягивая свою увесистую клешню навстречу узким, извилистым пальцам Варнавы. — Я тут немножко работал, как вы советовали делать мне каждое утро для очищения помыслов.

— И для укрепления духа. Хвалю тебя, дорогой брат. Ростки божьей благодати несомненно вытеснят постепенно в тебе адову пену и греховность земных желаний. Как ты провел ночь? Смушался твой дух? Садись и поговорим, брат Дюк.

Варнава, расправив кончиками пальцев полы сюртука, осторожно присел на траву. Дюк грузно сел рядом на муравейник. Варнава пристально изучал лицо новичка, его вечно хмурый, крепко сморщенный лоб, под которым блестели маленькие, добродушные, умеющие, когда надо, холодно и грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый нос, изгрызанные с вечного похмелья, тронутые сединой усы и властное выражение подбородка.

— Что говорить, — печально объяснял Дюк, постукивая лопаткой. — Я, надо полагать, отчаянный грешник. С вечера, как легли спать, долго ворочался на кровати. Не спится; чертовски хотелось курить и... знаете, это... когда табаку нет, столько слюны во рту, что не наплюешься. Вот и плевался. Потом наконец уснул. И снится мне, что Куркуль заснул на вахте, да где? — около пролива Кассет, а там, если вы знаете, такие ри-

фы, что бездельника, собственно говоря, мало было бы повесить, но так как он глуп, то я только треснул его по башке лынком. Но этот мерзавец...

— Брат Дюк! — укоризненно вздохнул Варнава. — Кха! Кха!..

Капитан скис и поспешно схватился рукой за рот.

— Еще «Марианну» вспомнил утром, — тихо прошептал он. — Мысленно перецеловал ее всю от рывов до клотиков. Прощай, «Марианна», прощай! Я любил тебя. Если я позабыл переменить кливер, то прости — я загулял с маклером. Не раздражай меня, «Марианна», воспоминаниями. Не смей тебе сниться мне! Теперь только я понял, что спасенье души более важное дело, чем торговля рыбой и яблоками... да. Извините меня, брат Варнава.

Выплакав это вслух, с немного, может быть, смешной, но искренней скорбью, капитан Дюк вытащил полосатый платок и громко, решительно высморкался. Варнава положил руку на плечо Дюка.

— Брат мой! — сказал он проникновенно. — Отрешишь от бесполезных и вредных мечтаний. Оглянись вокруг себя. Где мир и покой? Здесь! Измученная душа видит вот этих нежных птичек, славящих бога, бабочек, служащих проявлением истинной мудрости высокого творчества; земные плоды, орошенные потом благочестивых... Над головой — ясное небо, где плывут небесные корабли-облака, и тихий ветерок обвеивает твое расстроенное лицо. Сон, молитва, покой, труд. «Марианна» же твоя — символ корысти, зависти, бурь, опьянения и курения, разврата и сквернословия. Не лучше ли, о брат мой, продать этот насыщенный человеческой гордостью корабль, чтобы он не смущал твою близкую к спасению душу, а деньги положить на текущий счет нашей общины, где разумное употребление их принесет тебе вещественную и духовную пользу?

Дюк жалобно улыбнулся.

— Хорошо, — сказал он через силу. — Пропaday все. Продать, так продать!

Варнава с достоинством встал, снисходительно по-матривая на капитана.

— Здесь делается все по доброму желанию братьев. Оставляю тебя, другие ждут моего внимания.

В десять часов утра, произведя еще ряд опустошений в картофельном огороде, Дюк удалился к себе, в маленький деревянный дом, одну половину которого — обширную пустую комнату с нарочито грубой деревянной мебелью — Варнава предоставил ему, а в другой продолжал жить сам. Община Голубых Братьев была довольно большой деревней, с порядочным количеством земли и леса. Члены ее жили различно: холостые — группами, женатые — обособленно. Капитан, по мнению Варнавы, как испытуемый, должен был провести срок искуса изолированно; этому помогало еще то, что у Дюка существовали деньжонки, а деньжонки везде требуют некоторого комфорта.

Подслеповатый, корявый парень появился в дверях, таща с половины Варнавы завтрак Дюку: кружку молока и кусок хлеба. Смирненно скрестив на груди руки, парень удалился, гримасничая и пятясь задом, а капитан, сердито понюхав молоко, мрачно покосился на хлеб. Пища эта была ему не по вкусу; однако, твердо решившись уйти от грешного мира, капитан наскоро проглотил завтрак и раскрыл библию. Прежде чем приняться за чтение, капитан стыдливо помечтал о великолепных бифштексах с жареным испанским луком, какие умел божественно делать кок Сигби. Еще вспомнилась ему синяя стеклянная стопка, которую Дюк любовно оглаживал благодарным взглядом, а затем, проведя для большей вкусоности рукою по животу и крикнув, медленно осушал. «Какова сила врага рода человеческого!» — подумал Дюк, явственно ощутив во рту призрак крепкого табачного дыма. Покрутив головой, чтобы не думать о запретных вещах, капитан открыл библию на том месте, где описывается убийство Авеля, прочел, крепко сжал губы и с недоумением остановился, задумавшись.

«Авель ходил без ножа, это ясно, — размышляя он, — иначе мог бы ударить Каина головой в живот, сшибить и всадить ему нож в бок. Странно также, что Каина не повесили. В общем — неприятная история». Он перевернул полкниги и попал на описание бегства Авессалома. То, что человек запутался волосами в ветвях дерева, сначала рассмешило, а затем рассердило его. — Чиркнул бы ножиком по волосам, — сказал Дюк, — и мог бы

удрать. Станный чудак! — Но зато очень понравилось ему поведение Ноя. — Сыновья-то были телята, а старик молодец, — заключил он и тут же понял, что впал в грех, и грустно подпер голову рукой, смотря в окно, за которым вилась лента проезжей дороги. В это время из-за подоконника вынырнуло чье-то смутно знакомое Дюку испуганное лицо и спряталось.

— Кой черт там глазеет? — закричал капитан.

Он подбежал к окну и, перегнувшись, заглянул вниз.

В крапиве, присев на корточки, притаились двое, подымая вверх умоляющие глаза: повар Сигби и матрос Фук. Повар держал меж колен изрядный узелок с чем-то таинственным; Фук же, грустно подперев подбородок ладонями, плачевно смотрел на Дюка. Оба сильно вспотевшие, пыльные с головы до ног, пришли, по-видимому, пешком.

— Это что такое?! — вскричал капитан. — Откуда вы? Что расселись? Встать!

Фук и Сигби мгновенно вытянулись перед окном, сдернув шапки.

— Сигби, — заволновался капитан, — я же сказал, чтобы меня больше не беспокоили. Я оставил вам письмо, вы читали его?

— Да, капитан.

— Все прочли?

— Все, капитан.

— Сколько раз читали?

— Двадцать два раза, капитан, да еще двадцать третий для экипажа «Морского змея»; они пришли в гости послушать.

— Поняли вы это письмо?

— Нет, капитан.

Сигби вздохнул, а Фук вытер замигающие глаза рукавом блузы.

— Как не поняли? — загремел Дюк. — Вы непроходимые болваны, гнилые буйки, бродяги, — где это письмо? Сказано там или нет, что я желаю спастись?

— Сказано, капитан.

— Ну?

Сигби вытащил из кармана листок и стал читать вслух, выронив загремевший узелок в крапиву.

«Отныне и во веки веков аминь. Жил я, братцы, плохо и, страшно подумать, был настоящим язычником:

Поколачивал я некоторых из вас, хотя до сих пор не знаю, кто из вас стянул новый брезент. Сам же, предаваясь ужасающему развратному поведению, дошел до полного помрачения совести. Посему удаляюсь от мира соблазнов в тихий уголок брата Варнавы для очищения духа. Прощайте. Сидите на «Марианне» и не смейте брать фрахтов, пока я не сообщу, что делать вам дальше».

Капитан самодовольно улыбнулся — письмо это, составленное с большим трудом, он считал прекрасным образцом красноречивой убедительности.

— Да,— сказал Дюк, вздыхая,— да, возлюбленные братья мои, я встретил достойного человека, который показал мне, как опасно попасть в лапы к дьяволу. Что это бренчит у тебя в узелке, Сигби?

— Для вас это мы захватили,— испуганно прошептал Сигби,— это, капитан... холодный грог, капитан, и... кружка... значит.

— Я вижу, что вы желаете моей гибели,— горько заявил Дюк,— но скорее я вобью вам этот грог в пасть, чем выпью. Так вот: я вышел из трактира, сел на тумбочку и заплакал, сам не знаю зачем. И держал я в руке, сколько не помню, золота. И просыпал. Вот подходит святой человек и стал много говорить. Мое сердце растаяло от его слов, я решил раскаться и поехать сюда. Отчего вы не вошли в дверь, черти полосатые?

— Прячут вас, капитан,— сказал долговязый Фук,— все говорят, что такого нет. Еще попался нам этот с бантом на шляпе, которого видел кое-кто с вами третьего дня вечером. Он-то и прогнал нас. Безутешно мы колесили тут, вокруг деревни, а Сигби вас в окошко заметил.

— Нет, все кончено,— хмуро заявил Дюк,— я не ваш, вы не мои.

Фук зарыдал, Сигби громко засопел и надулся. Капитан начал щипать усы, нервно мигая.

— Ну, что на «Марианне»? — отрывисто спросил он.

— Напились все с горя,— сморкаясь, произнес Фук,— третий день пьют, сундуки пропили. Маклер был, выгодный фрахт у него для вас — скоропортящиеся фрукты; ругается, на чем свет стоит. Куркуль удрал совсем, а Бенц спит на вашей койке в вашей каюте и говорит, что вы не капитан, а собака.

— Как — собака! — сказал Дюк, бледнея от ярости. — Как — собака? — повторил он, высовываясь из окна к струсившим матросам. — Если я собака, то кто Бенц? А? Кто, спрашиваю я вас? А? Швабра он, последняя шваб-р-ра! Вот как?! Стоило мне уйти, и у вас через два дня чешутся обо мне языки? А может быть, и руки? Сигби, и ты, Фук, — убирайтесь вон! Захватите ваш дьявольский узелок. Не искушайте меня. Проваливайте. «Марианна» будет скоро мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте!

Дюк закрыл глаза рукой. Хорошенькая «Марианна», как живая, покачивалась перед ним, блестя новыми мачтами. Капитан скрипнул зубами.

— Обязательно вычистить и проветрить трюмы, — сказал он, вздыхая, — покрасить клюзы и камбуз да как следует прибрать в подшкиперской Я знаю, у вас там такой порядок, что не отыщешь и фонаря. Потом отправьте «Марианну» в док и осмолите ее. Палубу, если нужно, поконопатить. Бенцу скажите, что я, смиренный брат Дюк, прощаю его. И помните, что вино — гибель, опасайтесь его, дети мои. Прощайте!

— Что ж, капитан, — сказал ошарашенный всем виденным и слышанным Сигби, — вы, значит, переходите, так сказать, в другое ведомство? Ладно, пропадай все. Фук, идем. Скажи, Фук, спасибо этому капитану.

— За что? — невинно осведомился капитан.

— За то, что бросили нас. Это после того, что я у вас служил пять лет, а другие и больше. Ничего, спасибо. Фук, идем.

Фук подхватил узелок, и оба, не оглядываясь, удалились решительными шагами в ближайший лесок — выпить и закусить. Едва они скрылись, как Варнава появился в дверях комнаты, с глазами, поднятыми вверх, и руками, торжественно протянутыми вперед к смущенному капитану.

— Я слышал все, о брат мой, — пропел он речитативом, — и радуюсь одержанной вами над собою победе.

— Да, я продам «Марианну», — покорно заявил Дюк, — она мешает мне, парни приходят с жалобами.

— Укрепись и дерзай, — сказал Варнава.

— Двадцать узлов в полном ветре! — вздохнул Дюк.

— Что вы сказали? — не расслышал Варнава.

— Я говорю, что бойкая была очень она, «Марианна», и руля слушалась хорошо. Да, да. И четыреста тонн.

III

Матросы сели на холмике, заросшем вереском и волчьими ягодами. Прохладная тень кустов дрожала на их унылых и раздраженных лицах. Фук, более хладнокровный, человек факта, далек был от мысли предпринимать какие-либо шаги после сказанного капитаном; но саркастический, нервный Сигби не так легко успокаивался, мирился с действительностью. Развязывая отвергнутый узелок, он не переставал бранить Голубых Братьев и называть капитана приличными случаю именами, вроде дохлой морской свиньи, сумасшедшего кисляя и т. д.

— Вот пирог с ливером, — сказал Сигби. — Хороший пирожок, честное слово. Что за корочка! Прямо как позолоченная. А вот окорочок, Фук; раз капитан брезгует нашим угощением, съедим сами. Грог согрелся, но мы его похолодим в соседнем ручье. Да, Фук, настали черные дни.

— Жаль, хороший был капитан, — сказал Фук. — Право, капиташа был в полной форме. Тяжеловат на руку, да; и насчет словесности не стеснялся, однако лишнего ничего делать не заставлял.

— Не то, что на «Сатурне» или «Клавдии», — вставил Сигби, — там, если работы нет, обязательно ковыряй что-нибудь. Хоть пеньку трепли.

— Свыклись с ним.

— Сухари свежие, мясо свежее.

— Больного не рассчитает.

— Да что говорить!

— Ну, поедим!

Начав с пирога, моряки кончили окороком и глоданием кости. Наконец швырнув окорочиную кость в кусты, они принялись за охлажденный грог. Когда большой глиняный кувшин стал легким, а Фук и Сигби тяжелыми, но веселыми, повар сказал:

— Друг, Фук, не верится что-то мне, однако, чтобы такой моряк, как наш капитан, изменил своей родине. Свыкся он с морем. Оно кормило его, кормило нас, кор-

мит и будет кормить много людей. У капитана ум за разум зашел. Вышнем его от Голубых Братьев.

— Чего из них вышибать,— процедил Фук,— когда разума нет.

— Не разум, а капитана.

— Трудновато, дорогой кок, думаю я.

— Нет,— возразил Сигби,— сам я действительно не знаю, как поступить, и не решился бы ничего придумать. Но знаешь что? — Спросим старого Бильдера.

— Вот тебе на! — вздохнул Фук.— Чем здесь поможет Бильдер?

— А вот! Он в этих делах собаку съел. Попутайся-ка, мой милый, семьдесят лет по морям — так будешь знать все. Он,— Сигби сделал таинственные глаза,— он, Бильдер, был тоже пиратом, в молодости, да, грешил и... тсс!... — Сигби перекрестился.— Он плавал на голландской летучке.

— Врешь! — вздрогнув, сказал Фук.

— Упади мне эта сосна на голову, если я вру. Я сам видел на плече у него красное клеймо, которое, говорят, ставят духи Летучего Голландца, а духи эти без головы, и значит, без глаз, а поэтому сами не могут стоять у руля, и вот нужен им бывает всегда рулевой из нашего брата.

— Н-да... гм... тпру... постой... Бильдер... Так это, значит, в «Кладбище кораблей»?!

— Вот, да, сейчас за доками.

— И то правда,— ободрился Фук.— Может, он и уговорит его не продавать «Марианну». Жаль, суденышко-то очень замечательное.

— Да, обидно ведь,— со слезами в голосе сказал Сигби,— свой ведь он, Дюк этот несчастный, свой, товарищ, бестия морская. Как без него будем, куда пойдем? На баржу, что ли? Теперь разгар навигации, на всех судах все комплекты полны; или ты, может быть, не прочь юнгой трепаться?

— Я? Юнгой?

— Так чего там. Тронемся к старцу Бильдеру. Запачем, в ноги упадем: помоги, старый разбойник!

— Идем, старик!

— Идем, старина!

И оба они, здоровые, в цвете сил люди, нежно называющие друг друга «стариками», обнявшись, покинули

холм, затянув фальшивыми, но одушевленными головами:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать.
Позвольте вас на саллинг взять,
Ах, вас на саллинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать...

IV

Бильдер, или Морской тряпичник, как называла его вся гавань, от последнего чистильщика сапог до эlegantных командиров военных судов, прочно осел в Зурбагане с незапамятных времен и поселился в песчаной, заброшенной части гавани, известной под именем «Кладбища кораблей». То было нечто вроде свалочного места для износившихся, разбитых, купленных на слом парусников, барж, лодок, баркасов и пароходов, преимущественно буксирных. Эти печальные останки когда-то отважных и бурных путешествий занимали площадь не менее двух квадратных верст. В разошедшихся кормах, в дырявых трюмах, где свободно гулял ветер и плескалась дождевая вода, в жалобно скрипящих от ветхости капитанских рубках ютились по ночам парии гавани. Странные процвели здесь занятия и промыслы... Бильдер избрал ремесло морского тряпичника. На маленькой парусной лодке с небольшой кошкой, привязанной к длинному шкерту, бороздил он целыми днями Зурбаганскую гавань, выуживая кошкой со дна морского железные, тряпичные и всякие другие отбросы, затем, сортируя их, продавал скупщикам. Кроме этого, он играл роль оракула, предсказывая погоду, счастливые дни для отплытия, отыскивал удачно краденое и уличал вора с помощью решета. Контрабандисты молились на него: Бильдер разыскивал им секретные уголки для высадок и погрузок. При всех этих приватных заработках был он, однако, беден, как церковная крыса.

Прозрачный день гас, и солнце зарывалось в холмы, когда Фук и Сигби, с присохшими от жары языками, вступили на вязкий песок «Кладбища кораблей». Тишина, глубокая тишина прошлого окружала их. Вечерний гром гавани едва доносился сюда слабым, напоминаю-

щим звон в ушах, бессильным эхом; изредка лишь пронзительный вопль сирены отходящего парохода нагонял пешеходов или случайно налетевший мартын плакал и хохотал над сломанными мачтами мертвецов, пока вечная прожорливость и аппетит к рыбе не тянули его обратно в живую поверхность волн. Среди остовов барж и бригов, напоминающих оголенными тимберсами чудовищные скелеты рыб, выглядывала изредка полузасыпанная песком корма с надписью тревожной для сердца, с облупленными и отпавшими буквами. «Надеж...» — прочел Сигби в одном месте, в другом — «Победитель», еще дальше — «Ураган», «Смелый»... Всюду валялись доски, куски обшивки, канатов, трупы собак и кошек. Проходы меж полусгнивших судов напоминали своеобразные улицы, без стен, с одними лишь заворотами и углами. Бесформенные длинные тени скрещивались на белом песке.

— Как будто здесь, — сказал Сигби, останавливаясь и осматриваясь. — Не видно дымка из дворца Бильдера, а без дымка что-то я забыл. Тут как в лесу... Эй!.. Нет ли кого из жителей? Эй! — последние слова повар не прокричал даже, а проорал, и не без успеха; через пять-шесть шагов из-под опрокинутой расщепленной лодки высунулась лохматая голова с печатью приятных размышлений в лице и бородой, содержимой весьма беспечно.

— Это вы кричали? — ласково осведомилась голова.

— Я, — сказал Сигби, — ищу этого колдуна Бильдера, забыл, где его особняк.

— Хороший голос, — заявила голова, покачиваясь, — голос гулкий, лошадиный такой. В лодке у меня загудело, как в бочке.

Сигби вздумал обидеться и набирал уже воздуху, чтобы ответить с достойной его самолюбия едкостью, но Фук дернул повара за рукав.

— Ты разбудил человека, Сигби, — сказал он, — посмотри, сколько у него в волосах соломы, пуху и щепок; не дай бог тебе проснуться под свой собственный окрик.

Затем, обращаясь к голове, матрос продолжал:

— Укажите, милейший, нам, если знаете, лачугу Бильдера, а так как ничто на свете даром не делается, возьмите на память эту регалию. — И он бросил к под-

бородку головы медную монету. Тотчас же из-под лодки высунулась рука и прикрыла подарок.

— Идите... по направлению киля этой лодки, под которой я лежу,— сказала голова,— а потом встретите овраг, через него перекинута бревно...

— Ага! Перейти через овраг,— кивнул Фук.

— Пожалуй, если вы любите возвращаться. Как вы дошли до оврага, не переходя его, берите влево и идите по берегу. Там заметите высокий песчаный гребень, за ним-то и живет старик.

Приятеля, следуя указаниям головы, вскоре подошли к песчаному гребню, и Сигби, узнав местность, никак не мог уяснить себе, почему сам не отыскал сразу всем известной площадки. Решив наконец, что у него «голова была не в порядке» из-за «этого ренегата Дюка», повар повел матроса к низкой двери лачуги, носившей поэтическое название: «Дворец Бильдера, Короля Морских Тряпичников», что возвещала надпись, сделанная жженой пробкой на лоскутке парусины, прибитом под крышей.

Оригинальное здание это сильно напоминало постройки нынешних футуристов как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении. Главный корпус «дворца» за исключением одной стены, именно той, где была дверь, составляла ровно отпиленная корма старого галиота, корма без палубы, почему Бильдер, не в силах будучи перевернуть корму килем вверх, устроил еще род куполообразной крыши наподобие куч термитовых муравьев, так что все в целом грубо напоминало откушенное с одной стороны яблоко. Весь эффект здания представляла искусственно выведенная стена; в состав ее, по разряду материалов, входили:

- 1) доски, обрубки бревен, ивовые корзинки, пустые ящики;
- 2) шкворни, сломанный умывальник, ведра, консервные жестянки;
- 3) битый фаянс, битое стекло, пустые бутылки;
- 4) кости и кирпичи.

Все это, добросовестно скрепленное палками, землей и краденым цементом, образовало стену, к которой можно было прислониться с опасностью для костюма и жизни. Лишь аккуратно прорезанная низкая дощатая дверь

да единственное окошко в противоположной стене — настоящий круглый иллюминатор — указывали на некоторую архитектурную притязательность.

Сигби толкнул дверь и, согнувшись, вошел, Фук за ним. Бильдер сидел на скамейке перед внушительной кучей хлама. Небольшая железная печка, охапка морской травы, служившей постелью, скамейка и таинственный деревянный бочонок с краном — таково было убранство «дворца» за исключением кучи, к которой Бильдер относился сосредоточенно, не обращая внимания на вошедших. К великому удивлению Фука, ожидавшего увидеть полураздетого, оборванного старика, он убедился, что Бильдер для своих лет еще большой фронт: суконая фуфайка его, подхваченная у брюк красным поясом, была чиста и прочна, а парусинные брюки, запачканные смолой, были совсем новые. На шее Бильдера пестрело даже нечто вроде цветного платка, скрученного морским узлом. Под шапкой седых волос, переходивших в такне же круто нависшие брови и щетинистые баки, ворочались колючие глаза-щели, освещающая высохшее, жесткое и угрюмое лицо с застывшей усмешкой.

— Здр... здравствуйте, — нерешительно сказал Сигби.

— Угу! — ответил Бильдер, посмотрев на него сбоку взглядом человека, смотрящего через очки... — Кх! Гум!

Он вытащил из кучи рваную женскую галошу и бросил ее в разряд более дорогих предметов.

— Помоги, Бильдер! — возопил Сигби, в то время как Фук смотрел поочередно то в рот товарищу, то на таинственный бочонок в углу. — Все ты знаешь, везде бывал и всюду... как это говорится... съел собаку.

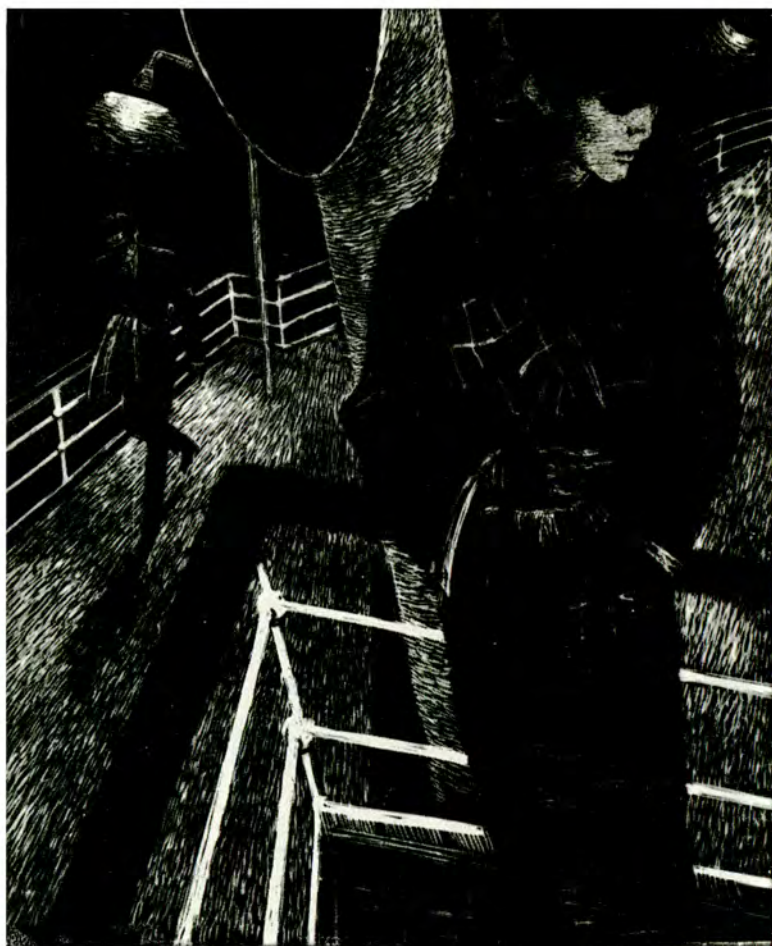
— Ближе к ветру! — прошамкал Бильдер, отправляя коровий череп в коллекцию костяного товара.

Сигби не заставил себя ждать. Оттягивая рукой душивший его разгоряченную шею воротник блузы, повар начал:

— Сбежал капитан от нас. Ушел к сектантам, к Братьям Голубым этим, чтобы позеленели они! Не хочу и не хочу жить, говорит, с вами, язычниками, и сам я язычник. Хочу спастись. Мяса не ест, не пьет и не курит и судно хочет продать. До чего же обидно это, старик! Ну, что мы ему сделали? Чем виноваты мы, что



«БЛИСТАЮЩИЙ МИР»



«ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД»

только на палубе кусок можем свой заработать?.. Ну, рассуди, Бильдер, хорошо ли стало теперь: пошло воровство, драки; водку — не то что пьют, а умываются водкой; «Марианна» загажена; ни днем, ни ночью вахты никто не хочет держать. Ему до своей души дела много, а до нашей — тьфу, тьфу! Но уж и поискать такого в нашем деле мастера, разумеется, кроме тебя, Бильдер, потому что, как говорят...

Сигби вспомнил Летучего Голландца и, струсив, остановился. Фук побледнел; мгновенно фантазия нарисовала ему дьявольский корабль-призрак с Бильдером у штурвала.

— Угу! — промычал Бильдер, рассматривая обломок свинцовой трубки, железное кольцо и старый веревочный коврик и, по-видимому, сравнивая ценность этих предметов. Через мгновение все они, как буквы из руки опытного наборщика, гремя, полетели к своим местам.

— Помоги, Бильдер! — молитвенно закончил взволнованный повар.

— Чего вам стоит! — подхватил Фук.

Наступило молчание. Глаза Бильдера светились лукаво и тихо. По-прежнему он смотрел в кучу и сортировал ее, но один раз ошибся, бросив тряпку к костям, что указывало на некоторую задумчивость

— Как зовут? — хрипнул беззубый рот.

— Сигби, кок Сигби.

— Не тебя; того дурака.

— Дюк.

— Сколько лет?

— Тридцать девять.

— Судно его?

— Его, собственное.

— Давно?

— Десять лет.

— Моет, трет, чистит?

— Как любимую кошку.

— Скажите ему, — Бильдер повернулся на скамейке, и просители со страхом заглянули в его острые, блестящие глаза-точки, смеющиеся железным, спокойным смехом дряхлого прошлого, — скажите ему, щенку, что я, Бильдер, которого он знает двадцать пять лет, утверждаю: никогда в жизни капитан Дюк не осмелится

пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Проваливайте!

Сказав это, старик подошел к таинственному бочонку, нацедил в кружку весьма подозрительно-ароматической жидкости и бережно проглотил ее. Не зная — недоумевать или благодарить, плакать или плясать, повар вышел спиной, надев шапку за дверь. Тотчас же вывалился и Фук.

Фук не понимал решительно ничего, но повар был человек с более тонким соображением; когда оба, усталые и пыльные, пришли наконец к харчевне «Трезвого странника», он переварил смысл сказанного Бильдером, и, хоть с некоторым сомнением, но все-таки одобрил его.

— Фук, — сказал Сигби, — напишем, что ли, этому Дюку. Пускай проглотит пилуюлю от Бильдера.

— Обидится, — возразил Фук.

— А нам что. Ушел, так терпи.

Сигби потребовал вина, бумаги и чернил и вывел безграмотно, но от чистого сердца следующее:

«Никогда Дюк не осмелится пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер. Все смеются.

Экипаж «Марианны».

Хмельные поплелись товарищи на корабль. Гавань спала. От фонарей судов, отражений их и звезд в небе весь мир казался бархатной пропастью, полной огней вверху и внизу, всюду, куда хватал глаз. У мола, поскрипывая, толкались на зыби черные шлюпки, и черная вода под ними сверкала искрами. У почтового ящика Сигби остановился, опустил письмо и вздохнул.

— Ясно, как пистолет и его бабушка, — проговорил он, нежно целуя ящик, — что Дюк изорвет тебя, сердечное письмецо, в мелкие клочки, но все-таки! Все-таки! Дюк... Не забывай, кто ты!

V

Вечером в воскресенье, после утомительного бездельного дня, пения духовных стихов и проповеди Варнавы, избравшего на этот раз тему о нестяжательстве, капитан Дюк сидел у себя, погруженный то в благочестивые,

то в греховные размышления. Скука томила его, и раздражение, вызванное вчерашним неудачным уроком паханья, когда, как казалось ему, даже лошадь укоризненно посматривала на неловкого капитана, взявшегося не за свое дело, улеглось не вполне, заставляя говорить самому себе горькие вещи.

— «Плуг,— размышлял капитан,— плуг... Ведь не мудрость же особенная какая в нем... но зачем лошадь приседает?» Говоря так, он не помнил, что круто нажимал лемех, отчего даже три лошади не могли бы двинуть его с места. Затем он имел еще скверную морскую привычку — всегда тянуть на себя и по рассеянности проделывал это довольно часто, заставляя кобылу танцевать взад и вперед. Поле, вспаханное до конца таким способом, напоминало бы поверхность луны. Кроме этой весьма крупной для огромного самолюбия Дюка неприятности, сегодня он резко поспорил с школьным учителем Клоски. Клоски прочел в газете о гибели гигантского парохода «Корнелиус» и, несмотря на насмешливое восклицание Дюка: «Ага!», стал утверждать, что будущее в морском деле принадлежит именно этим «плотам», как презрительно называл «Корнелиуса» Дюк, а не первобытным «ветряным мельницам», как определил парусные суда Клоски. Ужаленный, Дюк встал и заявил, что, как бы то ни было, никогда не взял бы он Клоски пассажиром к себе, на борт «Марианны». На это учитель возразил, что он моря не любит и плавать по нему не собирается. Скрепя сердце, Дюк спросил: «А любите вы маленькие, грязные лужи?» — и, не дожидаясь ответа, вышел с сильно бьющимся сердцем и тягостным сознанием обиды, нанесенной своему ближнему.

После этих воспоминаний Дюк перешел к обиженной «ветряной мельнице», «Марианне». Пустая, высоко подняв грузовую ватерлинию над синей водой, покачивается она на рейде так тяжело, так жалостно, как живое, вздыхающее всей грудью существо, и в крепких реях ее посвистывает ненужный ветер.

— Ах,— сказал капитан,— что же это я растрavляю себя? Надо выйти пройтись! — Прикрутив лампу, он открыл дверь и нырнул в глухую, лающую собаками тьму. Постояв немного посреди спящей улицы, капитан завернул вправо и, поравнявшись с окном Варнавы, увидел, что оно, распахнутое настежь, горит полным

внутренним светом. «Читает или пишет», — подумал Дюк, заглядывая в глубину помещения, но, к изумлению своему, заметил, что Варнава производит некую странную манипуляцию. Стоя перед столом, на котором, подогреваемый спиртовкой, бурлил, кипя, чайник, брат Варнава осторожно проводил по клубам пара небольшим запечатанным конвертом, время от времени пробуя поддеть заклейку столовым ножом.

Как ни был наивен Дюк во многих вещах, однако же занятие Варнавы являлось весьма прозрачным. — «Вот как, — оторопев, прошептал капитан, приседая под окном до высоты шеи, — проверку почты производишь, так, что ли?» На миг стало грустно ему видеть от уважаемой личности неблагоприятный поступок, но, опасаясь судить преждевременно, решил он подождать, что будет делать Варнава дальше. «Может быть, — размышлял, затаив дыхание, Дюк, — он не расклеивает, а заклеивает?». Тут произошло нечто, опровергнувшее эту надежду. Варнава, водя письмом над горячим паром кастрюльки, уронил пакет в воду, но, пытаясь схватить его на лету, опрокинул спиртовку вместе с посудой. Гремя, полетело все на пол; сверкнул, шипя, залитый водой синий огонь и потух. Отчаянно всплеснув руками, Варнава проворно выхватил из лужи мокрое письмо, затем, решив, что адресату возвращать его в таком виде все равно странно, поспешно разорвал конверт, бегло просмотрел текст и, сунув листок на подоконник, почти к самому носу быстро нагнувшего голову капитана, побежал в коридор за тряпкой.

— Ну-да, — сказал капитан, краснея как мальчик, — украл письмо брат Варнава! — Осторожно выглянув, увидел он, что в комнате никого нет, и отчасти из любопытства, а более из любви ко всему таинственному нагнулся к лежавшему перед ним листку, рассуждая весьма резонно, что письмо, претерпевшее столько манипуляций, стоит прочесть. И вот, сжав кулаки, прочел он то, что, высунув от усердия язык, писал Сигби.

Он прочел, повернулся спиной к окну и медленно, на цыпочках, словно проходя мимо спящих, пошел от окна в сторону огородов. Было так темно, что капитан не видел собственных ног, но он знал, что его щеки, шея и нос пунцовее мака. Несомненное шпионство Варнавы мало интересовало его. И Варнава, и Голубые Братья,

и учитель Клоски, и неуменье пахать — все было слезано в этот момент той смертельной обидой, которую нанес ему мир в лице Морского Тряпичника. Кто угодно мог бы сказать это, только не он. Остальные могут говорить что угодно. Но Бильдер, которому двадцать лет назад на палубе «Веги», где тот служил капитаном, смотрел он в глаза преданно и трусливо, как юный щенок смотрит в опытные глаза матери; Бильдер, каждое указание которого он принимал к сердцу ближе, чем поцелуй невесты; Бильдер, знающий, что он, Дюк, два раза терпел крушение, сходя на шлюпку последним; э тот Бильдер заочно, а не в глаза высмеял его на потеху всей гавани. Да! Дюк стиснул руками голову и опустился на землю, к изгороди. Прямая душа его не подозревала ни умысла, ни интриги. Правда, Кассет очень опасен, и не многие ради сокращения пути рискуют идти им, дабы не огибать Вард; но он, Дюк, разве из трусости избегал «Безумный пролив»? Менее всего так. Осторожность никогда не мешает, да и нужды прямой не было; но, если пошло на то...

— Пстой, пстой, Дюк, не горячись, — сказал капитан, чувствуя, что потеет от скорби. — Кассет. Слева гора, маяк, у выхода буруны и левее плоская, отмеченная на всех картах мель; фарватер южнее, и форма его напоминает гитару; в перехвате поперек две линии рифов; отлив на девять футов, после него можно стоять на камнях по щиколотку. Сильное косое течение относит на мель, значит, выходя из-за Варда, забирать против течения к берегу и между рифами — так... — Капитан описал в темноте пальцем латинское S. — Затем у выхода вдоль бурунов на норд-норд-ост и у маяка на полкабельтова к берегу — чик и готово!

«Разумеется, — горестно продолжал размышлять Дюк, — все смотрят теперь на меня, как на отпетого. Я для них мертв. А о мертвом можно болтать что угодно и кому угодно. Даже Варнава знает теперь — негодный шпион! — на какую мелкую монету разменивают капитана Дюка». Тяжело вздыхая, ловил он себя на укорах совести, твердившей ему, что совершено за несколько минут множество смертельных грехов: поддался гневу и гордости, впал в самомнение, выругал Варнаву шпионом... Но уже не было сил бороться с властным призывом моря, принесшим ему корявым; напоминаю-

щим ветреную зыбь, почерком Сигби любовный, нежный упрек. Торжественно помолчав в душе, капитан выпрямился во весь рост; отчаянно махнул рукой, прощаясь с праведной жизнью, и, далеко швырнув форменный цилиндр Голубых Братьев, встал грешными коленями на грязную землю, сыном которой был.

— Боже, прости Дюка! — бормотал старый ребенок, сморкаясь в фуляровый платок. — Пропасть, конечно, мне суждено, и ничего с этим уже не поделаешь. Ежели б не Кассет — честное слово, я продал бы «Марианну» за полцены. Весьма досадно. Пойду к моим ребятишкам — пропадать, так уж вместе.

Встав и уже петушась, как в ясный день на палубе после восьмичасовой склянки, когда горло кричит само собой, невинно и беспредметно, выражая этим полноту жизни, Дюк перелез изгородь, промаршировал по огурцам и капусте и, одолев второй, более высокий забор, ударился по дороге к Зурбагану, жадно дыша всей грудью, — прямой дорогой, как выразился он, немного спустя, сам, — в ад.

VI

Стихи о «птичке, ходящей весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий», смело можно отнести к семи матросам «Марианны», которые на восходе солнца, после бессонной ночи, расположились на юте, с изрядно помятыми лицами, предаваясь каждый занятию, более отвечающему его наклонностям. Легкомысленный Бенц, перегнувшись за борт, лукаво беседовал с остановившейся на молу хорошенькой прачкой; Сигби, проклиная жизнь, гремел на кухне кастрюлями, швыряя в сердцах ложки и ножи; Фук меланхолично чинил рваную шапку, старательно муся не только нитку, но и ушко огромной иглы, попасть в которое представлялось ему, однако же, делом весьма почтенным и славным; а Мануэль, Крисс, Тромке и боцман Бангок, сидя на задраенном трюме, играли попарно в шестьдесят шесть.

Внезапно сильно как под слоном закрипели сходни, и на палубу под низкими лучами солнца вползла тень, а за ней, с измученным от дум и ходьбы лицом, без шапки, твердо ступая трезвыми ногами, вырос и оста-

новился у штирборта капитан Дюк. Он медленно исподлобья осмотрел палубу, крякнул, вытер ладонью пот, и неуловимая, стыдливая тень улыбки дрогнула в его каменных чертах, пропав мгновенно, как случайная складка паруса в полном ветре.

Бенц прынул от борта с быстротой спущенного курка. Девушка, стоявшая внизу, раскрыла от изумления маленький, детский рот при виде столь загадочного исчезновения кавалера. Сигби, обернувшись на раскрытую дверь кухни, пролил суп, сдернул шапку, надел ее и опять сдернул. Фук с испуга сразу, судорожно попал ниткой в ушко, но тут же забыл о своем подвиге и вскочил. Игроки замерли на ногах. А «Марианна» покачивалась, и в стройных снастях ее гудел нужный ветер.

Капитан молчал, молчали матросы. Дюк стоял на своем месте, и вот — медленно, как бы не веря глазам, команда подошла к капитану, став кругом. «Как будто ничего не было», — думал Дюк, стараясь определить себе линию поведения. Спокойно поочередно встретился он глазами с каждым матросом, зорко следя, не блеснет ли затаенная в углу губ усмешка, не дрогнет ли самодовольной гримасой лицо боцмана, не пустит ли слезу Сигби. Но с обычной радушной готовностью смотрели на своего капитана деликатные, понимающие его состояние моряки, и только в самой глубине глаз их искрилось человеческое тепло.

— Что ты думаешь о ветре, Бангок? — сказал Дюк.

— Хороший ветер; господин капитан, дай бог всякого здоровья такому ветру; зюйд-ост на две недели.

— Бенц, принеси-ка... из своей каюты мою белую шапку!

Бенц, струсив, исчез.

— Поднять якорь! — закричал капитан, чувствуя себя дома, — вы, пьяницы, неряхи, бездельники! Почему шлюпка спущена? Поднять немедленно! Закрепить ванты! Убрать сходни! Ставь паруса! «Марианна» пойдет без груза в Алан и вернется — слышите вы, трусы? — с полным грузом через Кассет.

Он успокоился и прибавил:

— Я вам покажу Бильдера.

ОХОТА НА ХУЛИГАНА

I

Старый человек, шестидесятилетний Фингар, после многочисленных и пестрых скитаний во всех частях света, поселился наконец в Зурбагане. Фингар сильно устал. Всю жизнь его любимым занятием, единственной страстью и божеством была охота — древнее, детское и жестокое занятие, поклонники которого, говори они хотя на всех языках, каждый не понимая другого, — на всех легендарных языках вавилонского столпотворения, — все же остаются членами одной касты. Каста эта делится на три категории: промышленников, любителей и идолопоклонников. Фингар с малых лет до седых волос принадлежал к третьей — самой высшей, так как любители непостоянны, а промышленники меркантильны. Богом Фингара был точный выстрел по редкой дичи.

И так всю жизнь... И, как сказано, старый бродяга устал. Ранее могучее тело его подымалось и отправлялось за десятки тысяч верст без всякого размышления, теперь тело просило кейфа и уважения. Исчезли походные палатки, ночные костры в болотах, плоты в мутных волнах диких рек; Фингар заменил их небольшим домиком, цветами и трофеями и воспоминаниями. От бурных кутежей в грозных пустынях, где вином был звериный след, поцелуями — восход солнца и блеск звезд, а игрой — выстрелы, — у Фингара осталось весьма скудное количество денег. Их поглотили разъезды, Фингар жил скромно и писал мемуары, диктуя по дневникам молодому, нанятому для этой цели, Юнгу странные для оседлого уха истории, в коих описания местностей сплетались с названиями растений, а за цифрами подстреленных хищных зверей следовали рецепты от лихорадки и гнойных ран — памяти медвежьих когтей.

Утром, тринадцатого апреля, вошел Юнг, улыбаясь лысому Фингару, сидевшему перед столом за стаканом кофе. Юнг любил обстановку Фингара. Меха здесь были везде: на полу, стенах, в углах и даже на потолке. Все оттенки пятнистой и гладкой шерсти от белого до черновато-зеленого, делали помещение похожим на громадную муфту. Прямые, кривые, витые и ветвистые ро-

га торчали густыми рядами всюду, куда попадал взгляд. Настоящие ковры из тесно повешенного оружия блестели в простенках. Собака Ганимед, помесь ищейки и таксы, ветеран многих охот Фингара, сидела на подоконнике, наблюдая уличную жизнь глазами фланера. Ганимед привычно покосился на Юнга и зевнул: еще не пролетела близ его носа ни одна муха. Ганимед любил ловить мух.

— Вот не могу вспомнить,— сказал Фингар,— что вышло у меня с неженкой Цейсом из-за переправы у порогов Ахуан-Скапа. Мы вчера остановились на этом, но память моя бессильна.

— Может быть, это не важно? — скромно возразил Юнг, приготавливаясь писать и пробуя пальцем острие пера.

— Как неважно?! — удивился Фингар. Его сухое, монашеское лицо дрогнуло нетерпением. — Я только не могу вспомнить. Этот одеколонный Цейс хотел переправиться выше, а я — ниже. А что мы говорили — забыл.

— Пропустите это место,— деликатно посоветовал Юнг.— Потом вы припомните.

— Потом — это потом, а сейчас — это сейчас. Я вот хочу сейчас.

Фингар молчал две минуты. Юнг рисовал тигра с павлиньим хвостом. Ганимед щелкнул зубами — муха исчезла.

— Все еще не припомню,— Фингар набил трубку, закурил и стал дымить в потолок. — Что новенького у нас в Зурбагане?

— Вы получаете газету,— сухо сказал Юнг; ему хотелось работать.

— А я не читал за последние дни,— возразил Фингар.— Я припоминал, что вышло у меня с Цейсом. Как будто я его послал, в вежливых выражениях, к одалискам... Тут, видите ли, было кем-то из нас сказано одно слово, изменившее весь маршрут. Но какое такое слово — хоть высеките меня — не припомню. Правда, и то, что прошло тридцать лет. Есть новости или нет?

— Водопровод и Камбон,— хмуро отозвался Юнг, по свежести души предпочитавший слушать охотничьи рассказы Фингара, чем говорить о газетной хронике.

— Извините, молодой человек, лаконизм хорош только для птиц. «Чирик-чирик» — и все понимают. Я не воробей, с вашего разрешения.

Юнг был смешлив. Он тихо захохотал и повернулся к Фингару.

— Водопровод переносят к озеру Чентиссар, к чистой воде, — сказал Юнг. — А новые подвиги Камбона равняют его с дикими зверями, которых вы так много убили.

— Камбон! Да, да, так. Вспомнил. Грабитель?

— Пожалуй, он и грабитель, — сказал Юнг, — но просто грабитель, это еще куда бы ни шло. Камбон одержим страстью мучить и убивать бескорыстно; он живет слезами и кровью.

— Надо поймать, повесить, — кротко сказал старик, — однако любопытно. Сегодняшнюю газету читали?

— Еще нет.

— Вот она. Посмотрите-ка, и если найдете что-либо о Камбоне — прочтите. Только не скороговоркой, у стариков вялые уши.

Юнг обмотался газетой. Скоро он с значительным и возмущенным видом стукнул кулаком по хрустящей бумаге.

— Вот слушайте... это немислмо!

— Слушаю, как на водопое.

Юнг начал:

«Новый подвиг Камбона-подкалывателя.

Вся полиция на ногах.

Зверь-человек неуловим.

Третьего дня мы сообщали о двух жертвах хулигана Камбона, — извозчике Герникее и мальчике из пивной лавки, тяжело раненных среди бела дня на людных улицах, «для пробы нового ножа» (как сказал жертвам Камбон). Вчера в четыре часа дня произошло следующее.

Диана Мелисс 22 лет, сестра известного биолога, Филиппа Мелисса, возвращалась домой из магазина; на углу Артиллерийской и Музыкальной улиц она подверглась настойчивому преследованию неизвестного молодого человека. Незнакомец, переходя за г-жой Мелисс с тротуара на тротуар, предлагал ей ни больше, ни меньше — сделаться его любовницей, обещая сказочные

сокровища и даже угрожая, в случае отказа, насильственной смертью. Ошеломленная, перепуганная насмерть г-жа Мелисс, на свое несчастье, шла по безлюдному в этот момент кварталу, наконец ей пришлось в голову воспользоваться первым подъездом и скрыться таким образом с глаз нахала. К ужасу и смущению ее, граничившим в этот момент с обмороком, негодяй последовал за нею, и там на площадке лестницы возобновил свои предложения, сопровождая их площадными остротами. Вне себя, оттолкнув неизвестного, г-жа Мелисс дернула ручку первой, на которую упал взгляд двери, ведущей, как оказалось, в пустую квартиру и потому незапертой. Неожиданно для самого себя очутившись в пустом помещении, негодяй перестал церемониться совершенно. «Я — Камбон, — сказал этот человек, — вы взглянули мне, и ваша судьба должна быть решена теперь же. Он перешел на «ты». Пойдем со мной, — сказал он, — ты будешь чистить мне сапоги, а я тебя — бить, изредка, конечно, и поцелую. У меня много денег. Меня все боятся. Не ломайся!» В это время на лестнице послышались голоса. Девушка закричала. Камбон ударил ее кастетом по голове, выше левого уха. Она закричала со всей силой отчаяния. Хулиган сорвал кольцо с пальца г-жи Мелисс и исчез. Она продолжала кричать. В то время когда люди, проходившие по лестнице, слышали крик и вошли в квартиру, г-жа Мелисс лежала на полу без сознания. Камбон скрылся. Пострадавшая девушка была отвезена домой. Рана на голове оказалась неопасной для жизни.

Не пора ли поймать крысу? Положение таково, что вялость и неспособность полиции делаются преступными. Зурбаган не курятник, а Камбон не хорек. Это тянется два с половиной месяца!»

Юнг прочитал статью, заметно волнуясь: когда он опустил газету, руки его дрожали.

— Нет — хорек! — сказал Фингар. — Хорек, злобный, вонючий и кровожадный.

— Я не понимаю психологии Камбона, — заметил Юнг.

— Психология?! — Фингар кивнул головой на шкуры гиен. — Какая там, молодой человек, психология. Несложные животные инстинкты, первобытное звер-

ство — вот и все. Дикий зверь налицо. Дайте-ка газету сюда.

Он долго не находил заметки, которую хотел прочесть еще раз, — как его взгляд упал на жирное объявление. Брови Фингара поднялись так высоко, что Юнг с любопытством придвинулся.

— Вот так объявление! — сказал Фингар. — Истинно: неделя о Камбоне. Развесьте уши: «Двадцать тысяч будет немедленно уплачено тому, кто обезвредит апаша Камбона». И если это не шутка — объявление сделано лицом сильно заинтересованным.

— Вероятно, — заметил Юнг, — там есть и адрес.

— Есть. — Фингар прочел: «Лернейский фонтан, 21. Ф. Мелисс». Ну, что же, все ясно. Однако решительный человек этот Мелисс.

Оба собеседника замолкли, находясь под тяжелым впечатлением прочитанной газетной статьи. Вдруг Ганимед твякнул несколько раз тоном спокойной угрозы. Фингар подошел к окну.

— Посмотрите, Юнг, не Камбон ли это?

— Нет, — рассмотрев проходящего под окном человека, сказал Юнг, — не думаю. Тигры не появляются «между прочим». Но того же материка, надо полагать.

Проходивший под окном человек был очень высокого роста, узкоплечий, с мертвенно бледным лицом, бешеным, как бы застывшим взглядом бесцветных, но сверкающих глаз, массивной нижней челюстью и челкой на лбу. Одежда рыночно-щегоольского покроя отличалась пестротой... Он прошел.

— Ганимед лаял на него, — сказал Юнг. — Вот отличная мысль, — прибавил он: — вам, господин Фингар, следовало бы тряхнуть стариной.

Сухое, монашеское лицо Фингара притворилось непонимающим, хотя мысль Юнга была вполне естественна кузнецу — ковка, охотнику — охота.

— Выследите Камбона, — пояснил Юнг.

Фингар задумался.

— Конечно, — сказал он, — с Ганимедом я сделал бы это. Ох! Двадцать тысяч! Решетка или орел.

Он бросил монету, упавшую орлом вверх.

— Пошли! — решительно заявил Фингар. Весь трепет охотничьей страсти проснулся в его старом теле; он выпрямился, помолодел; даже закрыл на мгновение глаза. В душу вошли: ночной сумрак лесов, неизвестность, тишина, опасность... далекий полет пули.

— Редкая дичь! — сказал он и принялся собираться.

II

Диана Мелисс с повязкой на голове сидела в дальнем углу гостиной, ее брат поместился против охотника, лицом к лицу; Юнг, подойдя к стене, рассматривал картины.

Девушка, подперев голову рукой, внимательно слушала. В ее лице, умном и твердом, сквозило нечто, относящее ее к высшей расе, — той самой, представители которой имеются во всех национальностях и сословиях, — короче говоря — интеллигентность, лишенная предрассудков.

Филипп, человек науки, но экспансивный и вспыльчивый, говорил охотнику:

— Если город может терпеть такое положение вещей, черт с ним! Что за кошмар?! Я не хочу этого! Однако с чего вы начнете?

— С собаки, — сказал Фингар, взглядывая на девушку. — Ганимед бродит у подъезда и ждет меня. Я хочу спросить вас, сударыня, три раза о трех вещах.

— Спрашивайте.

— Какова наружность Камбона?

— Он невысокого роста, шатен, глаза навывкате, откинутый узкий лоб, в ушах серьги, тонкий, горбатый нос.

— Еще: на какой улице и в каком доме вы получили этот удар кастетом?

— Номер дома (как мне сказали потом) 81, улица Горы.

— Нет ли чего-либо особенного в его голосе?

— Нет. Голос у него обыкновенный, но когда говорит — сильно и хрипло дышит.

Наступило молчание. Филипп с любопытством рассматривал охотника.

— Вы, конечно, вооружились? — спросил он, смотря на карманы Фингара.

— Конечно. Я ведь не птицелов. Хорошая шомпольная одностволка стоит за дверью вашей квартиры.

— А револьвер?

— Ну! Я охотник; мне нужно ружье. Камбон, однако, не слон, а на гиену ходят даже с дробовиком. Мы пошли, Юнг.

— Условие в силе,— сказал Филипп.

— Разумеется. До свиданья.

Охотники попрощались и вышли. В полицейском бюро, куда Фингар счел необходимым зайти, их встретил замкнутый человек в мундире; его очки выглядели, как пушки.

— Билет на право охоты,— сказал Фингар.

— Объясните, какой билет.

— По Камбону; это нужно мне на всякий случай. Короче говоря, агентурный значок.

— Будет ли толк? А откровенно говоря, если будет, напьюсь.— Человек в мундире схватил обе руки Фингара и так потряс их, что покраснелся.

— Одно условие,— заявил Фингар,— смотреть сквозь пальцы. Все-таки рискую и я.

— Делайте, что хотите.

Получив значок, Фингар спрятал его под бортом куртки. На улице он сказал Юнгу:

— Теперь — по следу, и да поможет нам Диана, богиня моего спорта.

Юнг вспомнил другую Диану. У нее была белая повязка на голове. За ее спиной стояла тень мальчика, зарезанного ударом ножа для пробы оружия.

Ганимед, солидно перебирая лапами, трусил впереди.

III

Пока Фингар не приблизился к подъезду дома 81 на улице Горы — он еще не чувствовал себя вполне охотником. Но лишь только Юнг, шедший впереди, открыл тяжелую, темную дверь и придержал ее, пропуская Фингара,— старик испытал ту особенную, сладкую, сосушую тяжесть в сердце, какую переживал каждый раз, погружаясь в опасные камыши, убежище тигра. На звонок вышел швейцар. Узнав в чем дело, покосившись слегка при этом на торчащее за спиной Фингара дуло ружья, он молча открыл дверь пустой квартиры, где Камбон издевался над человеком.

Ганимед вбежал прежде всех, подняв кверху умную мордочку с видом запыхавшегося квартирнанимателя.

Он чувствовал, что его не зря привели сюда, и несколько суетился, не зная точно, с чего начать поиски.

Фингар осмотрелся. Пустые комнаты с раскрытыми окнами были, как казалось Юнгу, лишены каких бы то ни было следов печального происшествия, но Фингар думал иначе. Он пристально рассматривал пол, стараясь определить хотя одно место, где ступала нога Камбона. Лощеный паркетный пол везде ровно блестел, на нем не было ни пыли, ни сора, перемещение частиц которого, хотя бы малейшее, дало бы в руки Фингара нить следа. Так рассматривая пол, прошел он от двери к окну, взглянул на подоконник и хмыкнул.

— Вот след! — сказал он подошедшему Юнгу. — Вот его лапа.

Оба нагнулись. Легкий слой пыли, осевший на белой краске, был слизан в одном месте прикосновением чьей-то большой руки.

— Камбон хлопнул ладонью по подоконнику или оперся, — сказал Фингар. — Однако это, может быть, чья-нибудь и другая рука. Например, швейцара, когда он открывал окна.

— Да, — согласился Юнг, — след гадательный, и это не то.

— Не то, — Фингар задумался. — Собственно говоря, проще было бы пустить Ганимеда по невидимому для нас, но существующему в этой комнате следу... Здесь два следа: Камбона и девицы Мелисс; догадается ли бедная собака, какой из них нам требуется? В этом вся штука. Она может, собачонка, по бесхитростности своей, привести нас в квартиру на Лернейский фонтан, 21. Все же ничего больше не остается, как сыграть втемную. Ганимед!

Собака, подбежав к Фингару, заиграла хвостом.

— Ищи! — сказал охотник, показывая рукой на пол. — Ищи! Тут, тут, тут!

Ганимед обнюхал пол вокруг ног Фингара, изредка взглядывая на хозяина, как бы стараясь угадать, по глазам человека, нужный ему запах. Наконец, что-то решив про себя, Ганимед, с опущенной мордой, неторопливо рыся, выбежал на улицу и повернул в противоположную от Лернейского фонтана сторону.

— Догадался! — сказал Фингар, с умилением смотря на собаку. — Милая ты моя собака, Ганимед эдакий!

Упорно держась одного, раз выбранного среди тысячи других уличных запахов, незидимого воздушного следа Камбона, Ганимед, изредка оглядываясь на Фингара, еще реже — поворачивая назад, ради проверки, — весьма уверенно, почти в прямом направлении, пересекал город, стремясь к глухим окраинным улицам, где множество трактиров, кабаков и дешевых кофеен заставили его забегать почти в каждый из этих притонов. Юнг и Фингар, молча входя за собакой, обращали на себя пристальное угрюмое внимание посетителей. Разом стихал шум, в углах шептались, вполголоса бормоча угрозы, люди неизвестного звания, с опухшими от вина лицами.

Если Юнг и смущался несколько, то Фингар не замечал ничего, кроме хвоста Ганимеда, исчезающего по временам под стульями, чтобы, отрицательно тявкнув, выскочить вновь на улицу. Охотник казался неутомимым. Мелкими, старческими шажками спешил он за начинающей горячиться собакой из улицы в улицу, из переулка в переулок, изредка лишь вспоминая о Юнге и приветливо кивая ему с выражением уверенности в дальнейшем. Тем временем солнце опустилось за крыши, и мостовые поблекли.

Место, где находились теперь Юнг и Фингар, являло собой нескончаемый ряд деревянных заборов, скрывающих огороды и пустыри. Ганимед остановился у одной из полуразвалившихся калиток; с визгом бросился он на нее, царапая когтями доски. Фингар нажал щеколду. Как только в калитке образовалось достаточно свободного пространства, Ганимед стрелой бросился в него, и Фингар снял ружье. Пока собака бежала к ясно видимой уже дичи, охотники рассмотрели следующее:

Пространство за калиткой было огромным, заросшим сорными травами и полевыми цветами пустырем, в дальнем конце которого, в углу двух заборов, стоял покосившийся грязный, одноэтажный домик, напоминающий сторожку. Правее, на холмистом возвышении, виднелась беседка, заросшая диким виноградом, перед ней за круглым, врытым в землю столом, сидели три человека. Стаканы и бутылки указывали на способ время-



«ПРОДАВЕЦ СЧАСТЬЯ»



«КАПИТАН ДЮК»

препровождения. Заходящее солнце, в тумане жарко, бросало на беседку и холм ясный, золотой свет, и лица всех трех, сидящих за столом, были, несмотря на расстояние, видны довольно отчетливо. Фингар сразу узнал Камбона.

Ганимед с сердитым торопливым лаем взбирался на холм. Товарищи хулигана, прыгнув через невысокий забор, исчезли; догадливость и трусость не изменили им и в хмелю. Камбон, казалось, колебался; тем временем охотники были от него совсем близко, он, встав и опершись руками о стол, угрюмо смотрел на прыгавшего вокруг него Ганимеда. Юнг, с револьвером в руке, прямо шел на Камбона, но Фингар опередил его.

— Пуля в лоб или руки кверху! — закричал Фингар, и Юнг не узнал его голоса — голос звенел, как у молодого. Камбон, вынув револьвер, отступил к забору, выстрелив два раза в собаку, припадавшую в момент выстрела к земле. Камбон был пьян, но хитер.

— Подождите, — хрипло, задыхающимся голосом сказал он. — Я сдаюсь. — И он вскинул вверх руки, тотчас же повернувшись спиной к охотнику; руки Камбона упали на край забора, и тело с быстротой кошки скакнуло вверх.

— Он уйдет! — сказал Юнг.

Фингар выстрелил. Камбон с пробитым затылком упал к забору, в густую траву.

— Прочь, Ганимед! — крикнул старик разозленной, рвущейся на врага собаке.

Он повернул мертвого лицом вверх.

— Не думайте, — сказал он взволнованному Юнгу, — что это случайно удачный выстрел. Случалось, что я попадал пулей и в ласточку. Ну, а теперь Зурбаган может не опасаться более этого нового Джэка-Потрошителя. Наконец-то! — Фингар хлопнул себя по лбу.

— Что именно? — задумчиво спросил Юнг.

— Вспомнил я, вот сейчас вспомнил, что сказал этому одеколонному Цейсу тридцать лет тому назад при переправе у Ахуан-Скапа. Как же! Я ему сказал следующее: «паучок вы, а не человек, вот что». На «паучка»-то он и обиделся. Правду говоря, он очень походил на это насекомое — такие же были у него тоненькие-тоненькие, предлинные ножки!

ЛЬВИНЫЙ УДАР

I

Трайян только что вернулся с большого собрания Зурбаганской ложи всемирного теософического союза. Блестящее выступление Трайяна против Ордовы, сильнейшего оратора ложи, его могучий дар убеждения, основанного на точных данных современного материализма, его отточенная ирония и невероятная память, бросающая в связи с общим, стройным, как пламя свечи в безветрии, мировоззрением, — тысячи непоколебимых фактов, — лишили Ордову, под конец диспута, самообладания и твердости духа. Материализм, в лице Трайяна, получил, кроме шумных оваций, несколько десятков новообращенных, а Трайян, приехав домой, надел халат, сел поудобнее к железному, художественной работы камину, и красный трепет огня отразился в зрачках его веселых глаз, накрытых черными, крутыми и тонкими, как у красивых женщин, бровями.

Хотя Ордова не появлялся еще в нашем рассказе видимым и говорящим лицом, интересно все-таки отметить разницу в наружности противников, а наружность — в контрасте с их убеждениями. Знаменитый ученый-материалист Трайян обладал внешностью модного, балованного художника, в ее, так сказать, банальной транскрипции: пышный галстук, волосы черные и длинные, пышные, как и холеная борода; безукоризненной чистоты профиль, белая кожа; синий бархатный пиджак — впечатление одухотворенной изысканности; идеалист Ордова коротко стригся, лицом был некрасив и невзрачен и одевался в скверном магазине скверного готового платья. Странное заключение можно было бы сделать отсюда! Однако рассказ наш лежит не в шутке, и сравнение упомянутых лиц с ошибочно перепутанными масками — все, что мы можем себе позволить по этому поводу.

В кабинете, кроме Трайяна, сидел приехавший с ним генерал Лей, живой, ловкий и лобезный старик, настоящий боевой человек, знающий смерть и раны... Лей был поклонником сражений, драки и состязаний вообще, неизменно оставаясь, когда это не касалось патриотизма, сторонником победителя; бой петухов, тарантулов, бы-

ков, бой — диспут ученых — серьезно, увлекательно волновали Лея; он принимал жизнь только в борьбе и лакомством считал поединки.

— Мне кажется, Ордова чувствует себя плохо,— сказал Лей,—и я менее всего хотел бы быть на его месте.

— Он все-таки убежденный человек,— заметил Трайян,—и я, если хотите, заставил его только молчать. Не он побежден сегодня, а его идейный авторитет.

— Ордова обезоружен.

— Да, я обезоружил его, но не покори́л, что, впрочем, мне совершенно не нужно.

— Ордова крупный противник,— сказал Лей,— так как стоит на приятной, практически, для масс, точке зрения. «Я умираю, но я же и остаюсь»,— какие великолепные перспективы!

— Он слабый противник,— возразил Трайян,— его заключения произвольны, аргументация беспорядочна и, так сказать, экзотична; эрудиция, обнимающая небольшое количество старинных, более поэтических чем научных книг, достойна всякого сожаления. «Организм умирает, дух остается!» — вот все: вера, выраженная восклицианием; соответственно настроенные умы, конечно, предпочтут этот выкрик данным науки. Однако, таких меньшинство, в чем я и убедил вас сегодняшним выступлением.

— Господин Ордова просит разрешения видеть вас! — сказал, появляясь в дверях, лакей.

Собеседники переглянулись; Трайян усмехнулся, пожав плечами. Лей просиял от любопытства и нетерпения. Несколько мгновений Трайян молчал, обдумывая тон встречи, пока ему не показалось более уместным, как победителю, почтительное и серьезное отношение.

— Просите! — мягко сказал он и продолжал, подымаясь навстречу входившему Ордове: — Очень, очень мило с вашей стороны, что вы навести́ли человека, искренне расположенного к вам, помимо всяких теорий. Садитесь, прошу вас. Ордова — генерал Лей.

Невзрачное, грустное лицо Ордовы выразило легкое замешательство.

— В этот поздний час, господин Трайян,— сказал он таким же грустным, как и его лицо, но решительным и

свободным голосом,— я пришел по немаловажному делу к вам лично.

Генерал поклонился и разочарованно протянул руку Трайяну.

— Как лишний, я удаляюсь...

Но Трайян знаком остановил его.

— Не уходите, Лей, я не хотел бы секретов и, вообще, никакой таинственности.

— Извините,— сказал Ордова,— я пришел с коротким, практическим предложением, но такого рода, что намек на третье лицо был нелишним. Если генерал Лей находится в курсе вопросов, рассмотренных в сегодняшнем заседании и не состоит членом общества покровительства животным,— я без задержек перейду к делу.

— Вопрос идет о животном? — спросил Трайян, рассматривая Ордову в упор.— Однако я хотел бы избежать мистификации.

— Зачем? — искренно возразил Ордова,— когда можно обойтись без всякой мистификации!

— Я и генерал Лей слушаем вас,— коротко заявил Трайян.

Гость поклонился, и все сели; тогда Ордова заговорил:

— Для скептиков, людей предвзятого мнения, людей легкомысленных и людей искренне убежденных существует неотразимо повергающее их оружие — сила факта. Обстановка факта, внешняя и внутренняя его сторона должны быть наглядными и бесспорными. Могли ли бы вы, Трайян, быв очевидцем, даже действующим лицом факта бесспорного, опровергающего нечто весьма существенное в вашем мировоззрении,— явить мужество признанием власти факта?

Трайян подумал и, не найдя в словах Ордовы ловушки, сказал:

— Приняв бесспорность факта существеннейшим и главнейшим условием — да, мог бы, как ученый и человек.

— Хорошо,— продолжал Ордова,— то, что я изложу далее, не требует с вашей стороны возражений. Вы можете просто, в худшем случае, пропустить это мимо ушей. Внимательное изучение древних восточных авторов, подтвержденное собственными моими опытами, привело меня к убеждению в действительном существ-

возании Духа живой Жизни, духовной основы всякого организма. Естественная смерть существа никогда не бывает достаточно быстрой для того, чтобы освобождение, или исход Духа, произвело резкое впечатление на присутствующих; какими путями совершается это, доныне нам неизвестно, во всяком случае, постепенное освобождение духовной энергии в сравнении с мгновенным истреблением ее путем идеально быстрого уничтожения тела, почти неведомого природе,— относится одно к другому так же, как взрыв пороха — к медленному его сгоранию. Под идеально быстрым уничтожением подразумеваю я не только предшествующий окончательной смерти полный паралич организма, как в случаях разрыва сердца или апоплексии, а полное сокрушение, обращение в бесформенную материю. Вам, Трайян, и вам, генерал, предлагаю я завтра в 12 часов дня быть свидетелями такой смерти, смерти сильного, здорового льва; мой выбор я остановил на этом звере ради его сравнительно небольших размеров, отвечающих условиям опыта, но, главным образом, в силу огромного количества невесомой таинственной энергии или Духа, заключенного в льве, как в носителе силы.

— Насколько я понял вас,— сказал Трайян, улыбаясь безобидно, как если бы речь шла о сложной и умной шалости,— освобожденный дух льва будет доступен моим физическим чувствам?! Но как и в какой мере?

— Как — не знаю,— серьезно сказал Ордова,— но, ручаюсь, в достаточно убедительной степени. Завод Трикатура отдал в мое распоряжение восьмисотпудовый паровой молот; молот убьет льва. Я не требую у вас участия в расходах по опыту, так как это моя затея; прошу лишь, после составления письменного акта о происшедшем, присоединить свою подпись.

— Согласен,— высокомерно сказал Трайян.— Лей, что вы думаете об этой истории?

Глаза Лея блестели одушевлением и азартом.

— Я думаю... я думаю,— вскричал он,— что время до двенадцати часов полудня покажется мне тысячелетней пыткой!

— Я жду вас,— сказал Ордова, прощаясь, затем, помолчав, прибавил: — Довольно трудно было найти льва,

и я, кажется, немного переплатил за своего Регента. Я уложу. Не думайте о моих словах, как о шутке или безумстве.

Он вышел; когда дверь закрылась, Трайян сел за стол, уронил голову на руки и разразился истерическим, неудержимым, широким, страшным, гомерическим хохотом.

— Лев!..— бросал он в редкие секунды затишья,— под паровым молотом!.. в лепешку!.. с хвостом и грибой!.. ведь этого не выдумаешь под страхом казни!.. О, Лей, Лей, как ни самоуверен Ордова,— все же я не ожидал одержать победу сегодня над таким жалким, таким позорно — для меня — жалким противником.

II

Лев, купленный Ордовой в зверинце Тоде, пятилетний светло-желтый самец крупных размеров, отправился в тесной и прочной клетке к месту уничтожения около одиннадцати часов утра. Льва звали Регент. Его сопровождал опытный укротитель Витрам, человек, в силу профессии, привычки и вдумчивости, любивший животных более, чем людей. Витрам ничего не знал о роковом будущем Регента. Он провожал его за плату, по приглашению, на загородный завод Трикатура; сидя на краю фуры автомобиля, он обращался время от времени к Регенту с ласковыми, одобрительными словами, на что лев отвечал раскатами короткого рева, подобного грому. Фура двигалась окольными улицами; во тьме плотно укутанной брезентовым чехлом клетки лев раздраженно переносил надоедливую оскорбительную тряску долгой езды, неловко прижавшись в угол, ударяя хвостом о прутья и мгновенно воспаляясь гневом, когда более резкие толчки мостовой принуждали его менять положение. В таких случаях он ревел грозно и долго, с явным намерением устрашить таинственную силу движения, приводящую его, огненной силы, непокорное, мускулистое тело в состояние тягостной неустойчивости. Пойманный уже взрослым, он тосковал в неволе ровной, глухой тоской, лишенной всякого унижения, иногда отказываясь от пищи, если случайный оттенок ее запаха терзал сердце неясными, как забытый, но яркий сон, чувствами свободного прошлого.

— Еще немного потерпи, рыжий,— сказал Витрам, заведя через далекие крыши построек черные башенные трубы завода, изливающие густой дым,— хотя, разорви меня на куски, я не сумею сказать тебе, зачем твое дикое величество переезжает в новое помещение.

Регент, зная по тону голоса, что Витрам обращается к нему, взревел на всю улицу.

— Сбрендил, надо быть, какой-то состоятельный человек,— продолжал Витрам,— потянуло его к зоологии, вообразил он себя римским вельможей, из тех, что разгуливали в сопровождении гепардов и барсов, и купил нашего Регента. Тебя, старик, посадят в саду, на видном месте, среди так знакомой тебе тропической зелени. Вечером над фонтаном вспыхнет голубая электрическая луна; толпа близоруких щеголей, взяв под ручку молодых женщин со старческой душой и косметическим телом, займется снисходительной критикой твоей внешности, хвоста, движений, лап, мускулов, гривы...

Витрам умолк; лев рявкнул.

— А чем кормят львов? — осведомился шофер.

— Твоими ближними,— сказал Витрам, и шофер, думая, что услышал очень забавную вещь, громко захохотал. Минуту спустя, фургон проезжал мимо рынка; запах сырого мяса заставил Регента круто метнуться в клетке, и все его большое, тяжелое тело заныло от голода. Не зная, где мясо, так как тьма была полной, а запах, проникая в нее, властно щекотал обоняние,— лев несколько раз ударил лапами вниз и над головой, разыскивая обманчиво близкую пищу; но когти его встретили пустоту, и внезапная ярость зверя развернулась таким ревом, что на протяжении двух кварталов остановились прохожие, а Витрам хлопнул бичом по клетке, приглашая к терпению.

Наконец, въехав в ворота, фургон остановился у закопченного кирпичного здания, и Витрам, спрыгнув, подошел к слегка бледному, но спокойному Ордове. Тут же стояли Трайян и генерал Лей.

— Регент приехал,— сказал Витрам,— и так как вы, кроме этого, рассчитывали на мое искусство,— то я к вашим услугам.

Трайян, находя свое положение несколько глупым, молчал, решив ни во что не вмешиваться, но генерал

выказал живое участие к хлопотам по сниманию и установке клетки вблизи парового молота.

Это гигантское сооружение терялось верхними частями в мраке неосвещенного купола; из труб, слабо шипя, просачивался пахнувший железом и нефтью пар; молот был поднят, саженная площадь наковальни тускло блестя, подобно черной вечерней луже, огнем спущенных ламп.

Витрам еще не догадывался, в чем дело; он проворно развязывал веревки, снимал с клетки брезент; завод пуствовал, так как был праздник, и привести молот в действие должен был сам Ордова.

— Как же, Трайян,— сказал Лей,— отнесетесь вы к антрепренеру Ордове, если его постигнет фиаско?

— Очень просто,— хмуро заявил Трайян, смотревший на молот с нетерпением и брезгливостью,— я ударю его по лицу за жестокость и дерзость. Неужели вы, умный человек, ждете успеха?

— А... как сказать?! — возразил генерал с бесстыдством любопытного и жадного к зрелищам человека.— Пожалуй, жду и хочу всем сердцем необыкновенных вещей. Скажу вам откровенно, Трайян: хочется иногда явлений диких, странных, редких,— случаев необъяснимых; и я буду очень разочарован, если ничего не случится.

— Ренегат! — шутиливо сказал Трайян.— Вчера вы аплодировали мне, кажется, искренне.

— Вполне, подтверждаю это, но вчера в высоте мгновения стояли вы, теперь же, пока что — лев.

— Посмотрите на льва,— сказал подходя Ордова,— как нравится вам это животное?

Брезент спал. Регент стоял в клетке, устремив на людей яркие неподвижные глаза. Его хвост двигался волнообразно и резко; могучая отчетливая мускулатура бедер и спины казалась высеченной из рыжего камня; он шевельнулся, и под шерстистой кожей плавно перелились мышцы; в страшной гриве за ухом робко белела приставшая к волосам бумажка.

— Хорошо, и жалко его,— серьезно сказал Трайян.

Лей молчал. Витрам хмуро смотрел на льва. Ордова подошел к молоту, двинув рычаг для пробы двумя неполными поворотами; массивная стальная громада, легко порхнув книзу и вверх, не коснувшись нако-

вальни, снова остановилась вверху, темнея в глубине купола.

— Ну, Витрам,— сказал, ласково улыбаясь, Ордова,— вы, дорогой мой, должны, как сказано, нам помочь. Регент вас слушается?

— Бывали послушания, сударь, но небольшие, детские, так сказать, вообще он послушный зверь.

— Хорошо. Откройте в таком случае клетку и пригласите Регента взойти на эту наковальню.

— Зачем? — растерянно спросил Витрам, оглядываясь вокруг с улыбкой добродушного непонимания.— Льва на наковальню!?

— Вот именно! Однако не теряйтесь в догадках. Здесь происходит научный опыт. Лев будет убит молотом.

Витрам молчал. Глаза его со страхом и изумлением смотрели в глаза Ордовы, блестящие тихим, влажным светом непоколебимой уверенности.

— Слышишь, Регент,— сказал укротитель,— что приготовили для тебя в этом месте?

Не понимая его, но обеспокоенный нервным тоном, лев, с мордой, превращенной вдруг в сплошной оскал пасти, с висящими вниз клыками верхней, грозной сморщенной челюсти, заревел глухо и злобно. Трайян отвернулся. Витрам, дав утихнуть зверю, сказал:

— Я отказываюсь.

— Тысяча рублей,— раздельно произнес Ордова,— за исполнение сказанного.

— Я даже не слышал, что вы сказали,— ответил Витрам,— я думал сейчас о льве... Такого льва трудно, господа, встретить, более способного и умного льва...

— Три тысячи,— сказал Ордова, повышая голос,— это нужно мне, Витрам, очень, необходимо нужно.

Витрам в волнении обошел кругом клетки и закурил.

— Господа! Я человек бедный,— сказал он с мукой на лице,— но нет ли другого способа произвести опыт? Этот слишком тяжел.

— Пять тысяч! — Ордова взял вялую руку Витрама и крепко пожал ее.— Решайтесь, милый. Пять тысяч очень хорошие деньги.

— Соблазн велик,— пробормотал укротитель, неподдельно презирая себя, когда, после короткого раздумья, остановился перед дверцей клетки с револьвером.

ром и хлыстом.— Регент, на эшафот! Прости старого друга!

Ордова, прикрепив к рычагу веревку, чтобы не очутиться в опасной близости к льву, и, обмотав конец привязи о кисть правой руки, поместился саженях в двух от молота. Трайян, желая избежать всякой возможности шарлатанства, тщательно осмотрелся. Он стал вдали от всяких предметов, машин и нагромождений железа под электрической лампой, ровно озарявшей вокруг него пустой, в радиусе не менее двадцати футов, усыпанный песком, каменный пол; Лей стоял рядом с Трайяном; оба осмотрели револьверы, предупредительно выставив их, на худой случай, дулом вперед.

Витрам, звякнув в полной тишине ожидания запорами и задвижками, открыл клетку.

— Регент! — повелительно сказал он. — Вперед, ближе сюда, марш! — Лев вышел решительными крутыми шагами, потягиваясь и подозрительно щурясь; Витрам взмахнул хлыстом, отбежав к наковальне. — Сюда, сюда! — закричал он, стуча рукояткой хлыста по отполированному железу. Регент, опустив голову, неподвижно стоял, ленясь повторить знакомое и скучное упреждение. Приказания укротителя становились все резче и повелительнее, он повторял их, бешено щелкая хлыстом, тоном холодного гнева, расталкивая сопротивление льва взглядом и угрожающими жестами; и вот, решив отделаться, наконец, от докучного человека, Регент мягким усилием бросил свое стремительное тело на наковальню и выпрямился, зарывчав вверх, откуда смотрела на него черная плоскость восьмисотпудовой тяжести, связанной с слабой рукой Ордовы крепкой веревкой.

Ордова качнул рычаг в тот момент, когда Витрам отскочил, закрыв лицо руками, чтобы не видеть размножения Регента, и молот мигнул вниз так быстро, что глаза зрителей едва уловили его падение. Глухой тяжкий удар огласил здание; в тот же момент толчок шумного, полного жалобных, стонущих голосов вихря опрокинул всех четырех людей, и, падая, каждый из них увидел высоко мечущийся огненный образ льва, с лапами, вытянутыми для удара.

Все, кроме Ордовы, встали; затем подошли к Ордове. Кровь льва, подтекая с наковальни, мешалась с его

кровью, клещущей из разодранного смертельно горла; жилет был сорван, и на посинелой груди, вспахав ее дымящимися рубцами, тянулся глубокий след львиных когтей, расплюснутых секунду назад в бесформенное ничто.

ПОВЕСТЬ, ОКОНЧЕННАЯ БЛАГОДАРЯ ПУЛЕ

I

Коломб, сев за работу после завтрака, наткнулся к вечеру на столь сильное и сложное препятствие, что, промучившись около часу, счел себя неспособным решить предстоящую задачу в тот же день. Он приписал бессилие своего воображения усталости, вышел, посмеялся в театре, поужинал в клубе и заснул дома в два часа ночи, приказав разбудить себя не позже восьми. Свежая голова хорошо работает. Он не подозревал, чем будет побеждено препятствие; он не усвоил еще всей силы и глубины этого порождения творческой психологии, надеясь одержать победу усилием художественной логики, даже простого размышления. Но здесь требовалось резкое напряжение чувств, подобных чувствам избражаемого лица, уподобление; Коломб еще не сознавал этого.

В чем же заключалось препятствие? Коломб писал повесть, взяв центром ее стремительное перерождение женской души. Анархист и его возлюбленная замыслили «пропаганду фактом». В день карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и, одетые в пестрые праздничные костюмы, едут к городской площади, в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд,— месть толпе,— казнь ее за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель: напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу. Так собираются они поступить. Но таинственные законы духа, наперекор решимости, убеждениям и мировоззрению, при-

водят героиню рассказа к спасительному в последний момент отступлению перед задуманным. За то время, пока карнавальный экипаж их движется в ряду других, среди восклицаний, смеха, музыки и шумного оживления улиц к роковой площади, в душе женщины происходит переворот. Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из разрушительницы — человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, простой, но, по существу, глубоко человеческой жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом.

Коломб искал причин этой благодетельной душевной катастрофы, он сам не принимал на веру разных «вдруг» и «наконец», коими писатели часто отделяются в трудных местах своих книг. Если в течение трех-четырех часов взрослый, пламенно убежденный человек отвергает прошлое и начинает жить снова — это совсем не «вдруг», хотя был срок по времени малый. Ради собственного удовлетворения, а не читательского только, требовал он ясной динамики изображенного человеческого духа и был в этом отношении требователен чрезмерно. И вот, с вечера пятого дня работы, стал он, как сказано, в тупик перед немалой задачей: понять то, что еще не создано, создать самым процессом понимания причины внутреннего переворота женщины, по имени Фай.

Слуга принес кофе и зажег газ. Уличная тьма редела; Коломб встал. Он любил свою повесть и радовался тишине еще малолюдных улиц, полезной работе ума. Он выкурил несколько крепких папирос одну за другой, прихлебывая кофе. Тетрадь с повестью лежала перед ним. Просматривая ее, он задумался над очередной белой страницей.

Он стал писать, зачеркивать, вырывать листки, курить, прохаживаться, с головой, полной всевозможных предположений относительно героини, представив ее красавицей, он размышлял, не будет ли уместным показать пробуждение в ней долго подавляемых инстинктов женской молодости. Веселый гром карнавала не мог ли встряхнуть сектантку, привлечь ее, как женщину, к соблазнам поклонения, успехов, любви? Но это плохо вязалось с ее характером, сосредоточенным и глубоким.

К тому же подобное рассеянное, игривое настроение немислимо в ожидании смерти.

Опять нужно было усиленно курить, метаться по кабинету, тереть лоб и мучиться. Рассвело; табачный дым, наполнявший кабинет, сгустился и стал из голубоватого серым. Окурки, заполнив все пепельницы, раскинулись по ковру. Коломб обратился к естественным чувствам жалости и страха пред отвратительным злодеянием; это было вполне возможно, но от сострадания к полному, по убеждению, разрыву с прошлым — совсем не так близко. Кроме того, эта версия не соответствовала художественному плану Коломба — она лишала повесть значительности крупного события, делая ее достаточно тенденциозной и в дурном тоне. Мотивы поведения Фай должны были появиться в блеске органически свойственной каждому некоей внутренней трагедии, приобретая этим общее, независимое от данного положения, значение; сюжет повести служил, главным образом, лишь одной из форм вечного драматического момента. Какого? Коломб нашел этот вопрос очень трудным. Временная духовная слепота поразила его, — обычное следствие плохо продуманной сложной темы.

Бесплодно комбинируя на разные лады два вышеописанные и отвергаемые им самим состояния души, прибавил он к ним еще третье: животный страх смерти. Это подало ему некоторую, быстро растаявшую, надежду, — растаявшую очень быстро, так как она унижала в его глазах глубокий, незаурядный характер. Он гневно швырнул перо. Тяжелая обессиленная голова отказалась от дальнейшего изнурительного одностороннего напряжения.

— Как, уже вечер? — сказал он, смотря в потемневшее окно и не слыша шагов сзади.

— Удивительно, — возразил посетитель, — как вы обратили на это внимание, да еще вслух. Именно — вечер. Но я задыхаюсь в этом дыму. Сквозь такую завесу затруднительно определить ночь, утро, вечер или день на дворе.

— Да, — радуясь невольному перерыву, обернулся Коломб, — а я еще не ел ничего, я переваривал этот

проклятый сюжет.— Он отшвырнул тетрадь и поставил на место, где она лежала, корзинку с папиросами.— Ну, как вы живете, Брауль? А? Счастливый вы человек, Брауль.

— Чем? — сказал Брауль.

— Вам не нужно искать сюжетов и тем, вы черпаете их везде, где захотите, особенно теперь, в год войны.

— Я корреспондент, вы — романист, — сказал Брауль, — меня читают полчаса и забывают, вас читают днями, вспоминают и перечитывают.

— А все-таки.

— Если вы завидуете скромному корреспонденту, мэтр Коломб, — поедemте со мной на передовые позиции.

— Вот что! — воскликнул Коломб, пристально смотря в деловые глаза Брауля. — Странно, что я еще не думал об этом.

— Зато думали другие. Я к вам явился сейчас с формальным предложением от журнала «Театр жизни». От вас не требуется ничего, кроме вашего имени и таланта. Журнал просит не специальных статей, а личных впечатлений писателя.

Коломб размышлял. «Может быть, если я временно оставлю свою повесть в покое, она отстоится в глупой моей голове». — Предложение Брауля нравилось ему резкой новизной положения, открывающего мир неизведанных впечатлений. Трагическая обстановка войны развернулась перед его глазами; но и тут, в мысленном представлении знамен, пушек, атак и выстрелов, носился неодолимый, повелительно приковывая внимание, загадочный образ Фай, ставший своеобразной болезнью. Коломб ясно видел лицо этой женщины, невидимой Браулю. «Ничто не мешает мне, наконец, думать в любом месте о своей повести и этой негодяйке, — решил Коломб. — Разумеется, я поеду, это нужно мне как человеку и как писателю».

— Ну, еду, — сказал он. — Я, правда, не баталист, но, может быть, сумею принести пользу. Во всяком случае, я буду стараться. А вы?

— Меня просили сопровождать вас.

— Тогда совсем хорошо. Когда?

— Я думаю, завтра в три часа дня. Ах, господин Коломб, эта поездка даст вам гибель подлинного интересного материала!

— Конечно.— «Что думала она, глядя на веселую толпу?» — Тьфу, отвяжись! — вслух рассердился Коломб.— Это сводит меня с ума!

— Как? — встрепнулся Брауль.

— Вы ее не знаете, — насмешливо и озабоченно пояснил Коломб.— Я думал сейчас об одной моей знакомой, особе весьма странного поведения.

II

Двухчасовой путь до Л. ничем не отличался от обыкновенного пути в вагоне, не считая двух-трех пассажиров, пораженных событиями до полной неспособности говорить о чем-либо, кроме войны. Брауль поддерживал такие разговоры до последней возможности, ловя в них те мелкие подробности настроений, которые считал характерными для эпохи. Коломб рассеянно молчал или произносил заурядные реплики. Нервное возбуждение, вызванное в нем быстрым переходом от кабинетной замкнутости к случайностям походной жизни, затихло. Вчера и сегодня утром он охотно, с гордостью думал о предстоящих ему — вверенных его изображению — днях войны, ее героях, быте, жертвах и потрясениях, но к вечеру ожидания эти потеряли остроту, уступив тоскливому, неотвязному беспокойству о неоконченной повести. С топчущейся на месте мыслью о героине сел он в вагон, пытаясь временами, бессознательно для себя, сосредоточиться на тумане темы среди дорожной обстановки, станционных звонков, гула рельс и окон, струящихся быстро мелькающими окрестностями.

От Л. путь стал иным. Поезд миновал здесь ту естественную границу, позади которой войну можно еще представлять, иметь дело с ней только мысленно. За этой чертой, впереди, приметы войны являлись видимой действительностью. У мостов стояли солдаты. На вокзале в Л. расположился большой пехотный отряд, лица солдат были тверды и сумрачны. Вагоны опустели, пассажиры мирной наружности исчезли; зато время от времени появлялись офицеры, одиночные солдаты с сумками, какие-то чиновники в полувоенной форме. В купе,

где сидел Коломб, вошел кавалерист, сел и уснул сразу, без зевоты и промедления. В сумерках окна Брауль заметил змеевидные насыпи и показал Коломбу на них; то были брошенные окопы. Иногда сломанное колесо, дышло, разбитый снарядный ящик или труп лошади с неуклюже приподнятыми ногами безмолвно свидетельствовали о битвах.

Брауль вынул часы. Было около восьми. К девяти поезд должен был одолеть последний перегон и возвращаться назад, так как конечный пункт его следования лежал в самом тылу армии. Коломб погрузился в музыку рельс. Рой смутных ощущений, неясных, как стаи ночных птиц, пронеслся в его душе. Брауль, достав записную книжку, что-то отмечал в ней короткими, бисерными строчками. На полустанке вошел кондуктор.

— Поезд не идет дальше,— сказал он как бы вскользь, что произвело еще большее действие на Коломба и Брауля.— Да, не идет, путь испорчен.

Он хлопнул дверью, и тотчас же фонарь его мелькнул за окном, направляясь к другим вагонам.

Рассеянное, мечтательное настроение Коломба оборвалось. Брауль вопросительно глядел на него, сжав губы.

— Что ж! — сказал он.— Как это ни неприятно, но вспомним, что мы корреспонденты, Коломб; нам придется еще с очень многим считаться в этом же роде.

— Пойдемте на станцию,— сказал Коломб.— Там выясним что-нибудь.

Кавалерист проснулся, как и уснул — сразу. Узнав в чем дело, он долго и основательно ругал пруссаков, затем, переварив положение, стал жаловаться, что у него нет под рукой лошади, его «Прекрасной Мари», а то он отмахнул бы остаток дороги шутя. Кто теперь ездит на великолепной гнедой Мари? Это ему, к сожалению, неизвестно; он едет из лазарета, где пролежал раненый шесть недель. Может быть, Мари уже убита. Тогда пусть берегутся все первые попавшиеся немцы! У кавалериста было грубоватое, правильное лицо с острыми и наивными глазами. В конце концов, он предложил путешественникам отправиться вместе.

— Я тут все деревни кругом знаю,— сказал он.— За деньги дадут повозку.

— Это нам на руку, — согласился Брауль. — А пешком много идти?

— Нет. На Гарнаш или Пом? — Солдат задумчиво поковырял в ухе. — Пойдем на Гарнаш, оттуда дорога лучше.

Бойкий вид и авторитетность кавалериста уничтожили, в значительной мере, неприятность кондукторского заявления. Солдат, Брауль и Коломб вышли на станцию. Здесь собралось несколько офицеров, решивших заночевать тут, так как на расспросы их относительно исправления пути не было дано толковых ответов. Начальник полустанка выразил мнение, что дело вовсе не в пути, а в немцах, но — что, почему и как? — сам не знал. Брауль, подойдя к офицерам, выпросил их кой о чем. Они направлялись совсем в иную сторону, чем корреспонденты, и присоединяться к ним не было оснований. Пока Брауль беседовал об этом с Коломбом, неугомонный, оказавшийся весьма хлопотливым парнем, кавалерист дергал их за полы плащей, подмигивал, кричал и топтался от нетерпения. Наконец, решив окончательно следовать за своим случайным проводником, путешественники вышли из унылого, пропахшего грязью и керосином станционного помещения, держа в руках саквояжи, по счастью, необъемистые и легкие, с самым необходимым.

Тьма, пронизанная редким, сырым туманом, еле-еле показывала дорогу, извивающуюся среди голых холмов. Брауль и Коломб привели в действие электрические фонари; неровные световые пятна, сильно освещаая руку, падали в дорожные колеи мутными, колеблющимися конусами. Коломб шел за световым пятном фонаря, опустив голову. Бесполезно было осматриваться вокруг, глаза бессильно упирались в мрак, скрывший окрестности. Звезд не было. Кавалерист шагал немного впереди Брауля, помогавшего ему своим фонарем; Коломб следовал позади.

Пока солдат, определив Брауля, как более общительного и подходящего себе спутника, бесконечно рассказывал ему о боевых днях, делая по временам, видимо приятные ему отступления к воспоминаниям личных семейных дел, в которых, как мог уяснить Коломб, главную роль играли жена солдата и наследственный пай в мельничном предприятии, — сам Коломб не без удоволь-

ствия ощутил наплыв старых мыслей о повести. Без всякого участия воли они преследовали его и здесь, на темной захоластной дороге. То были те же много раз рассмотренные и отвергнутые сплетения воображенных чувств, но теперь, благодаря известной оригинальности положения самого романиста, резкому ночному воздуху, мраку и движению, получили они некую обманную свежесть и новизну. Пристально анализируя их, Коломб скоро убедился в самообмане. С этого момента существо его раздвоилось: одно «я» поверхностно, в состоянии рассеянного сознания, воспринимало действительность, другое, ничем не выражающее себя внешне, еще мало изученное «я» — заставляло в ровном, бессознательном усилии решать загадку души Фай, женщины столь же реальной теперь для Коломба, как разговор идущих впереди спутников.

Решив (в чем ошибался), что достаточно приказать себе бросить неподходящую к месту и времени работу мысли, как уже вернется непосредственность ощущений, — Коломб тряхнул головой и нагнал Брауля.

— Вы не устали? — спросил он снисходительным тоном новичка, ретиво берущегося за дело. — Что же касается меня, то я, кажется, годен к походной жизни. Мои ноги не жалуются.

— Теперь недалеко, — сообщил кавалерист. — Скоро придем. — Ходить трудно, — прибавил он, помолчав. — Я раз ехал, вижу, солдат сидит. Чего бы ему сидеть? А у него ноги не действуют; их батальон тридцать миль ночью сделал. И так бывает — человек идет — вдруг упал. Это был обморок, от слабого сердца.

Коломб был хорошего мнения о своем сердце, но почему-то не сказал этого. С холма, на вершину которого они поднялись, виднелся тусклый огонь, столь маленький и слабый благодаря туману, что его можно было принять за обман напряженного зрения.

— Вот и Гарнаш. — Кавалерист обернулся. — Вы думаете, это далеко? Сто шагов; туман обманчив.

Подтверждая его слова, мрак разразился злобным собачьим лаем.

— Что чувствует человек в бою? — спросил солдата Коломб. — Вот вы, например?

— Ах вот что? — Кавалерист помолчал. — То есть страшно или не страшно?..

— В этом роде.

— Видите, привыкаешь. Не столько, знаете, страшно, сколько трудно. Трудная это работа. Однако, черт возьми!— Он остановился и топнул ногой.— Ведь это наша земля?! Так о чем и говорить?

Считая, по-видимому, эти слова вполне исчерпывающими вопрос, солдат направился в обход изгороди. За ней тянулась улица; кое-где светились окна.

III

Не менее часа потратили путешественники на обход домов, разговоры и торг, пока удалось им отыскать помещительную повозку, свободную лошадь и свободного же ее хозяина. Человек этот, по имени Гильом, был ярмарочным торговцем и знал местность отлично. Он рассчитывал к утру вернуться обратно, отвезя путников в арьергард армии. Хорошая плата сделала его проворным. Коломб, сидя в темноте у ворот, не успел докурить вторую папиросу, как повозка была готова. Разместив вещи, путешественники уселись, толкая друг друга коленями, и Гильом, стегнув лошадь, выехал из деревни.

— Поговаривают,— сказал он, пустив лошадь рысью,— что пруссаки показываются милях в десяти отсюда. Только их никто не видел.

— Разъезды везде заходят,— согласился кавалерист.— Ты бы, дядя Гильом, придерживался, на всякий случай, открытых мест.

— Лесная дорога короче.— Гильом помолчал.— Я даже днем не расстаюсь с револьвером.

— Вот вам,— сказал Брауль Коломбу,— разговор, освежающий нервы. В таких случаях я всегда нащупываю свой револьвер, это еще больше располагает к приключениям.

— Я не прочь встретить немца,— заявил Коломб.— Это было бы хорошим экзаменом.

— Если вам захочется побывать на передовых позициях, вы увидите очень много немцев. Однако это все пустышки.

— Лесная дорога короче,— снова пробормотал Гильом.

— А, милый, поезжайте, как знаете,— сказал Брауль.— Нас четверо; вы — травленная собака, я могу

считаться полувоенным, что касается остальных двух, то один из них настоящий солдат, в полном вооружении, а другой попадает в туза.

— Правильно,— сказал кавалерист, закручивая усы.— Неужели вы в туза попадаете? — удивленно осведомился он у Коломба.

— Если бы у вас было столько свободного времени, сколько у меня,— ответил, смеясь, Коломб,— вы научились бы убивать стрекозу в воздухе.

«Тут-туп-туп...» — стучали копыта. Движение во тьме, по извилистой, встряхивающей, неизвестной дороге принадлежало к числу любимых ощущений Коломба. Бесцельно и нетребовательно он отдавался ему, прислушиваясь к мрачному сну равнин. Вскоре начался лес. Переход от открытых мест к стиснутому деревьями пространству был замечен благодаря тьме лишь по неподвижности ставшего еще более сырым воздуха, запаху гнилых листьев и особенно отчетливому стуку колес, переезжающих огромные корни. Слева, загремев долгим эхом, раздался выстрел.

— Ого! — сказал, инстинктивно останавливая лошадь, Гильом.

Кавалерист привстал. Коломб и Брауль выхватили револьверы. Гильом опомнился, бешено размахивая кнутом, он пустил лошадь вскачь. Повозка, оглушительно тарахтя, ринулась под бойко застучавшими из тьмы выстрелами в дремучую глубину леса. Эхо стрельбы, раскатисто рвущее тишину, усиливало тревогу. Немногие восклицания, которыми успели обменяться путники, были скорее выражением чувств, чем мысли, так как перед лицом явной опасности думать не о чем, кроме спасения, а это, как без слов понимали все, зависело от тьмы и быстроты лошади. Коломбу чудились крики, свист пуль; одна из них, пущенная наугад вдоль дороги, действительно была им услышана; резкий короткий свист ее оборвался щелчком в попутный древесный ствол.

Повозка мчалась, немилосердно встряхивая пассажиров, выстрелы стихли, оборвались. Наступила пауза, в течение которой слышались лишь болезненное хрипение лошади и треск прыгающих колес. Затем, как бы заключая цепь впечатлений, грянул последний выстрел; случаю было угодно, чтобы на этот раз пуля достиг-

ла цели. Коломб, пробитый насквозь, подскочил, задохнувшись на мгновение от боли в прорванном легком, вскрикнул и сказал:

— Меня ударило.— Он опустился на руки Брауля. Гильом свернул в чащу леса и остановил лошадь.

IV

Коломбу много раз приходилось, конечно, задумываться над ощущениями раненого человека и даже описывать это в некоторых произведениях. Основой таких переживаний,— не будучи сам знаком с ними,— он считал самые тяжелые чувства: испуг, тоску, отчаяние, гнев на судьбу и т. д. Люди, стоящие перед лицом смерти, казались ему похожими друг на друга внутренней своей стороной. Затем он думал, что сознание смертельной опасности, возникающее у тяжело раненного — неисчерпаемо сложно, туманно, и тратил на уяснение подобного момента десятки страниц, не сомневаясь, что и сам пережил бы колоссальную психическую вибрацию. Между тем лично с ним все произошло так:

За выстрелом последовал красноречивый, горячий толчок в спину. Немедленно же представление о пуле и ране соединилось с колющей, скоро прошедшей, болью внутри грудной клетки. Первая мысль была о смерти, то есть о неизвестном, и была поэтому собственно мыслью о предстоящей, быть может, в скором времени потере сознания, на что сознание ответило возмущением и недоумением. Весь момент напоминал ошибку в числе ступенек лестницы, когда сдержанное движение ноги встречает пустоту, и человек, лишенный равновесия,— замирает, оглушенный падением, причина которого делается ясна раньше, чем руки падающего упрутся в землю.

К счастью путников, когда Гильом круто повернул с дороги в лес, повозка не зацепила колесами о стволы и пробила довольно далеко в глушь. Тряска лесной почвы была, однако же, нестерпимо мучительна для Коломба. Ветви били его по лицу, усиливая раздражение организма, взволнованного возобновившейся болью. Наконец, лошадь дернулась взад-вперед и остановилась. Гильом, помогая Коломбу сойти, прислушивался к монотонной тишине ночи; ни топота, ни голосов не было

льшино в стороне нападения. По всей вероятности, немецкий разведчик ограничился стрельбой наугад, по слуху, не зная, с кем, с каким числом людей имеет дело; или же, сбитый с толку беспорядочным лесным эхом, пустился в другом направлении. Теперь, когда окончательно смолк лошадиный топот и стук колес, путешественники могли спокойно заняться раненым.

Растерявшийся Брауль осветил фонарем Коломба, сидевшего, прислонясь к дереву.

— Ну и разбойники,— сказал кавалерист, помогая корреспонденту снять куртку с Коломба.

От сломанного, выступающего концом наружу ребра сочилась темная кровь. Вся рубашка была в пятнах. Несмотря на все, Коломб чувствовал своеобразное любопытство к своему положению. Вид мокрого темного передка рубашки страшно взволновал его, но не испугал. Волнение поддерживало его силы. Интеллект покуда молчал; организм, осваиваясь с необычным состоянием, противился действию разрушения; сердце жестоко билось, во рту было сухо и жарко.

— Однако,— сказал Коломб,— лучше бы нам сесть в повозку и ехать.— Он упирался руками в землю, желая подняться, и застонал.— Нет, не выйдет ничего. Но вы поезжайте.

— Глупо,— сказал Брауль, развертывая бинты.— Расставьте руки.— Он стал перевязывать раненого, говоря: — Все это моя затея. Что я скажу обществу и редакции? Вам очень больно?

— Боль глухая, когда я не шевелюсь.

— Поступим так,— сказал солдат.— Мы,— я и дядя Гильом,— мигом устроим носилки, дерева здесь много,— понесем вас потихонечку, господин Коломб. А вы, значит, потерпите пока. Гильом, есть веревка?

— Есть. Хватило бы повесить кой-кого из этих стрелков.

Гильом стал шарить в повозке, а кавалерист, захватив фонарь, отправился за жердями. Скоро послышался чавкающий стук его палаша. Брауль сделал Коломбу тугую, крестообразную повязку, заставил раненого лечь на разостланный плащ и сел рядом, вздыхая в ожидании носилок.

Не желая усиливать тягостное настроение спутников разговором о своем положении, Коломб молчал. Он

знал уже, что рана сквозная, и, хотя это обстоятельство говорило в его пользу,— ждал смерти. Он не боялся ее, но ему было жалко и страшно покидать жизнь такой, какой она была. Потрясение, нервность, торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию — придали его оценке собственной жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты. Несовершенство своей жизни он видел очень отчетливо. В сущности, он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал все, что не отвечало его наклонностям; в живом мире любви, страданий и преступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир, враждебный другим людям, хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайностей настроения, возведенных в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь, по присущей ему невнимательности, допускалось попираание чужой души, со всеми его тягостными последствиями, в виде обид, грусти и оскорбленности. В любви он напоминал человека, впотяха шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виновным, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а пороки — неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям.

Жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, казалась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть утешала его, а невозможность, в случае смерти, излечить прошлое. «Я должен выздороветь,— сказал Коломб,— я должен, невозможно умирать так». — Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим.

И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при полном осве-

щении мысли, то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает смерти; как он, желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде. Как он — она человек касты; ему заменила живую жизнь привычка жить воображением; ей — идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство.

— Наконец-то,— сказал Коломб вслух пораженному Браулю,— наконец-то я решил одну психологическую задачу — это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, а даже помешала преступлению.

— Коломб, что с вами? Вы бредите? — испуганно вскричал Брауль.

Коломб не ответил. Он погрузился в беспамятство — следствие волнения и потери крови.

— Носилки готовы,— сказал, волоча грубое оружие, кавалерист.— Ну, в путь, да и поможет нам бог!

Коломб остался жив, и ему не только для повести, но и для него самого очень были полезны те размышления, в которых, ожидая смерти, он провел всего, может быть, с полчаса. Но и вся жизнь человеческая коротка, а полчаса, описанные выше, стоят иногда целой жизни.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД

I

Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувство-

вал или обсуждал,— состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изощрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии — весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, таким смешливым субъектом со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка»,— говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как спустя недолгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений. Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформности ее электризирующих прикосновений,— тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме

чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатление на расстоянии, особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая в силу условий века явлением заурядным.— Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное,— некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются по преимуществу меж близкими или много думающими друг о друге людьми; примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому — достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простирается на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы; раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса; иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы признать) агенты малоисследованные — расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчела в улье слышит гул роя, но это — вне свидетельских показаний и я, например, не мог спросить у населения Тонкина,— не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-единственной непохожей на остальные минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изощренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекали стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а

попутные острога горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, деушка странной и прекрасной природы; я встретил ее в Кассете, ее родине,— в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал об ее сердце больше, чем обо всем остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть являлась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом уже негодным и узким — любовью, нет — радостное, жадное внимание — вот настоящее имя свету, зажженному Визи. Свет этот в красном аду сознания блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно, свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил — не я ли Галиен Марк. Голос его звучал сухо и подозрительно. Я сказал: «Да».

— А я—Гуктас! — громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки. Я видел, что этот человек хочет ссоры и знал почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изобличающая деятельность партии Осеннего Месяца. Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье.

— Теперь я вас накажу.— Он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами.— Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить!

Он замахнулся, но я схватил его мясницкую руку и погнул ее вниз, смотря прямо в прыгающие глаза противника. Гуктас, задыхаясь, вырвался и отскочил, пошатнувшись.

— Ну,— сказал он: — так как?

— Да так.

— Где и когда?

— По прибытии в Херам.

— Я буду вас караулить,— заявил Гуктас.

— Караульте, я ни при чем.— И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами. Дикое ярмарочное любопытство прочел я во многих холеных и тонких лицах: пахло убийством.

Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда и ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности, опасной ее спокойствию. Я не был возбужден, но, по крайней мере наружно, не суетился и владел голосом как безупречный артист; я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора. И все-таки, немного спустя, я услышал ее глухой, сердечный голос:

— Что случилось с тобой?

Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный оттенок взгляда, рассеянное движение рук, напряженные паузы или еще что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твердо лгать.— Не понимаю,— сказал я,— почему «случилось»? И что? — Затем я продолжал разговор, спрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени на воде синих озер, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную, живую белизну рук,— но думал: — «нет, не в последний»,— и простота этого утешения закрывала будущее.

— Завтра утром мы будем в Хераме,— сказал я перед сном Визи,— а я, не знаю почему, в тревоге: все кажется мне неверным и шатким.— Она рассмеялась.

— Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я.

— Я не хочу жизнерадостной, простой девушки,— сказал я,— поэтому ты усни. Скоро и я лягу, как только придумаю заглавие статьи о процессиях, которые ненавижу.

Когда Визи уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей, от меня, сидящего здесь же, рядом, и начал его словом «Прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти.

Но — о благодетельная сила лекционной аллегории! — смерть явилась передо мной в картинно нестрашном виде — скелетом, танцующим с длинной косой в руках. И с такой старой, знакомой гримасой черспа, что я громко зевнул. Мое пробуждение, несмотря на это, было тревожно-резким. Я вскочил с полным сознанием предстоящего, как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок — в иллюминаторе мелькал берег Херама; солнце билось в стекло, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи.

Она не проснулась. Оставив на столе записку «Скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу», — поднялся на яркую палубу, где у схода встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланялись со мной, я же попросил двух, наиболее понравившихся мне лицом пассажиров, — быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в фаэтон, и мы направились к роще Заката, по ту сторону города. Противник мой ехал впереди, изредка оборачиваясь; глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы. Утро явилось в тот день отменно красивым; стянув к небу от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдали, над воздушной синевой гор, в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежду земли. От белых камней в желтой пыли дороги лежали темно-синие тени, палый лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишневого, устилал блистающую росой траву. Черные стволы, упавшие над зеркалом луж, давали отражение удивительной чистоты; пышно грустили сверкающие, подобно иконостасам, рощи, и голубой взлет ясного неба казался мирным навек.

Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший однако жадности зрительского любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились хаотическим водопадом, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные точки зрения, из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда

остановить их борьбу, как всегда не мог направить сознание к какой бы то ни было несложной величине; против воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова: «Убийство» и «Небо». В несчастной голове моей воистину заседал призрачный безликий парламент, истязая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под ребрами, я спросил себя: «Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень, очень устал...», но не почувствовал возмущения. Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я в уровень с глазом дорогой тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая избражать барашка, наверняка. «Раз, два, три!» — крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову; из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания.

II

Когда я пришел в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы (Визи не любила электричества) придвинутое к постели кресло, а в нем заснувшую, полураздетую женщину; ее лицо показалось мне знакомым и, застонав от резкой головной боли, я приподнялся на локте, чтоб лучше рассмотреть ту, в которой с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких, пока что, соображений, о причинах метаморфозы, и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего, сосредоточенного лица. Меня продолжало занимать само по себе — то, к чему первому обратилось внимание.

Само по себе — я, следовательно, думал о пустяках, о внешности, и так пристально, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице Ви-

зи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на колене, стала тонкой по-детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжело и, может быть, долго болен. «Да, долго»,— подтвердил снег, белевший сквозь черноту стекла, в тишине ночной улицы. Голове было непривычно тепло, подняв руку, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль.

— Прелестно!— сказал я с некоторым совершенно необъяснимым удовольствием по этому поводу и щелкнул слабыми пальцами. Визи «выходила» меня, я видел это по изнуренности ее лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на трех часах. Будильники— эти палачи счастья— не покупались никогда ни мной, ни Визи, и нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах разумеется означала часы ночи. Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности: наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась беспокоить мою особу,— больную, подстреленную, жалкую; я покачал головой.

Прошло очень немного времени, пока я обдумывал, по странному уклону мысли, способности Илии пророка вызывать гром, как очень короткий нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал:— «Визи, ты видишь, что я здоров»,— и она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движения; уже не испуг, а крупные горячие слезы блестели в ее ярких глазах. Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно.

— Милый Галь, ложись,— просила она, слабо, но очень настойчиво подталкивая меня к кровати.— Теперь я вижу, что ты спасен, но еще нужно лежать до завтра, до доктора. Он скажет...

Я лег, несколько не потревоженный ее радостью и волнением. Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке и горизонтальному своему положению. Визи села у изголовья, рассказывая обо мне, и я увидел в ее рассказе человека с желтым лицом, с красными от жара

глазами, срывающего с простреленной головы повязку и болтающего различный вздор, на который присутствующие отвечают льдом и пилюлями. Так продолжалось месяц. Сложное механическое кормление я представила себе дождем падающих в рот пирожков и ложек бульона. Визи, между прочим, сказала:

— У меня было одно утешение в том случае, если бы все кончилось печально: что я умру тоже. Но ты теперь не думай об этом. Как долго я не говорила с тобой! Спокойной ночи, милый, спасенный друг! Я тоже хочу спать.

— Ах, так!..— сказал я, немного обиженный тем, что меня оставляют, но в общем непривычно довольный. Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня.— «Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительнее, вообще, женщины, то все обстоит благополучно и правильно.— Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: — Я снисходительно-справедливый мужчина». В еще больший восторг привели меня некоторые предметы, попавшие мне на глаза: стенной календарь, корзинка для бумаги и лампа, покрытая ласковым зеленым абажуром. Они бесповоротно укрепили счастливое настроение порядка, господствующего во мне и вокруг меня. Так хорошо, так покойно мне не было еще никогда.

— Чудесно, милая Визи! — сказал я,— я решительно ничего не имею против того, чтобы ты заснула. Отправляйся. Надеюсь, что твоя бдительность проснется в нужную минуту, если это мне понадобится.

Она рассеянно улыбнулась, не понимая сказанного,— как я теперь думаю. Скоро я остался один. Великолепное настроение решительно изнежило, истомило меня. Я уснул, дрыгнув ногой от радости. «Мальчишество»,— скажете вы.— О, если бы так!

III

Через восемь дней Визи отпустила меня гулять. Ей очень хотелось идти со мной, но я не желал этого. Я находил ее слишком серьезной и нервной для той благодати чувств, которую отметил в прошлой главе. Перепол-

ненный беспричинной радостью, а также непривычной простотой и ясностью впечатлений, я опасался, что Визи, утомленная моей долгой болезнью, не подымется во время прогулки до уровня моего настроения и, следовательно, нехотя разрушит его. Я вышел один, оставив Визи в недоумении и тревоге.

Херам — очень небольшой город, и я быстро обошел его весь, по круговой улице, наслаждаясь белизной снега и тишиной. Проходящих было немного; я с удовольствием рассматривал их крепкие, спокойные лица провинциалов. У базара, где в плетеных корзинах блестяли груды скользких, голубоватых рыб, овощи рдели зеленым, красным, лиловым и розовым бордюром, а развешенные мясные туши добродушно рассказывали о вкусных, ворчащих масле, бифштексах, я глубокомысленно постоял минут пять в гастрономическом настроении, а затем отправился дальше, думая, как весело жить в этом прекрасном мире. С чувством пылкой признательности вспомнил я некогда ненавистного мне Гуктаса. Не будь Гуктаса, не было бы дуэли, не будь дуэли, я не пролежал бы месяц в беспомощности. Месяц болезни дал отдохнуть душе. Так думал я, не подозревая истинных причин нынешнего своего состояния.

Необходимо сказать, чтобы не возвращаться к этому, что, в силу поражения мозга, моя мысль отныне удерживалась только на тех явлениях и предметах, какие я вбирал непосредственно пятью чувствами. В равной степени относится это и к моей памяти. Я вспоминал лишь то, что видел и слышал, мог даже припомнить запах чего-либо, слабее — прикосновение, еще слабее — вкус кушанья или напитка. Вспомнить настроение, мысль было не в моей власти; вернее, мысли и настроения прошлого скрылись из памяти совершенно бесследно, без намека на тревогу о них.

Итак, я двигался ровным, быстрым шагом, в веселом возбуждении, когда вдруг заметил на другой стороне улицы вывеску с золотыми буквами. «Редакция Маленького Херама» — прочел я и тотчас же завернул туда, желая немедленно написать статью, за что, как я хорошо помнил, мне всегда охотно платили деньги. В комнате, претендующей на стильный, но деловой уют, сидели три человека; один из них, почтительно кланяясь, назвался редактором и в кратких приятных фра-

зах выразил удовольствие по поводу моего выздоровления. Остальные беспрерывно улыбались, чем все общество окончательно восхитило меня, и я, хлопнув редактора по плечу, сказал:

— Ничего, ничего, милейший; как видите, все в порядке. Мы чувствуем себя отлично. Однако позвольте мне чернил и бумаги. Я напишу вам маленькую статью.

— Какая честь! — воскликнул редактор, суетясь около стола и делая остальным сотрудникам знак удалиться. Они вышли. Я сел в кресло и взял перо.

— Я не буду мешать вам, — сказал редактор вопросительным тоном. — Я тоже уйду.

— Прекрасно, — согласился я. — Ведь писать статью... вы знаете? Хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе!.. — осклабившись, повторил он и скрылся. Я посмотрел на чистый листок бумаги, не имея ни малейшего понятия о том, что буду писать, однако не испытывая при этом никакого мыслительного напряжения. Мне было по-прежнему весело и покойно. Подумав о своих прежних статьях, я нашел их очень тяжелыми, безрассудными и запутанными — некими старинными хартиями, на мрачном фоне которых появлялись и пропадали тусклые буквы. Душа требовала минимальных усилий. Посмотрев в окно, я увидел снег и тотчас же написал:

СНЕГ

Статья Г. Марка.

За время писания, продолжавшегося минут десять, я время от времени, поглядывая в окно, и у меня получилось следующее:

«За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие частые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой. Затем пробежала собака, обнюхивая следы, оставленные дамой, и оставляя сбоку первых следов — свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке; он шел по собачьим и дамским следам и спутал их в одну тропинку сво-

ими широкими галошами. Синяя тень треугольником лежит на снегу, пересекая тропинку.

Г. Марк».

Совершенно довольный, я откинулся на спинку кресла и позвонил. Редактор, войдя стремительно, впился глазами в листок.

— Вот и все,— сказал я.— «Снег». Довольны ли вы такой штукой?

— Очень оригинально,— заявил он унылым голосом, читая написанное.— Здесь есть нечто.

— Прекрасно,— сказал я.— Тогда заплатите мне столько-то.

Молча, не глядя на меня, он подал деньги, а я, спрятав их в карман, встал.

— Мне хотелось бы,— тихо заговорил редактор, смотря на меня непроницаемыми, далеко ушедшими за очки глазами,— взять у вас статью на политическую или военную тему. Наши сотрудники бездарны. Тираж падает.

— Конечно, он падает,— вежливо согласился я.— Сотрудники бездарны. А зачем вам военная или политическая статья?

— Очень нужно,— жалобно процедил он сквозь зубы.

— А я не могу! — Я припомнил, что такое «политическая» статья, но вдруг ужасная лень говорить и думать заявила о себе нетерпеливым желанием уйти.— Прощайте,— сказал я,— прощайте! Всего хорошего!

Я вышел, не обернувшись, почти в ту же минуту забыв и о редакции и о «Снеге». Мне сильно хотелось есть. Немедленно я сел на извозчика, сказал адрес и покати́л домой, вспоминая некоторые из ранее съеденных кушаний. Особенно казались мне вкусными мясные колбнки с фаршем из овощей. Я забыл их название. Тем временем экипаж подкатил к подъезду, я постучал, и мне открыла не прислуга, а Визи. Она нервно, радостно улыбаясь, сказала:

— Куда ты исчез, бродяжка? Иди кормиться. Очень ли ты устал?

— Как же не устал? — сказал я, внимательно смотря на нее. Я не поцеловал ее, как обычно. Что-то в ней

стесняло меня, а ее делало если не чужой, то трудной,— непередаваемое ощущение, сравнимое лишь с обязательной и трудно исполнимой задачей. Я уже не видел ее души,—надолго, как стальная дверь, хранящая прекрасные сокровища, закрылись для меня редкой игрой судьбы необъяснимые прикосновения духа, явственные даже в молчании. Нечто от прошлого однако силлось расправить крылья в пораженном мозгу, но почти в ту же минуту умерло. Такой крошечный диссонанс не испортил моего блаженного состояния; муха, севшая на лоб сотрясаемого хохотом человека, годится сюда в сравнение.

Я видел только, что Визи приятна для зрения, а ее большие дружеские глаза смотрят пытливо. Я разделся. Мы сели за стол, и я бросился на еду, но вдруг вспомнил о мясных шариках.

— Визи, как называются мясные шарики с фаршем?

— «Тележки». Их сейчас подадут. Я знаю, что ты их любишь.

От удовольствия я сердечно и громко расхохотался,—так сильно подействовала на меня эта неожиданная радость, серьезная радость настоящей минуты.

Вдруг слезы брызнули из глаз Визи,—без стопа, без резких движений она закрыла лицо салфеткой и отошла, повернувшись спиною ко мне,—к окну. Я очень удивился этому. Ничего не понимая и не чувствуя ничего, кроме неприятности от перерыва в обеде, я спросил:

— Визи, это зачем?

Может быть, случайно тон моего голоса обманул ее. Она быстро подошла ко мне, перестав плакать, но вздрагивая, как озябшая, придвинула стул рядом с моим стулом и бережно, но крепко обняла меня, прильнув щекою к моей щеке. Теперь я не мог продолжать есть суп, но стеснялся пошевелиться. Терпеливо и злобно слушал я быстрые слова Визи:

— Галь, я плачу оттого, что ты так долго, так тяжело страдал; ты был без сознания, на волоске от смерти, и я вспомнила весь свой страх, долгий страх целого месяца. Я вспомнила, как ты рассказывал мне про маленького лунного жителя. Ты мне доказывал, что есть та-кой.. и описал подробно: толстенький, на голове пух, два вершка ростом... и кашляет... О Галь, я думала,

что никогда больше ты не расскажешь мне ничего такого! Зачем ты сердишься на меня? Ты хочешь вернуться? Но ведь в Хераме тихо и хорошо. Галь! Что с тобой?

Я тихо освободился от рук Визи. Положительно женщина эта держала меня в странном и злостном недоумении.

— Лунный житель — сказка, — внушительно пояснил я. Затем думал, думал и наконец догадался: — «Визи думает, что я себя плохо чувствую». — Эх, Визи, — сказал я, — мне теперь так славно живется, как никогда! Я написал статейку, деньги получил! Вот деньги!

— О чем статью и куда?

Я сказал — куда и прибавил: — «О снеге».

Визи доверчиво кивнула. Вероятно, она ждала, что я заговорю как раньше, — серьезно и дружески. Но здесь прислуга внесла «тележки», и я ревностно принялся за них. Мы молчали. Визи не ела; подымая глаза, я встречался с ее нервно-спокойным взглядом, от которого мне, как от допроса, хотелось скрыться. Я был совершенно равнодушен к ее присутствию. Казалось, ничто было не в силах нарушить мое безграничное счастливое равновесие. Слезы и тоска Визи лишь на мгновение коснулись его и только затем, чтобы сделать более нерушимым — силой контраста — то непередаваемое довольство, в какое погруженный по уши сидел я за сверкающим белым столом перед ароматически-дымящимися кушаньями, в комнате высокой, светлой и теплой, как нагретая у отмели солнцем вода. Кончив есть, я посмотрел на Визи, снова нашел ее приятной для зрения, затем встал и поцеловал в губы так, как целует нетерпеливый муж. Она просияла (я видел каким светом блеснули ее глаза), но, встав, подошла к столику и, шутливо подняв над головой склянку с лекарством (которое я изредка еще принимал), лукаво произнесла:

— Две ложки после обеда. Мы в разводе, Галь, еще на полтора месяца.

— Ах, так? — сказал я. — Но я не хочу лекарства.

— А для меня?

— Чего там! Я ведь здоров! — Вдруг, посмотрев в окно, я увидел быстро бегущего мальчика с румяным, задорным лицом и тотчас же загорелся неодолимым

желанием ходить, смотреть, слушать и нюхать.— Я пойду,— сказал я,— до свидания пока, Визи!

— О, нет! — решительно сказала она, беря меня за руку.— Тем более, что ты так непривычно желаешь этого!

Я вырвался, надел шубу и шапку. Мое веселое, резкое сопротивление поразило Визи, но она не плакала более. Ее лицо выражало скорбь и растерянность. Глядя на нее, я подумал, что она просто упряма. Я подарил ей один из тех коротких пустых взглядов, каким говорят без слов о нудности текущей минуты, повернулся и увидел себя в зеркале. Какое лицо! В третий раз смотрел я на него после болезни и в третий раз радостно удивлялся,— мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни серое — лицо,— как взбитая, приглаженная подушка. Итак, по видимому, я перенес представление о своем воображенном лице на отражение в зеркале, видя не то, что есть. Над левой бровью, несколько стянув кожу, пылал красный, формой в виде боба, шрам,— этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным. Затем я вышел, сильно хлопнув в знак власти дверью, и очутился на улице.

IV

Не знаю, сколько времени и по каким местам я бродил, где останавливался и что делал; этого я не помню. Стемнело. Как бы проснувшись, услышал я тяжелый, из глубины души, трудный и долгий вздох; на углу, прислонясь к темной под ярким окном стене, стоял человек без шапки, одетый скудно и грязно. Он вздыхал, посылая пространству тяжкие, полные бесконечной скорби, вздохи-стоны-рыдания. Лица его я не видел. Наконец он сказал с мрачной и трогательной силой отчаяния: — «Боже мой! Боже мой!» Я никогда не забуду тона, каким произнеслись эти слова. Мне стало не по себе. Я чувствовал, что — еще вздох, еще мгновение — и мое благостное равновесие духа перейдет в пронзительный нервный крик.

Поспешно я отошел, оставив вздыхающего человека грядине с его тайным горем, и тронулся к центру города. «Боже мой! Боже мой!» — машинально повторил я,

этот маленький инцидент оставил скверный осадок —
тень раздражения или тревоги. Но совсем спокойно
чувствовал я себя. Меж тем темнота сплотилась пол-
ной силой глухой зимней ночи, прохожие попадались
реже и шли быстрее. В редких фонарях монотонно ши-
пел газ, и я невольно прибавил шагу, стремясь к бли-
стающим площадям центра. Один фасад, слабо озарен-
ный стоящим в отдалении фонарем, заставил меня оста-
новиться и внимательно осмотреть его. Меня поразило
обилие сухих виноградных стеблей, поднимавшихся от
земли по белому фону простенков к балконам и окнам
первого этажа; сеть черных кривых линий зловеще
обсасывала фасад, словно тысячи трещин. Одно из
окон второго этажа было полуосвещено, свет мелькал в
его глубине, и в светлых неясных отблесках за стеклом
рамы виднелся едва различимый, бледный под изгибом
черных волос женский профиль. Я не мог рассмотреть
его благодаря, как сказано, неверному и слабому осве-
щению, но почему-то упорно всматривался. Профиль на-
мечался попеременно прекрасным и отвратительным,
уродливым и божественным, злым и весенне-ясным,
энергичным и мягким. Придушенные стеклом, слыша-
лись ленивые звуки скрипки. Смычок выводил неизве-
стную, но плавную и красивую мелодию. Вдруг окно
осветилось полным блеском невидимого огня, и я, при
низких, нежно и горделиво стихающих аккордах, увидел
голову пожилой женщины, с крепкой, сильно выдаю-
щейся нижней челюстью; черные глаза под нахмурен-
ным низким лбом смотрели на какое-то проворно пере-
бираемое руками шитье. Весь этот странный узел зри-
тельных и слуховых впечатлений вызвал у меня в то же
мгновение такой острый, черный прилив тоски, стеснив-
шей сердце до боли, что я, с глазами полными слез,
машинально отошел в сторону. Звуки скрипки казались
самыми дорогими и печальными в мире. Я длил тоску
в смутном ожидании чуда, как будто ради нее некий
мертвенно мрачный занавес должен был распануться
широким кругом, обнажив зрелище повелительной и не-
сравненной гармонии... Это был первый припадок тоски.
Наконец она стала невыносимо резкой. Увидев пылаю-
щий фонарями трактир, я вошел, выпил залпом у стой-
ки несколько стаканов вина и сел в углу, повеселев и
став опять грубее и проще, как час назад.

Рассматривая присутствующих, покуривая и внутренно веселясь в ожидании целого ряда каких-то прелестей, освеженный и согретый вином, я обратил внимание на вертлявоглазое, хитрое лицо старика, сидевшего неподалеку в обществе плохо одетой, смуглой и полной женщины. Ее напудренное лицо с влажными черными глазами и ртом ненормально красным было совсем некрасиво, однако ее упорный взгляд, обращенный ко мне, был взглядом уверенной в себе женщины, и я кивнул ей, рассчитывая поболтать за бутылкой. Старик, драный как облезшая кошка, тотчас же встал и пересел к моему столу.

— Вино-то...— сказал он так льстиво, словно поцеловал руку,— вино какое пьете? Дорогое вино, хорошее, ха-ха-ха! Старичку бы дать! — И он потер руки.

— Пейте,— сказал я, наливая ему в стакан, поданный слугой с бешеной торопливостью, не иначе, как из уважения ко мне, барину.— Как вас зовут, старик, и кто вы такой?

Он жадно выпил, перемигнувшись через плечо со своей дамой.

— Я, должен вам сказать,— питаюсь услугами,— сказал старик, подмигивая мне весьма фамильярно и плутовато.— Прислуживаю я каждому, кто платит, и прислуживаю охотнее всего по веселеньким таким, остро-пикантным делам. Понимаете?

— Все понимаю,— сказал я, пьянея и наваливаясь на стол.— Служите мне.

— А вы чего хотите?

Я посмотрел на неопределенно улыбающуюся за соседним столом женщину. Спутница старика, в синем с желтыми отворотами платье и красной накидке, была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней.

— Пригласите вашу даму пересесть к нам.

— Дама замечательная! Первый сорт! — радостно закричал старик и, обернувшись, взвизгнул на весь зал: — Полина! Переваливайтесь сюда к нам, да живо!

Она подошла, села, и я, пока не пришла кошка, не сводил более с нее глаз. От ее круглой статной шеи, полных с маленькими кистями рук, груди и пухлых

висков разило чувственностью. Я жадно смотрел на нее, она присматривалась ко мне, молчала и улыбалась особенной улыбкой. Старик, воодушевляясь время от времени, по мере того как слуга ставил нам свежие винные бутылки, держал короткие, но жаркие речи о необыкновенных достоинствах Полины или о своем прошлом богатстве, которого, смею думать, у него никогда не было. Я охмелел. Грязный, горластый сброд, шумевший за столиками, казался мне обществом живописных гигантов, празднующих великолепии жизни. Море разноцветного света заполняло трактир. Я взял руки Полины, крепко сжал их и заявил о своей страсти, получив в ответ взгляд более, чем многообещающий. Старик уже встал, застегиваясь и обматывая шею цветным шарфом. Я знал, что поеду куда-то с ним, и стал громко стучать, требуя счет.

В эту минуту маленькая, больная и худая как щепка, серенькая трактирная кошка нерешительно подошла ко мне, робко осмотрела мои колена и, тихо прыгнув, уселась на них, подняв торчком жалкий, облезлый хвост. Она терлась о мой рукав и подобострастно громко мурлыкала, требуя, видимо, внимания к своей жизни, заинтересованной в моих развлечениях. Я смотрел на нее со страхом и внезапной слабостью сердца, чувствуя, что уступаю новой волне тоски, отхлынувшей временно благодаря бутылке и женщине. Все кончилось. Потух пьяный огонь,— горькое, необъяснимое отчаяние сразило меня, и я, опять силясь, но тщетно, припомнить что-то неподвластное памяти, бросил деньги на стол, ударил старика по его испуганно цепляющимся за меня рукам, вышел и поехал домой.

Холод, плавный бег саней и тишина улиц постепенно истребили тоску. В весьма благосклонном, ровном и мирном настроении я позвонил у занесенных снегом дверей; мне открыла снова Визи, но, открыв, тотчас же ушла в комнаты. Я разыскал ее у камина в маленьком мягком кресле с книгой в руках и сел рядом. Я очень хорошо знал, что я нетрезв и взъерошен, однако совсем не хотел скрывать этого. Визи внимательно, без улыбки смотрела на меня, сказала тихо:

— Сегодня заходил доктор и очень тепло справлялся о тебе. Он хочет бывать у нас,— он просил разре-

шить ему это.— Как ты думаешь? Тебе, кажется, скучно, а такой собеседник, как доктор, незаменим.

— Доктора — ученые люди,— пробормотал я,— а мне, Визи, очень надоели сложные разговоры. Превыспренненные! Аналитические! Ну их, в самом деле! Я человек простой и добродушный. Чего там рассуждать? Живет-ся — и живи себе на здоровье.

Визи не отвечала. Она задумчиво смотрела на раскаленные угли и, встрепенувшись, ласково улыбнулась мне.

— Я не скрою... Меня несколько пугает резкая перемена в тебе после болезни!

— Вот глупости! — сказал я.— Ты говоришь самые неподходящие глупости! Изменился! Да, очень вероятно!.. Боже мой! Неужели ты, Визи, з а в и д у е ш ь мне?

— Галь, что ты? — испуганно воскликнула Визи.— Зачем это?

— Нет,— продолжал я, усматривая в словах Визи завистливую и ревнивую придирчивость,— когда человек чувствует себя хорошо, другим это всегда мешает. Да пусть бы все так изменилось, как я! Хоть и смутно, но понимаю же я наконец, каким я был до болезни, до этой замечательной раны, нанесенной Гуктасом. Все меня волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная,— что за ужасное время! Фу! Каким можно быть дураком! Все очень просто, Визи, не над чем тут раздумывать.

— Объясни,— спокойно сказала Визи,— может быть, я тоже пойму. Ч т о просто и — в чем?

— Да все. Все, что видишь, такое и есть.— Помолчав, я с некоторым трудом подыскал пример, по-моему убедительный: — Вот ты, Визи, сидишь передо мной и смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Она закрыла лицо руками, видимо, обдумывая мои слова. С торжеством, с безжалостной самоуверенностью я ждал возражений, но Визи, открыв лицо, вдруг спросила:

— Что думаешь ты об этом месте, Галь? Это твой любимец. Конфор. Слушай, слушай! «День проходит в горьких заботах о хлебе, ночь в прекрасных золотых сновидениях. Зато днем ярко горит солнце, а ночью, проснувшись, я побежден тьмой и ужасом тишины. Блажен тот, кто думает только о солнце и сновидениях».

— Очень плохо,— решительно сказал я.— Каждому разрешается помнить все что угодно. Автор положительно невежлив к читателю. А во-вторых, я несколько пьян и хочу спать. Прощай, Визи, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, милый,— рассеянно сказала она,— завтра ты будешь работать?

— Бу-ду,— нерешительно сказал я.— Хотя, знаешь, о чем писать? Все ведь избито. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — медленно повторила Визи.

Уходя, я обернулся на особый оттенок голоса и поймал выражение нескрываемого, тоскливого страха в ее возбужденном лице. Мы встретились взглядами, Визи поторопилась улыбнуться, как всегда, нежно кивнув. Я ушел в спальню, разделся и лег с стесненной душой, но с задней лукавой мыслью о том, что Визи из простого упрямства не хочет понять меня.

V

Так повторилось раз, два, три — десять; причинами внезапной тоски служили, как я заметил, такие разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию «т о с к а», что я не мог избежать их. Чаще всего это была музыка, безразлично какая и где услышанная,— торжественная или бравурная, веселая или грустная — безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью о невоспоминаемом, о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу — истребителю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность.

Я стал определенно и нескрываемо равнодушен к Визи. Ее все более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней, как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были наши разговоры и встречи,— именно в с т р е ч и, так как я не бывал дома по два и по три дня, но, чуя у случайных знакомых, которых развелось изобилие. То были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники... Казалось, все про-

фессии участвовали в моих скитаниях по Хераму в дни описанного выше, безысходного, тоскливого состояния. Мне нравился разговор этих людей: простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и надрыва, он предлагал вниманию факты в безусловном, так сказать, арифметическом их значении: — «раз, два... четыре, одиннадцать, — случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». Я радостно перевел бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведенных выше, не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка, законченности всего, стало, за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.

Доктор, противу ожидания моего, появился-таки в нашей квартире, он был расторопен и вежлив, весел и оживлен. Он сделал мне множество предложений, как хитрый медик — замаскированно-медицинского свойства: прогулку на раскопки, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке, наконец, предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и беседами на религиозные темы; я слушал его внимательно, прсмолчал на все это и попрощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визи:

— От чего хочешь ты меня лечить?

— Я хочу только, чтобы ты не скучал, — глухо произнесла она таким усталым, невольно сказавшим более, чем хотела, голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось мгновение. Я звонко расхохотался.

— Ты, ты не скучай, Визи! — сказал я. — А мне скучно не может быть — слышишь?! Я, право, не узнаю себя. Какое веселье, какая скука? Нет у меня ни этого, ни другого. Ну, и просто — я всем доволен! Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить, Визи.

— Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого — знаешь? — хочется тихо петь или улыбаясь, молчать... Наш разговор оборвался... мы вели его словами и сердцем...

— Мне странно слышать это, — сказал я, — быть может, ранее чрезмерная возбудимость...

Но я не закончил. Я хотел добавить... «нравилась тебе»,— и вдруг, как прихлопнутый глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке вернуться в прошлое.

— Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз,— трусливо сказал я,— меня расстраивают эти разговоры.— Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадежно и безрезультатно напрягали мою душу, она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал.

— Уходи, если хочешь,— печально сказала Визи,— я лягу спать.

— Вот именно, я хотел прогуляться,— заявил я, быстро беря шляпу и целуя ее руку с тайной благодарностью,— но я скоро вернусь.

— Скоро?.. А «Метеор» снова просит статью.

Я улыбнулся и вышел. Давно уже когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погрузившись в тишину теплого, сытого вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал. Но, конечно, это я шел с сытой душой, и шел в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую, торжественно высющуюся звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и через некоторое время сидел уже в дымном воздухе «Веселенького гусара», слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом.

VI

Зима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-белых обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью.

Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще, иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалеким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи, я видел ее как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать ее голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чем хотел говорить я, т. е. о незамысловатых и маловажных вещах.

Был поздний вечер, когда в трактир «Веселенького гусара» посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: «Г. Марку от Визи». Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным любопытством зрителя, как если бы присутствовал при чтении письма человеком посторонним мне — другому, тоже постороннему. Некоторое время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбужденным взглядом; преодолев это неудобство, я прочитал:

«Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменялся, какими чужими и далекими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернется, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот, прежний, внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой! Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой. Но жить так дальше, прости меня, — не могу! Я подробно написала о всем издателю «Метеора», он обещал назначить тебе жалованье, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова начать работать. Прощай. Я уезжаю; прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.

Визи».

— «Визи», — повторил я вслух, складывая письмо. В этот момент, роняя прыгающий мотив среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наемного музыканта, обслуживавшего компанию кочегаров, и я за-

метил, что музыка подчеркивает письмо, делая трактир и его посетителей с о и м и, отдельными от меня и письма; — я стал одинок и, как бы не вставая еще с места, вышел уже из этого помещения.

Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, осилить которое было мне еще не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там — тишины и отсутствия Визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему, я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некие разъяснения случившегося. Содержание письма, логически вполне ясное, — внутренне отвергалось мной, в силу того, что я не мог представить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего ярко горестного, такого, что сразу потрясло бы меня, однако сердце билось сильнее и путь к дому показался не близким.

Я позвонил. Открыла прислуга, меланхолическая, пожилая женщина; глаза ее остановились на мне с каменной осторожностью.

— Барыня дома? — спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов и видел, что шляпы и пальто Визи нет.

— Они уехали, — тихо сказала женщина, — уехали в восемь часов. Вам подать ужин?

— Нет, — сказал я, направляясь к темному кабинету, и, постояв там во тьме у блестящего уличным фонарем окна, зажег свечу, затем перечитал письмо и сел, думая о Визи. Она представилась мне едущей в вагоне, в паровой каюте, в карете — удаляющейся от меня по прямой линии; она сидела, я видел только ее затылок и спину и даже, хотя слабо, линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял ее голову, пытаюсь повернуть к себе; воображение отказывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел ее лица. Тоскливое желание заглянуть в ее лицо некоторое время не давало мне покоя, затем, устав, я склонился над столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений.

Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то упавшего к ногам, не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то, имеющее, быть может, отношение к Визи,—неопределенный поступок, вытекающий скорее из потребности действия, чем из оснований разумных.

В ящике я нашел много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы: сломанные карандаши, палочки сюргуча, несколько разрозненных записок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанную шнурком. То были статьи из «Вестника» и «Метеора» за прошлый год. Я развязал пачку, повинаясь окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем, имеющим отношение к Визи. Статьи эти вырезывала и собирала она, на случай, если бы я захотел издать их отдельной книгой.

Я развязал пачку, просматривая заглавия, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь и даже, приблизительно, скелетное содержание статей, но далекий от восстановления, так сказать, атмосферы сознания, характера настроения, облекавших работу. От заглавий я перешел к тексту, пробегаю его с равнодушным недоумением,—все написанное казалось отражением чуждого ума и отражением бесцельным, так как вопросы, трактованные здесь, как-то: война, религия, критика, театр и т. д.,—трогали меня не больше, чем снег, выпавший, примерно, в Австралии.

Так, просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную: «Ценность страдания». статью, написанную приемом сильных контрастов и в свое время наделавшую немало шума. В противность прежде прочтенному, некоторые выражения этой статьи остановили мое внимание, в особенности одно: «Люди с так называемой «душой нараспашку» лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания: не задерживаясь, без тонкой силы внутреннего напряжения, врываются в их душу и без остатка покидают ее те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать

ценным и глубоким переживанием». Я прочитал это два раза, томясь вспомнить, какое, в связи с Визи, обстоятельство родило эту фразу и, с неожиданной, внутренне толкнувшей отчетливостью, вспомнил! — так ясно, так проникновенно и жадно, что встал в волнении чрезвычайном, почти болезненном. Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищенное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности и конечно никак уже не выразимого словами, при и ж е н н о г о экстаза. Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень, бескрайно полон ею и своим сжатым волнением. После того я написал вышеприведенное рассуждение.

Я вспомнил это живо и сердцем, а не механически, — мне не сиделось, я прошелся по кабинету, в углу лежал скомканный лист бумаги, я поднял его, развернул и, с изумлением, чуждым еще догадкам, увидел, что лист, не вполне дописанный красивым, мелким почерком Визи, был не чем иным, как неоконченной, но разработанной уже в значительной степени м о е й статьей, с заголовком: «Ртутные рудники Херама», статья Г. Марка. Я н и к о г д а не писал этой статьи и не диктовал ее никому, я н и ч е г о не писал. Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и, как аромат цветка, свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например: «совсем просто», «замечательно хорошие», «как взглянуть» — делали написанное прекрасной работой. «Статья Г. Марка» снова прочел я... и стало мне в невольных неудержимых тяжких слезах спасительно резкой скорби — ясным все.

Я сидел неподвижно, пытаюсь овладеть положением. «Я н и к о г д а больше не увижу ее», — сказал я, проникаясь, под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову «никогда». Оно выражало запрет, тайну, насилие, и тысячу причин своего появления. Весь «я» был собран в этом одном слове. Я сам, своей жизнью вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а Визи оставалось только произнести его письменно, чтобы, вспыхнув черным огнем, стало оно моим законом, и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка, — механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, вспоминая скорее ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что «никогда» смеется даже над бесконечностью.

Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, сгорая еще не очень чувствительного, но отраженного в инстинкте страхом и возмущением. Я хотел видеть Визи и видеть возможно скорее, чтобы ее присутствием ощупать свою рану, но это черное «никогда» поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на неоконченную Визи статью. Мучительное представление об ее тайной, тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвение было ярким до нестерпимости. Я вспомнил ее улыбку, походку, голос, движения, наклон головы, ее фигуру в свете и в сумерках, — во всем этом, так драгоценном теперь, не сквозило никогда даже намек на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как! И с какими надеждами! — с меньшими, чем у смертельного больного, еще дышащего, но думающего только о смерти.

Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя как прежде: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений, со всем ее оглушительным эхом в далах сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь от с н а. Я встал с единственным, неотложным решением отыскать Визи, спокойно зная,

что отныне, с этого мгновения увидеть ее становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я получил его, приняв такое решение, но спокойствие подобного рода охотно променял бы на любую унижайшую из пыток.

Белое, еще бессолнечное утро открыло за бледно-голубым окном пустую, тихую улицу. Я вышел, направляясь к озерной пристани. Я хотел верить, что Визи предвзвительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этот город, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне адрес,—я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле.

Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз», тот самый, который увозил нас в прошлом году в Херам. Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус, трубу в белых кольцах, мачты и рубку,—он был для меня живым третьим, помнившим присутствие Визи и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием.

На пристани почти никого не было,—бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный сор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул в прибитое к стене расписание: — «Приз» отходил в десять часов утра, а перед этим, вчера, вышел тем же рейсом «Бабун», в одиннадцать сорок минут вечера. Только «Бабун» мог увезти Визи. Это немного развеселило меня: нас разделяло часов двенадцать пути,—срок, за который Визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал этот вопрос и с горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня, все поведение мое должно было убедить ее в том, что я вздохну облегченно, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть Визи врасплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая

события, я вызывал болезненно напряженной душой призраки и голоса встречи, варьируя их в множестве отгенок и положений, и мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения.

Когда солнце поднялось выше и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, вспахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши Херама с чувством неудовлетворенного любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нем не жил; так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и неуловимых ограниченным, скользящим вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где, против волн, совершенно измученный событиями прошедшей ночи, я заснул. Проснулся я в темноте, тревоге и ропоте монотонно шумливых волн, поплескивающих о борт. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма — делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу.

По-видимому, был глухой, поздний час ночи, так как в пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера, силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокотившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться; я подошел и сказал негромко, в тон глухой ночи: — «Если вам тоже, как и мне, не спится, сударыня, поговорим о чем-нибудь полчаса. Обычное право путешественников»...

Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи... Ни верить этому, ни отрицать этого я не смел в первое мгновение, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же, отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог еще произнести ни слова, ни звука и стоял молча, совершенно расколотый неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только:

— Это ты, Визи?

— Я, милый, — устало произнесла она.

— О, Визи...— начал я, было, но слезы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах.— Я ведь опять тот,— выговорил я наконец с чрезвычайным усилием,— тот, и искал тебя! Посмотри на меня ближе, побудь со мной хоть месяц, неделю, один день.

Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал:

— Я очень жалею, что опоздала на вечерний паром и что мы здесь встретились... Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне! Уйдем друг от друга.

— Хорошо,— сказал я, холодея от ее слов,— но выслушай меня раньше. Только это!

— Говори... если можешь...

В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели.

Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время не похожей на меня, жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нервной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду — до конца дней.

ПРОДАВЕЦ СЧАСТЬЯ

I

«Кто не работает, тот не ест»,— вспомнил Мюргит черствую, хлебную истину. Эти слова очень любил повторять его отец, корабельный плотник. Но Мюргит так привык благодаря усердному повторению истины к ее неопределенно-понукательному значению, что стал почитителен к ней лишь теперь, когда, потеряв место в угольном складе из-за происка толстой дамы, жены хозяина, игравшей по отношению к молодому человеку роль известной жены Пентефрия, горько и лицемерно смеялся над сытым видом развалившихся в лакирован-

ных экипажах холеных и томных людей, шел к рынку с темной надеждой стащить пучок моркови или редиски.

Рынок, потерянный рай голодных, усилил страдания Мюргита зрелищем разнообразных продуктов и свежим запахом их, заставляющим вспоминать жарко растопленную плиту, шипенье масла, стук блестящих ножей и воркотню супа. Розовая телятина, красное мясо, коричневые почки, тетерева, голуби, куропатки, фазаны и зайцы лежали за блестящими стеклами лавок; на лотках теснились зеленые букеты моркови, редьки, спаржи и репы; скользкие угри, лини, камбалы, лососи и окуни грудями, серебрясь и переливаясь на солнце нежными красками, заглядывали свесившимися головами в корзины, полные устриц, омаров, раков и колючих морских ежей.

Стараясь не выделяться среди шумной толпы неуверенными движениями и беспокойством взгляда, Мюргит жадно присматривался к лакомым яствам, не решаясь, однако, приступить еще к действию, хотя руки его дрожали от голода; ночуя вторую ночь под старым баркасом, Мюргит слышал от старого опытного бродяги, спавшего вместе с ним, что воровать надо наверняка, иначе не стоит соваться. Пока же, не видя ничего плохо лежавшего, Мюргит машинально ощупывал подкладку своего старого пиджака, стараясь набрести на мелкую монету, когда-нибудь провалившуюся сквозь карманную дыру, и взглядывал под ноги, ища вечный кошелек с банковыми билетами.

Пройдя всю площадь, Мюргит в раздумье остановился. Рассеянно осматриваясь, увидел он невдалеке, за лавками, среди старых бочек и ящиков, кружок играющих в передвижную рулетку; тут были извозчики, солдаты, женщины и подростки. Среди других игроков забавным показался Мюргиту старик с деревянным ящиком за спиной. На крышке ящика сидел попугай, блестя бессмысленно хитрым, круглым глазом и время от времени покрикивая недовольным голосом: «Купите счастья!» Иногда помедлив, прибавлял он к этому что-нибудь из остального своего лексикона: «Прохвосты!», «Не бери сдачи!», «Сыпь орехов!» Старик, беззубый, не проворный для своих лет, суетился больше других; монета за монетой мелькала в его руке, и он, кряхтя, проигрывал их. Суеверие свойственно несчастливцам; Мюргит, подходя к рулетке, думал: «У меня нет ни одной

копейки, а я уверен, что купил бы за гроши счастье. Недаром этому продавцу счастья так не везет самому». Мысль эта была заметно лишена логики, но ее убедительность равнялась в глазах Мюргита таблице умножения. И он заглянул в ящик, разделенный на клеточки, из которых попугай таскал клювом бумажки с предсказаниями и сентенциями.

Почувствовав у затылка сдержанное дыхание Мюргита, старик обернулся.

— Купи, молодчик! — шамкнул он, подмигивая, — поддержи торговлю! Народ стал нелюбопытен, разрази его гром, и, должно быть, теперь все счастливы, потому что воротят нос от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик?

— Вот, — сказал рассерженный Мюргит, собираясь выворотить карман, чтобы, кстати, вытряхнуть из него крошки и обломки спичек, — если здесь есть хоть бы одна копейка, я суну ее твоему попугаю, чтобы он подавился и издох на твоей спине!

Он дернул рукой. Пальцы, проскочив карманную дыру, уперлись в подкладку, и Мюргит, смотря застывшими глазами в насмешливое лицо старика, почувствовал, что сжимает монету. Мгновенно медь, серебро и золото вообразил он, но серебру и золоту неоткуда было явиться; вытащив руку, Мюргит с волнением увидел небольшую медную монету, на которую дали бы кусок хлеба. То было известное коварство вещей, умеющих, упав, завалиться под стол или диван таким образом, что для извлечения их требуется становиться на четвереньки; в других случаях потерянная вещь отыскивается весьма часто в ненужный момент. Мюргит, мысленно ругая себя за легкомысленное обещание, плюнул и топнул ногой, отчаяние и полное безучастие к судьбе овладело им; издаваясь над собой, он сказал:

— Счастье важнее хлеба, — и опустил монету в щель ящика.

Попугай, услышав знакомый стук, скрипнул клювом, закричал: «Сыпь орехов!» — и, сунув неуклюжую голову в одно из углублений, вытащил свернутую бумажку.

— Читай на здоровье, — сказал старик, и Мюргит с ненавистью вырвал из клюва птицы свое дешевое «счастье».

Отойдя в сторону, он развернул бумажку и прочитал следующие, безграмотно отпечатанные стихи:

Тебя счастливей в мире нет;
Избегнешь ты премногих бед;
Но есть примета для тебя:
Отыщешь счастье ты — любя.
Твой знак — Луна и Козерог
Ведут к удаче средь дорог.

— Хорошо,— злобно сказал Мюргит,— что эта нелепица не попалась безрукому, безногому и глухонемому; он, я думаю, отхлестал бы старика костылями за удачное предсказание.

Он резко повернулся и вошел в ближайший трактир с сомнительной надеждой отыскать под столом, как это было вчера, завалившуюся корку хлеба. Посетителей в трактире было немного; усталый Мюргит сел, отыскивая глазами на полу, среди окурков и пробок, что-либо съедобное.

— Что вам подать? — спросил, подходя, слуга.

— Сейчас ничего,— солгал наполовину Мюргит,— я жду приятеля, когда он придет, мы поедем вместе.

Так он просидел, ежась от голода, минут двадцать. Все кругом ели и не обращали на него внимания. Оглядываясь, Мюргит заметил пожилого человека с завязанной головой, делавшего ему знаки глазами и пальцами. У этого человека была самая подозрительная внешность, однако, Мюргит не колебался... Цепляясь за малейшую возможность поесть, подошел он к завязанной голове и сел рядом.

— Давно не ел? — проницательно осведомился, подмигивая, неизвестный.

— Да,— сказал Мюргит,— если вы угадали, что я не ел, то уж угадать, что не ел двое суток — пустяки.

— Хочешь заработать?

— Хочу.

— Эй,— сказала завязанная голова, кладя вилку,— дай-ка, рыжий, этому парню бобов с салом, баранины и вина.

Кровь хлынула к сердцу Мюргита от неожиданности; чувствуя инстинктивно, что лучше и выгоднее молчать, ожидая, что скажут, просидел он, перебирая от нетерпения под столом ногами, пока слуга, рыжий, как

солнце, ходил на кухню. Когда кушанье было подано. Мюргит съел его аналогично медленно трогающемуся и быстро берущему скорый ход паровозу; благодетель Мюргита, заметив под нос что-то насчет дураков, прозевавших такого молодца, как юноша, налил вина и сказал:

— Вижу я по твоей физиономии, что ты не способен выдать накормившего тебя человека. Слушай: я контрабандист и мошенник. Вчера с грузом сырого шелка выехал я по лесной реке Зерре, что неподалеку отсюда, прокрался благополучно мимо одного таможенного пикета и передал на берегу груз ожидавшим меня верховым товарищам.

Не успел я разделаться с последним тюком, как раздалась выстрелы, приятели мои ускакали, а я, бросаясь в лодке от берега к берегу, сбил с толку солдат, выскочил, покинул на произвол судьбы лодку и скрылся. Пришлось мне также бросить ружье. Контрабандисту, пойманному с оружием в руках,— виселица! Если найдут лодку — мигом узнают, что это моя работа, лодка моя известна. Поди-ка ты, затопи ее вместе с ружьем, а если увидишь, что ее уже нет,— вернись и скажи мне. Это для тебя не опасно, ты ведь можешь придумать, в случае чего, что угодно.

— Что ж,— сказал, охмелев, Мюргит,— я согласен.

— По тропинке за бойнями,— объяснил мошенник,— выйдешь ты к проезжей дороге, что идет мимо оврага, а там, у реки, возьмешь влево и, думаю, недолго пройдешь, как увидишь лодку. Прорежь ей ножом дно и насыпь камней. Вот тебе,— он вытащил из кармана горсть мелкого серебра и сунул Мюргиту.— Смотри же, братец, молчи обо всем этом.

— Будьте покойны,— сыто улыбаясь, сказал Мюргит,— я все обстригаю.

И он, не теряя времени, отправился к реке Зерре.

II

Бобы с салом, баранина, крепкое вино и мелкое серебро держали Мюргита целый час в состоянии упоения. «Ей-богу, мне повезло как раз после стихов»,— думал он, шагая лесной дорогой. Серебро звенело в его кармане соловьиными трелями, здоровая сытость разливалась

по окрепшему телу, и, веселый по природе, Мюргит беспричинно рассмеялся, насвистывая куплеты. Скоро пришел он к синей узкой реке, блестящей солнцем под безоблачным небом, и, с трудом пробираясь у самой воды среди упавших стволов папоротника, цепких кустов и арками купающихся в струях реки свисших ветвей, увидел в тенистом заливчике превосходную лодку, способную выдержать не менее десяти человек. В уключинах торчала пара тяжелых весел, а на дне, подле одноствольного, старинной работы ружья, валялся мешок с чаем, сахаром, галетами, порохом, пулями и сменой белья.

— Да это целое хозяйство! — вскричал Мюргит, запнувшись за жестяной котелок. Под кормой он увидел топор. — Лодку, конечно, я утоплю, но ружье и все остальное — дудки! Это стоит денег. Все равно мой случайный хозяин не получил бы этих вещей, если бы не я!

Решив так, Мюргит сел к веслам, взмахнул ими и выплыл на середину реки, высматривая, нет ли где тяжелых камней, но впал в раздумье. «Хорошо, — думал Мюргит, — я утоплю лодку, вернусь, и что же предстоит мне? Деньги через несколько дней выйдут, а в этом маленьком городе не легко найти место. Не отправиться ли мне вниз по течению? Что мне терять? Зерра впадает в Таниль, а Таниль в море, где шумит большой город, в десять раз более этого дохлого Хассавера — Сан-Риоль; поэтому я думаю, что благоразумнее мне пуститься во все тяжкие».

Твой знак — Луна и Козерог
Ведут к удаче средь дорог...

вспомнил Мюргит. С доверчивостью к судьбе, свойственной незлопамятной молодости, Мюргит прочно уселся на скамейку лодки, и весла запели в его руках, удаляя Мюргита от того места, где он собирался прорубить дно.

Безмолвная река развertyвалась перед ним пышной, синей аллеей, извилисто проникая в знойную тесноту дремлющих лесных берегов; обрывы, черные, как груды угля, с выползающими к воде розовыми корнями, сменялись колоннами бесконечно уходящих в полумрак зарослей стволов; далее, как высыпанная из корзин зелень, купались в зеленеющей отражениями воде гирлянды ветвей, образуя тенистые боковые коридоры: в

глубине их, встречая проникший луч, вспыхивали и гасли листья.

Затуманенные игрой струй висели в подводной пропасти опрокинутые двойники берегов, а даль речных поворотов сияла воздушными садами; очарованные зноем, серебристые от блеска воды, дремали они, готовые, казалось, развеяться от легкого дуновения. В тишине леса таилась покоряющая сила спокойствия, мысль человека, попавшего сюда, текла стройно и беспечально, отдаваясь власти видимого, и глаз не уставал подмечать богатое разнообразие берегов, слитных, как толпа, и разных, как лица.

Мюргит плыл и не думал уже о будущем, а тихо погружался в неясные, похожие на сказки, события, неизвестно кем пережитые и рассказанные, но был в них главным действующим лицом. Радовался, горевал, молился и плакал. В этой игре воображения не было ничего, что мог бы он припомнить потом, но сердце его от зноя, тишины и беспричинной, сладкой тревоги билось частыми, волнующими толчками, как бы требуя на неизвестном наречии свободы и радости. Прошел еще час, пали тени от берегов, и, услышав громкое сопение, увидел Мюргит порядочных размеров медведя. Зверь стоял у воды, саженьях в десяти от лодки; с морды его падали блестящие водяные капли, он пил и, увидев человека, обеспокоился.

— Эй, дядя! — беспечно крикнул Мюргит, считая себя в безопасности. — Как посмотрю я, ты здорово обнагел, если не боишься получить пулю! — И он показал ему заряженное ружье.

Медведь рывкнул, потоптался и прыгнул в воду. Не ожидая этого, Мюргит растерялся, зверь плыл к нему весьма быстро, и мохнатая голова его была уже не далее шести шагов от Мюргита, лодка же, пока он грозил ружьем, повернулась носом против течения, очень быстрого в этом месте, так что, потеряв несколько времени на усилия привести лодку в прежнее положение, молодой человек увидел себя вынужденным стрелять. Он взвел курок, прицелился и, дав зверю очутиться почти вплотную, прострелил ему череп. После этого, еще не опомившись хорошенько от неожиданного нападения, он тупо смотрел, как забившийся зверь, разводя лапами немалое волнение, поплыл в красном кровавом пятне, по-

чти уже мертвый, рядом с лодкой; еще не совсем прошел испуг Мюргита, как он сообразил, что с медведя следует содрать шкуру. Захлестнув веревкой голову мертвого врага, Мюргит взял его на буксир и, пристав к берегу, после долгих усилий, вспотев, ободрал тушу; прекрасная, черная шкура тяжело висела в руках удачливого стрелка, и он бросил ее на дно лодки.

— Вот жизнь медвежья! — все еще удивляясь, сказал Мюргит. — Нехорошо быть таким вспыльчивым. — И он продолжал путь, несмотря на добычу, без всякого желания пережить еще такую же встречу.

Смеркалось, когда, увидев редкие огни местного поселка, Мюргит усталый подплыл к чистому песку берега, рассчитывая переночевать под крышей, а не на сыром мху. Только что он вытащил лодку, как увидел, что к деревянным мосткам, лежавшим на забитых в воде сваях, идет с корзиной молодая, бедно одетая девушка. Проворно размахивая свободной рукой, незнакомка подошла к краю мостков и, заметив Мюргита, раскрыла от удивления маленький, как орех, рот. Ей было не более пятнадцати лет, и была она скорее хороша, чем дурна собой, благодаря молодости, лучистым глазам, черной косе и гибкости. Немного портили ее большие руки, грубоватые, как у большинства работающих женщин, и худощавость сложения, имевшая в себе нечто мальчишеское, но это показалось ничем в глазах Мюргита; стройная девушка пленила его улыбкой, доверчивой, как глаза больной обезьянки, и он подошел к ней.

— Вы, должно быть, нездешний, — сказала девушка, — я вижу вас в первый раз.

— Я еду из Хассавера в Сан-Риоль, — объяснил Мюргит, — и по дороге убил медведя. Там, в лодке, лежит его шкура. Позвольте узнать ваше имя!

— Анни, — и она закрылась рукой, потому что Мюргит понравился ей. — Можно посмотреть шкуру?

— Непременно! — вскричал Мюргит. Корзина с невыполосканным бельем осталась на мостках, а Анни, подбежав к лодке, попятилась и развела руками от удивления. — Вот большой, — сказала она, — и как это вы его трахнули?!

Так, слово за словом, разговорились они и познакомились. Анни была работницей в зажиточной фермер-

ской семье, но очень страдала от непосильной работы и томилась жизнью в глуши. А Мюргит, слушая ее, думал: «Как часто, по глупости или лени, проходят люди мимо своего счастья. Не буду же я дураком, сегодня мне везет, как утопленнику». И он стал рассказывать о себе, не упуская случая вставить комплимент краснеющей девушке. Сидя на борту лодки, подвигались они все ближе друг к другу, пока, заметив это, не отодвинулись точно сговорившись, и не умолкли.

Наконец Мюргит приступил к делу. Хитрец был красноречив и говорил таким тихим голосом, что его можно было принять за шепот речной воды. «Анни,— сказал он,— я много читал, слышал и видел, что случай руководит людьми. Посмотрите на эту реку. Если бы вода в ней остановилась, образовался бы ряд гнилых, скучных прудов, где от тоскидохнут рыбы. Но река движется, неустанно освежает землю, и земля вознаграждает ее пышной растительностью, охраняющей влагу от испарения. Так же и человек должен следовать руслу случая, если он обещает ему в будущем радость. Мы познакомились случайно, и отчего бы нам затягивать это дело дальше? Вот лодка и весла, а вот открытый путь в Сан-Риоль, если я вам хоть немного нравлюсь, то в будущем понравлюсь еще более. Вам и мне терять нечего. Если вам кто-нибудь говорил, что жизнь требует осторожности и терпения,— не верьте, бывает, что и терпение лопається. Удивите-ка самое себя! Приехав, мы обвенчаемся, а денег у нас на первое время хватит — я продам лодку, ружье и шкуру.

— Вы с ума сошли! — вскричала Анни. Но голос Мюргита звучал так серьезно, что это польстило ей.

— Я сделаю для вас все! — торопился высказаться Мюргит. — Я в конце концов, конечно, разбогатею! Я буду вас одевать в шелк, бархат и бриллианты и построю вам дом! Я куплю вам лошадей и все, что вы захотите!

К чести его надо сказать, что он сам верил своим словам. Обещания, одно заманчивее другого, посыпались с его языка проливным дождем.

— Нет, этого я не сделаю, — решительно произнесла Анни и подвинулась ближе.

— Анни! — сказал Мюргит. — Поверьте моему дню!

— Никогда. А как же белье?

- Белье? Белье... что ж белье?!
— Вы не... будете обижать меня?
— Упаси бог.

Они взялись за руки и стали шептаться.

В сердце Анни было много задора, легкомыслия и великодушия. Шептались они очень долго и убедительно, и Мюргит толкнул лодку в ночную реку, под крупные звезды, и Анни, поплавав, села к рулю.

III

В раскрытое окно лился гром приморского города. Похудевший Мюргит печально смотрел на Анни, а Анни, стараясь не поддаваться унынию, смотрела на мужа.

— Нет керосину,— сказал Мюргит,— сахару нет чаю, хлеба, мыла и табаку. Положение наше ожесточенное, дружок Анни. Что бы продать?

Анни ничего не ответила, потому что в маленькой комнате не было ничего для продажи.

«Обменять новые башмаки на старые,— думала Анни,— или продать их совсем? — Она вздохнула и посмотрела на маленькие свои ноги.— Опять босиком?!»

— Подожди-ка! — вдруг вскричал, вскакивая, Мюргит. Он кое-что вспомнил, и в глазах его это было все же лучше, чем ничего.— Анни, подожди меня, я скоро вернусь.

— Что ты задумал?

— А вот увидишь.

И он, схватив шляпу, бросился бегом на улицу. А когда вернулся, под мышкой у него торчал объемистый сверток, который он с торжеством показал жене.

— Я выпросил это в долг у лавочника,— сказал он и стал говорить, что к вечеру он все устроит. Анни, выслушивая его план, немного приободрилась, и у нее появилась надежда, что вечером удастся поесть.

В этот же день на площади у фонтана остановилась пара молодых людей, мужчина и женщина. У мужчины на шее висел ящик. С улыбкой посмотрев друг другу в глаза и смущаясь, они потупились и запели; свежие, приятные голоса их остановили некоторых прохожих. Пропев несколько песенок о любви, цветах, вине и веселье, человек с ящиком выступил вперед и сказал:

— Купите, господа, счастье! Роль маленького попугая исполняет моя жена.

И монеты, одна за другой, стали падать в шляпу Мюргита.

УБИЙСТВО В РЫБНОЙ ЛАВКЕ

Действительное происшествие в городе Зурбагане, пережитое другом автора, учителем математики Пик-Миком.

Изложено А. С. Грин о м.

Мои несчастья происходили от неумеренности во всем, от нерасчетливости в трате сил организма, могущего, как всякий бешено эксплуатируемый организм, давать лишь краткое повышенное состояние того или другого рода. Закон реакции способен испытать даже боров, дома валяющийся в грязи, а личность современного неврастеника — весьма хрупкая арфа для продолжительных бурных мелодий. Пользуясь иногда (очень редко) модными шаблонными выражениями, я могу сказать, что «устал жить»; слова эти не вполне искренни, но объясняют, в чем дело. Я стал замороженным судаком, духовной развалиной, или, что то же, акробатом со сломанными ногами. Однако желания не угасли и были (в силу бездействия) довольно разнообразны.

Весну прошлого года мне случилось провести в Зурбагане. Этот удивительно живой южный город увеличил несколько мой аппетит и улучшил дыхание, но лукавая апатичность сделалась уже, по-видимому, постоянной окраской моего духа, и я был бессилен пожелать даже прекращения этого состояния. Все существо мое пропиталось бесцветной томностью и бессодержательной задумчивостью. Я мог часами слушать разные пустяки, не проронив ни слова, или сидеть у окна с видом на море, зевая, как мельник в безветренный день.

Старушка, у которой я снял комнату, толстенькая и свежая, без единого пятнышка на ослепительной белизны переднике, без конца рассказывала мне о выгнанном ею из дома пьянице-муже или семейных делах соседей,

в которых она открывала качества самого противоположного свойства: или ангельскую доброту или же самое черное злодейство. Слушая болтовню этой полустарухи, полудамы, я часто по ее просьбе помогал ей мотать нитки, растягивая их на растопыренных пальцах. В конце концов я привык к этому глупому занятию, — моему бездействующему уму нравилось течение бесконечной нитки, обходящей вокруг клубка, здесь не над чем было думать и не о чем беспокоиться.

Однажды в жаркий полдень я дремал у окна над книгой, когда в полуотворенную дверь просунулась седлая голова почтенной женщины.

— Ах, господин Пик-Мик! — сказала хозяйка, качая головой. — Вот уж скучно вам, как посмотрю. Не будете ли вы так любезны помочь мне с этой голубой шерстью?

— Это очень кстати, — шутиливо заявил я, — идите, идите сюда. — Я воспрянул духом, как боевой конь.

Полезное занятие началось. Однако, не успели мы смотать десяти саженьей шерсти, как в прихожей залился звонок, и хозяйка встала.

— Вот и угли принесли! — вскричала она тоном полководца, бросающего резервы. — Я ему, этому негодяю, глаза выцарапаю. Каково это утром обходиться без углей, подумайте-ка, господин Пик-Мик!

Она отправилась, по своему образному выражению, «выцарапывать» глаза носильщику, а я положил шерсть на подоконник и закурил. Помню, я размышлял в это время о только что прочитанном описании Фарнезского Геркулеса в книге г-на Лабазейля, и то что последовало немедленно не имело и не могло иметь никакого отношения к данному состоянию моего ума.

Я услышал на каменном тротуаре под окном торопливый гул шагов группы людей, свернувших на нашу улицу из соседнего переулочка. Я их не видел, они шли быстро и громко переговаривались. Голоса их звучали тревожно и возбужденно. Кто-то сказал: — «Незадача вашему отцу, Крисс, помер он страшной смертью». — «Только попадись мне убийца! — вскричал, я полагаю, сын Крисса. — Я поступлю с ним, как жернов с мукой!» — «И вот, — подхватил третий, — надо же было снять лавку в таком глухом месте!» — «Кто же знал, — возразил второй, — угол Черногорской и Вишневого

Сада всегда давал пользу. На рыбу там большой спрос». — «Дар-бер-гур-бун-мум»... Шумели, уже неясно, голоса, удаляясь. На улице стало тихо.

Поспешные шаги, торопливый разговор, из которого было совершенно ясно, что на углу улиц Черногорской и Вишневого Сада недавно, вернее, только что, произошло убийство, сильно разожгли мое любопытство, вспыхивающее за последнее время только от неожиданных резких толчков, подобных настоящему. Содержание разговора точно указывало жертву. Убили хозяина рыбной лавки, какого-то Крисса, и вот его сын спешил, надо думать, с товарищами к месту преступления, извещенный полицией о сем печальном событии. Я с удовольствием ощутил нестерпимое желание поглазеть на труп Крисса, вздохнуть атмосферой уличного возбуждения, толкаться в толпе зрителей, ахать и охать.

Стараясь не дать угаснуть этому редкому для меня проявлению интереса к человеческой жизни, я поспешно надел шляпу, взял свою трость с серебряным набалдашником, изображающим кулак, и быстро пошел на улицу мимо разгоряченной старушки, копавшейся с причитанием и бранчивостью в кошелек. Угольщик, видимо, сдал товар и ждал за него уплаты. Ни тот, ни другая, кажется, не заметили моего ухода.

Угол Черногорской и Вишневого Сада был действительно изрядно глухим местом, обретаясь среди пустырей, в самом конце гавани, населенном инвалидами, спившимися матросами, судовыми рабочими и мелкими огородниками. Имя «Вишневый Сад» было дано не иначе как в насмешку. Эта кривая улица изобиловала сорными травами и полуразрушенными заборами. Не лучше выглядела и Черногорская, выходя одним концом к безотрадному пейзажу свалок. За дальностью расстояния пришло мне в голову нанять фаэтон, но я почему-то не сделал этого. Шагая, шагая и шагая, появился я наконец на этом углу, где над фасадом одноэтажного дома виднелась черная от дождей вывеска с зелеными буквами, возвещавшими, что здесь «Рыбная торговля Крисса».

Двери лавчонки были открыты настежь, у распахнутых половинок двери стояли в полном порядке устричные корзины. На улице не было ни души. Великое разочарование испытал я, когда, подойдя к лавке, увидел

спокойно сидящего внутри ее на табурете хозяина. Водной руке держа чашку с кусками вареной рыбы, таскал он из этой посуды свободной рукой рыбе мясо, аппетитно совал в рот и аппетитно проглатывал, время от времени гоняя мух, стайками бунчавших над чашкой.

Решив, что разговор, слышанный мною под окном, был лишь интересной слуховой галлюцинацией, я, желая окончательно осветить положение, вошел в лавку. Хозяин, встав, выжидательно смотрел на меня. Произшел следующий диалог:

Я. Здравствуйте!

Он. Мое почтение, господин!

Я. Это лавка Крисса?

Он. Она самая, Криссова.

Я. Вы и есть — Крисс?

Он (*величаво*). Я — Крисс.

Здесь со мной случился один из тех припадков рассеянности, благодаря которым я не раз попадал в странные положения. Я проникся духом этой рыбной лавки, некоторой яркостью ранее безразличных для меня впечатлений. Глубоко задумавшись, рассматривал я огромные столы, заваленные телами рыб. Тут были палтусы, форели, миноги, угри, камбала, сазаны, морские окуни и много пород, коим я не слышал названия. Хвосты свешивались со столов, розоватые, белые и пятнистые брюха оканчивались разинутыми щелями жабр, спины отличали темно-зеленым золотом, червленым серебром, сталью и красной медью. Солнце, кидаясь в груды оперенных плавниками спин, мыло их чешую желтым светом, похожим на одуванчики. За головами самых темных, черных и огромных рыб в стенную щель лился более бледный, отраженный свет двора, и какой-то застывший, выпученный глаз в костлявой орбите маячил в этом свете, вспоминая, должно быть, давно угасший свет подводного мира.

Очарованный лавкой, я почувствовал зависть к Криссу. Мне страшно хотелось (хорошо и то, что я стал способен пожелать хоть таких пустяков), страшно хотелось быть Криссом, хозяином рыбной торговли, есть, как он, пальцами из глиняной чашки, рубить ослепительно широким ножом упругие рыбы хвосты, пачкать

чешуей руки и дышать этой причудливой, свежей атмосферой, полной запахов моря.

— Какой рыбы и сколько? — грубо спросил Крисс.

Я опомнился. Мой блуждающий взгляд, как видно, разбудил в Криссе подозрительность. Всякий хозяин рыбной лавки имеет право знать, зачем пришел к нему ничего не говорящий, а лишь тупо и долго осматривающий товар человек. Может быть, Крисс видел во мне нищего, или переодетого санитарного чиновника, или вора.

— Крисс, — издалека начал я. — Бывали у вас когда-нибудь сильные капризы, такие — понимаете — сильные... такие...

— Что вам угодно, наконец? — взревел он, подтягивая передник. Большая толстогубая голова Крисса склонилась, как у козла перед ударом рогами. Он близко подступил ко мне, выпятив грудь. — Идите-ка, молодец, проспитесь!

Я знал прекрасно, что Крисс, как лавочник, не мог говорить иначе, и в то же время сильно досадовал, что из этого примитивного цельного человека нельзя вытянуть другого Крисса, такого, который понял и оценил бы мое, в конце концов, весьма похвальное восхищение родом занятия, имеющего прямую связь с природой, что всегда ценно. Собираясь уйти, я только лишь начал объяснять, как мог популярнее — что лавка и товар мне очень понравились, как вдруг, не дослушав, приняв, может быть, мои слова за издевательство, Крисс сильно ударил меня по голове выше уха.

Я — человек смирный, однако, принимая во внимание обстоятельства дела — разочарование при виде живого Крисса, нелепость положения и сильную боль от мастерски направленного удара, — счел нужным ответить тем же. Я взмахнул тростью, Крисс бросился на меня, и увесистый металлический набалдашник моей палки резко хватил его в левую височную кость. Крисс постоял с внезапно остановившимся взглядом секунды три, всхлипнул и грохнулся на пол, тяжело проехав затылком по ножке стола.

Не зная — жив Крисс, мертв или же, как говорится, полумертв, я быстро выглянул на улицу, опасаясь свидетелей. Только вдали брела некая одинокая фигура, но и она шла не по направлению к лавке. Естественно, что я

был сильно возбужден и расстроен; злобное оживление драки еще держало меня вне испуга за совершившееся; тем не менее я, удаляясь как мог быстрее, свернул окольными переулками к центру. На ходу мне пришло в голову, что теперь разговор под окном, который я слышал — или мне показалось, что слышал — час назад, — что подобный разговор теперь никак нельзя было бы принять за галлюцинацию. Почему я слышал именно такой разговор, когда Крисс был совершенно здоров и неопровержимо жив? Что если он лежит не оглушенный, а мертвый — к какому порядку сверхъестественного отнесу я в таком случае недавний мой слуховой бред? «Мы еще подумаем над этим», — сказал я, пугаясь необычности происшедшего и свирепо колеся палкой по воздуху. Здесь бросилось мне в глаза, что палка лишена набалдашника; он, видимо, отлетел в момент удара. Странно, что это обстоятельство, могущее послужить уликой, скорее обрадовало, чем испугало меня, белый излом палочного конца выглядел вестью из мира реальности, доказательством, что я не сплю и не болен. Однако поравнявшись с невысоким забором, за коим шумел сад, я швырнул палку туда и с глухо тоскующим сердцем поспешил домой.

Когда я помогал старухе мотать шерсть, стул мой стоял у окна и теперь оставался там же; войдя в свою комнату, я почувствовал большую усталость, но сесть на этот стул мне было противно: я опасался его. Мне казалось, что у окна должно произойти нечто еще более тягостное и необъяснимое, чем совершившееся. Пока я стоял среди комнаты, в состоянии полного упадка сил и странной оторванности от всего в мире, как бы рассматривая этот мир в потайную щель, — вошла старушка. Неоконченный моток шерсти висел на ее руке. На ее расспросы, куда я ходил, я, кажется, пробормотал что-то про аптеку, забытый рецепт и, видя ее суетливое желание заняться мотанием шерсти, — сел, поборов мнительность, на стул к окну. Мне хотелось немудрых, механических действий, способных рассеять жуткий наплыв чувств. Я взял моток и стал отпускать нитку.

Тогда, и снова в полной тишине временно затихшей улицы, услышал я с ужасом и отвращением перед непо-

стижимым гулкий, торопливый стук шагов кучки людей, проговоривших на ходу то же, что слышал я ранее, и с теми же интонациями, как повторенную пластинку граммофона: — «Незадача вашему отцу, Крисс, помер он страшной смертью!» — «Только попадись мне убийца! Я поступлю с ним, как жернов с мукой!» — «И вот надо же было снять лавку в таком глухом месте». — «Кто же знал; угол Черногорской и Вишневого Сада всегда давал пользу. На рыбу там большой спрос». — Дальнейший разговор, как ранее, слился в непроницаемый гул, и шаги стихли за поворотом.

— Вы слышали что-нибудь? — вскричал я, хватая старуху за руку.

Мой вид и, вероятно, бледность поразили старуху.

— Кого-то убили, кажется, — нерешительно сказала она, — что-то болтали сейчас под окном об этом; да наш город, как вы знаете, не из тихих, здесь на каждом шагу... Что с вами, о, что это с вами? — вдруг крикнула она, — вам дурно? — но я эти ее слова припомнил лишь через несколько минут, очнувшись от сильного головокружения, близкого к обмороку.

Вечерняя газета мало что нового принесла мне. Вот текст заметки: «Около трех часов дня в рыбной лавке, что на углу Черногорской и Вишневого Сада, убит рыбак Крисс. Мотивы преступления неизвестны. Деньги и товар целы. Стремительный удар нанесен в висок, по видимому, стальным набалдашником палки; набалдашник этот, имеющий форму сжатого к у л а к а, поднят тут же, предполагают, что он сломался в момент удара. Это массивный стальной предмет, весом около пяти восьмьюх фунта. Следствие производится.

А r r o r o s... Нам сообщают, что единственный сын Крисса, студент местного университета, узнав о смерти отца, пережил сильное нервное потрясение, осложнившееся интересным психическим эффектом. Именно: он говорил пользовавшему его доктору Паульсону (Площадь Процессий, 5), что, отправляясь с товарищами к месту печального происшествия, не в силах был отделаться от убеждения (впечатления), что н е к о г д а шел уже, в таком же состоянии духа, и с той же печальной целью по тем же самым улицам. Явление это, довольно частое и испытанное каждым по какому-либо поводу, подробно

разработано г. Паульсоном в его книге «Рефлексы сознания».

Я постарался, насколько мог, забыть об этой истории... Паульсон умело пристегнул свое имя к убийству. Это реклама. Приятно видеть в запутанной, таинственной сущности нашей жизни господина, отовсюду вылавливающего рубли.

ПТИЦА КАМ-БУ

— Какой красивый петушок!
— Что вы?! Разве он несется?

Разговор экскурсантов.

I

На самом маленьком острове группы Фассидениар, затерянной к северо-востоку от Новой Гвинеи, мне и корабельному повару Сурри довелось прожить три невероятных тяжелых месяца.

Мы, потерпев крушение, пристали к острову на утлом, предательски вертлявом плоту, одни-одинешеньки, так как остальной экипаж частью утонул, частью наплавился, захватив шлюпки, в другую сторону.

Дикари измучили нас. Их вид был смесью свирепого и смешного, что утомительно. Здоровенные губы, распяленные ракушками и медными пуговицами, отвислые уши, мохнатые, над жестокими глазами, брови, прически в виде башен, утыканных перьями, переднички и тагуировка, копья и палицы — все это дышало ядом и убийством. Нас не покушались съесть, нас не били и не царапали.

Мы, только что выползшие на берег, мокрые, злые, испуганные, стояли в центре толпы, ожидая решения старшин племени, кричавших друг на друга с яростью прачек, не поделивших воды. Из пятого в десятое я понимал, о чем они говорят, и переводил туземные фразы Сурри. Тут выяснилось, что у дикаря Мах-Ках задавило упавшим деревом сразу двух жен, и Мах-Ках остался без рабочих рук. Он просил отдать меня с Сурри ему

в рабы За Мах-Каха стояли двое старшин, другие два поддерживали предложение пронырливого старика Тумбы, считавшего крайне выгодным продать нас в обмен на полдюжины женщин соседнему племени каннибалов для известного рода пиршества. Мах-Ках показался мне несколько симпатичнее Тумбы. С трудом подбирая слова, я крикнул:

— Выслушайте меня! Если вы продадите нас людоедам — мы сделаем себе горькое мясо. Никто не захочет нас есть. У вас отберут женщин обратно и сожгут ваши шалаши за мошенничество. Мах-Ках будет нас кормить, а мы будем для него работать.

— Как же вы сделаете горькое мясо? — недоверчиво зашипел Тумба.

— Растравим себе печенку, — мрачно сказал я, — воспоминанием о твоём лице.

Боязнь прогадать, опасение таинственных волшебств белых людей и та, существующая под всеми широтами синица, более интересная, чем журавль в небе, дали перевес Мах-Каху. Он с торжеством увел нас к своему логову.

II

Остров был прекрасен, как сон узника о свободе. В полдень он сиял и горел, подобно изумруд, окруженный голубым дымом моря, он бросал тени лесов в его прозрачную глубину. Вечером он благоухал весь, от почвы до листвы высоких деревьев, смешанные сильные запахи неотступно преследовали человека, подобно любовному томлению яркой мечты. Ночью ослепляющий мрак сверкал огнями таинственных насекомых, эти огни воображение легко представляло звездами, опустившимися к земле, так были они яркие, загадочны и бесчисленны. Иногда в фосфорическом луче их крался из мрака образ острого, серебристого листа и гас подобно призраку, уничтоженному сомнением. На таком острове жили невозможные дикари.

Мах-Ках давал нам весьма мало отдыха, еще меньше пищи, но очень много работы. С утра до захода солнца мы растирали круглыми камнями волокнистую сердцевину саговых деревьев, добывая муку; носили воду из

отдаленного озера, копали ямы, назначение коих оставалось для нас неизвестным, плели циновки, долбили челноки и строили изгороди. Мах-Ках ничего не делал, лишь изредка, лениво таща лук, уходил в лес за птицей или молодым кенгуру. Разумеется, у нас отняли все, что уцелело от кораблекрушения: платки, ножи, трубки и компас.

Раз вечером, измученный работой, обросший бородой, полуголый и грустный Сурри затянул песню. В ней говорилось о далекой звезде, на которую смотрит женщина.

«О, если бы я была звездой», — говорит она и получает в ответ: «звезд много, а любящих, как ты, совсем ничтожное число на земле. Будь со мной, будь вечно со мной, единственная моя звезда».

Неприхотливый пафос этой песенки звучал весьма выразительно среди подошедших слушать пение черномазых. Мах-Ках тоже вышел из хижины. Присев на корточки, он пожелал узнать, о чем говорит песня. Я объяснил, применяясь к его пониманию — как можно грубее и даже пошлее, но растопыренное лицо дикаря беспомощно пялило глаза. Мах-Ках не уловил сути.

— Твоя песня плохая! — сказал он Сурри и плюнул, и вся орда радостно заржала. — Мах-Ках поет песню лучше. Слушай Мах-Каха.

Он заткнул уши пальцами и, кривляясь, издал пронзительный затяжной вопль — эта «мелодия» в два или три тона была противна, как незаслуженная брань с пенью у рта.

Мах-Ках пел о том, как он ест, как охотится, как плывет на лодке, как бьет жену и как похваляется над врагом. Все это начиналось и кончалось припевом:

«Вот хорошо-то, вот-то хорошо!»

Я истерически хохотал. Сурри молчал, сжимая в кулаке камень. Мах-Ках кончил при общем одобрительном взвизгивании дикарей.

Нервы мои в последнее время были сильно расстроены. Я собрался уже уязвить своего хозяина какой-нибудь двусмысленной похвалой, как в это время один из стариков, сидевших на корточках вокруг нашего шалаша, вскочил и, протягивая руки к опушке леса, завопил неистовым голосом:

— Кам-Бу! Кам-Бу! Пощади нас, презренных твоих рабов!

Произошла суматоха. Дети, воины, женщины стремглав понеслись по лесу, где в зеленых развалах дикой листвы сверкало живописным пятном нечто радужное, трепещущее и великолепное.

III

От деревни до леса было шагов двести. Нас давно уже опередили все жители проклятого селъца, так как я и Сурри, не будучи сильно заинтересованы причиной волнения дикарей, шли тихо, рядом с одним хромым, который, ежеминутно спотыкаясь, в кратких перерывах между падениями на этом кочковатом лугу удовлетворял наше любопытство таким образом:

— Кам-Бу — дух. Очень сильный дух и ленивый. Мы не любим его, только боимся. Просишь дождя — не дает дождя. Хочешь съесть ящерицу — не дает ящерицу. Просишь мальчика — не дает мальчика. Только кричит: «Пик-ку-ту-си, пик-ку-ту-си». Давно живет здесь. Чего просишь — ничего не дает, только хвостом вертит.

Полная практическая беспомощность такого духа была в глазах хромого яеным доказательством его вредоносных свойств, потому что он прибавил:

— Кам-Бу приводит с собой беду. Только это и делает. — И он закричал, помахивая костылем:

— Кам-Бу, помилуй нас, не трогай, уходи от деревни!

Здесь надо заметить, что дикари, державшие нас в плену, стояли на самом низком умственном уровне. Их быт был, в сущности, их настоящим, весьма требовательным божеством, несмотря на всю скудость своего содержания. Традиционный полузвериный уклад жизни с его похоронными, родильными, пиршественными и иными обрядами, с определенным типом домашней утвари, оружия и построек, начинал и оканчивал собой все мирозерцание черномазых. Естественно, что такая ограниченность интересов требовала от вечного духа — Кам-Бу в данном случае — исключительно домашних услуг.

Я увидел наконец бесполезную красоту Кам-Бу. То была, надо полагать, редкая разновидность парадиз-

ки — райской птицы. Существо это, привыкшее не бояться людей, восседало на гроздьях листвы лавра, простиравшего свои живописные ветви далеко от кряжистого ствола.

В Кам-Бу удачно сочетались грация и энергия. Эта птица, величиной с большого павлина, непрерывно вытягивала и собирала шею, как бы пробивая маленькой головой невидимую тяжесть пространства. Круглые с оранжевым отливом глаза сияли детской беспечностью и кокетливым любопытством; иногда они покрывались пленкой, напоминая глаза турчанок, затененные кисеей. Римский клюв — если допустимо это определение в отношении птицы — был голубоватого цвета, что приятно гармонировало с общим золотистым тоном головки, украшенной нарядным султаном из красных и фиолетовых перьев. Огненно-золотые нити тянулись, начиная от головы, по жемчужно-синеватому оперению, огибая бледно-коричневатые крылья и сходясь у пышного хвоста, цветом и формой весьма похожего на алую махровую розу. Из хвоста падали вниз три длинные, тонкие, как тесьма, пера, окрашенные тем непередаваемым смешением цветов и оттенков, какое ближе всего к точному впечатлению можно назвать радужным. Перья шевелились от ветра, напоминая шлейф знатной дамы, сверкающий под огнем люстр.

Туземцы, не подходя к дереву совсем близко, в двадцати шагах от него подпрыгивали и воздевали руки к ленивому божеству, уже скучавшему, вероятно, о неге и тени лесных глубин. Колдун ударил по пузатому барабану, нестово корчась, приплясывая и распевая нечто, действующее на нервы в худом смысле.

Вдруг Сурри схватил меня за плечо, повернул лицом к морю и тотчас предусмотрительно зажал мне рукой рот, опасаясь невольного вскрика. Я посмотрел в направлении, указанном Сурри, тотчас оценил зажатие рта и тотчас, инстинктом поняв всю опасность неумеренного внимания, быстро отвернулся от моря, но в глазах, как выжженная, стояла морская зыбь, с кораблем, обрамленным грудастыми парусами.

Моя рука и рука Сурри ломались в судорожном жатии. Я молчал. Став спиной к морю, я старался одолеть виденное хладнокровием и сообразительностью.

Корабль двигался не далее как в миле от берега. Высокий конус парусов с выпелами над ними плавно разрезал дымчатый туман моря; заходящее солнце золотило корабль, сверкая по ватерлинии и косым выпуклостям кливеров пламенными улыбками. Светило дня, раскрасневшееся от утомления, висело низко над горизонтом. Наступление мрака разрушало весь план спасения, следовало торопиться.

— Сурри,— сказал я,— сыграем ва-банк!

Он печально кивнул головой.

Я продолжал: — Дикари заняты умилоствлением ленивца Кам-Бу. Попробуем уйти — сперва пятясь, затем побыстрее и носками вперед.

— Есть,— тихо сказал Сурри.

«Кам-Бу! — мысленно молился я, пока мы, бесшумно отделившись в тыл толпы, увеличивали расстояние между собой и лесом, припадая за кусты, ползя в траве или, согнувшись, перебегая открытые лужайки,— Кам-Бу! Ради бога не улетай! Удержи их расстроенное внимание блеском своих перьев! Не дай им, заметив наше намерение, убить нас!»

Птица сидела на прежнем месте. Она превратилась в маленькую далекую точку света и, когда прибой зашумел под моими ногами,— исчезла, поглощенная расстоянием. Столкнув первую попавшуюся пирогу, я и Сурри понеслись к недалекому, вскоре заметившему нас фрегату.

— Кам-Бу, сидящая на лавре! Дай уж им, так и быть, дождя, красной глины для горшков, мальчика и жирную ящерицу! — Нам — только свободу!

Я уверен, что недавние мои господа, лишившиеся двух сильных белых рабов, вписали за это Кам-Бу еще раз на черную доску. Бесплезное божество претит им.

Милая спасительница Кам-Бу, сверкай бесполезно!

РАССКАЗЫ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ А. С. ГРИНОМ
В СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЛЯ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЫСЛЬ»

РУКА

I

За окнами вагона третьего класса моросил тусклый, серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение.

Забиться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задсвал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая вспугнутая дрема.

Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тре-

возной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его, и, наконец, решил, что уснуть в эту ночь — вещь для него невыносимая. Неизбежность, осознанная им, несколько успокоила расхोлившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него.

II

Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный, капризный сон на мгновение прикинул к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес. Она лежала, плотно укрытая шалью, в спокойном, крепком сне, милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышали нежной детской доверчивостью существа юного в жизни телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные, пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое покрасневшее ушко. Грудь дышала ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежали под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.

Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она — девушка, Костров решил сразу и перестал думать об этом.

Она спала, спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить. Поэтому, не решаясь, с одной стороны, лишиться себя удовольствия, а с другой — причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол.

Вагон, стремительно раскачиваясь, неся вперед, дребезжали стекла, дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками; спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными и бесполезными украшениями; спала женщина в ситцевом платке, с корзиной под головой, спала девушка.

III

Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей, незнакомой женщины очутился бодрствующий, незнакомый ей мужчина и, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей. Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежащим. Молодой, сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет. И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна.

Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку; отяжелевшие, полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размышлял о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие. Жена его — вот эта самая девушка; она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две; в сонных движениях раскроется ее шея, шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А он подойдет и тихо, стараясь не разбудить ее, поднимет шаль и снова укутает милое спящее существо, греясь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, — солнечный

свет ударит в них и засмеется в глазах, добрых, знающих его, верных ему.

Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова оставался на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой.

Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз, но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку.

IV

Костров с жалостью следил за беспомощными, сонными движениями соседки. Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется и, быть может, уже не заснет снова, а будет сидеть, как и он, с тяжелой, неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.

Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно, ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может — обидеться. Теплота ее — чужая теплота, он не имел права заботиться.

«В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? — сказал себе Костров, закуривая новую папиросу и усиливаясь понять ту, несомненно существующую между ним и ею преграду, которая мешала оказать маленькую дружескую услугу сонному человеку. — Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого — прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление обер-кондуктора? Для меня ясно одно: что сделать этого я не вправе, да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?»

Ответ сам просился на язык, ответ, заключающий в себе слова: «это было бы странно»... а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо,— на месте.

«Когда она проснется — ей-богу, спрошу... Это любопытно... Спрошу: приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?»

Он смотрел на ее свесившуюся, со вздувшимися на кисти жилками, руку, и в душе его шевелилось прежнее желание: уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взяв в свою большую сильную руку теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся; но все спали.

Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз. Костров нагнулся и, спокойно выдерживая взгляд, сказал:

— Сударыня, я...

— А? Что? Зачем?.. — сонно и тревожно заговорила девушка, слегка приподнимаясь и сясь понять, что хочет он от нее этот большой, серьезный человек.

Костров повторил, не торопясь, твердым голосом и стараясь вложить как можно больше искренности в свои слова:

— Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение, и поправил ее... Если вы рассердитесь на меня за это — я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее и больше ничего...

Он перевел дух.

— Вот пустяки, — сказала девушка, успокаиваясь и снова кладя голову на подушку. — Стоило вам беспокоиться... Спасибо.

Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой.

Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь и опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого, бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая вера — вера в силу искренности.

ЛЕБЕДЬ

I

Весной, в мае месяце, старая, почерневшая мельница казалась убогой, горбатой старушонкой, безнадежно шамкающей дряхлую песню под радостный шепот зеленой, водяной молодежи: кувшинок, камышей и осок. Спокойный зеленоватый пруд медленно цедил свою ленивую воду сквозь старые челюсти, грохотал жерновами, пылил мукой, и было похоже, что старушка сердится — умаялась.

Но только зима давала ей полный, близкий к уничтожению и смерти покой. Пустынная выюга серебрила крышу, заносила окна, оголяла цветущие берега и изо дня в день, из ночи в ночь качала, напевая тоскливый мотив, вершинами сосен, гудела и плакала. А с первым движением льда начиналось беспокойство: колыхалась расшатанная плотина, вода бурлила и буйствовала, гомонили утки и кулики, в небе мчались бурные весенние облака, и старый, монотонный, как древняя легенда, ропот мельницы будил жидкое эхо соснового перелеска.

Водяные жители, впрочем, давно привыкли к этой чужой и ненужной им воркотне колес. Птицы жили шумно и весело, далекие от всего, что не было водой, небом, зеленой камышей, любовью и пищей. Дикие курочки, забастые дупеля, красавцы бекасы, турухтаны, кулики-перевозчики, мартышки, чайки, дикие и домашние утки — весь этот сброд от зари до зари кричал на все голоса, и радостный, весенний воздух слушал их песни, бледнея на рассвете, золотясь днем и ярко пылая огромным горном на склоне запада. Изредка, и то, бывало, преимущественно после снежных, суровых зим, — появлялись лебеди. Аристократы воды, они жили отдельно, гордой, прекрасной жизнью, строгие и задумчивые, как

тишина летнего вечера. Их гнездо скрывалось в густом камыше, и сами они редко показывались на просторе, но часто, в тихую радость утренних теней, врываются и таяли звуки невидимого кларнета; это кричали лебеди. Мельник редко выходил наружу, хотя и не был колдуном, как это утверждали некоторые. Но если вечером случайно проходящий охотник замечал его жилистую, сутуловатую фигуру, с непокрытой головой, босиком и без пояса — ему непременно следовало смотреть вдаль, куда смотрит мельник: там плавали лебеди.

II

Все в жизни происходит случайно, но все цепляется одно за другое, и нет человека, который в свое время, вольно или невольно, не был бы, бессознательно для себя, причиной радости или горя других.

Сидор Иванович был лавочник. Профессия эта почтенна, но незначительна; Сидор Иванович думал наоборот. Быть купцом — почетно, лавочник меньше купца — значит...

Таков был ход его мыслей. Купечество составляло его идеал, но достигнуть этого в данное время было для него невозможно. Деньги приобретались трудно, мошенничеств не предвиделось. Сидор Иванович скучал и бил жену.

Начал он великолепно. Три года приказчиком — три года приличного воровства. Поторопился — ушел. Собственная лавка, открытая им, торговала слабо, и Сидор Иванович никогда не мог себе простить, что начал торговать не с субботы, а с пятницы.

По воскресеньям он пел на клиросе, потом, если дело было зимой, ходил в гости к другим лавочникам, где ел пирог с морковью и жаловался на плохие дела. Летом же удил рыбу.

К ужению он имел большую охоту и даже страсть. Это напоминало ему торговлю — даешь мало, а получаешь много. Насадишь червячка, да и то не целого, а поймашь целого ерша, да еще и червяк не съеден. Совсем как в лавке: продашь сахару на три копейки, а возьмешь пять.

Ершей он облюбовал особенно и пылал к ним даже своеобразной торгашеской привязанностью: дура-рыба. Окуней не любил и по этому поводу говаривал:

— Что окунь? — Чиновник! На книжку берет, а денег не платит. Приманку изгрызет и был таков...

Когда рыба ловилась хорошо, Сидор Иванович был доволен и варил уху. Но часто, поболтав в ведерке рукой и уколов ее о жабры пойманных ершей, замечал:

— Если бы эстолько... тыщ!

Лицо его омрачалось, главным образом оттого, что тысячу на червяка не поймаешь. Он был жаден. И зол: вместе с крючком старался всегда вырвать внутренности. Рыба билась и выкатывала налившиеся кровью глаза, а он говорил:

— Тэкс!

III

На берегу валялась доска. Сидор Иванович решил пойти поискать под ней червячков, — весь запас вышел. Он положил удочку и пошел вдоль камышей.

Жар спадал, в городе смутно трезвонили чуть слышные колокола, тени вытягивались и темнели. Золотые наклонны света дрожали меж ярких сосен. Кричали утки, пахло тиной, водой и лесом. Синие и зеленые стрекозы сновали над камышами, желтели кувшинки. Отражая темную зелень берегов, блестела вода. А под ней голубел призрак неба — оно ясноло вверху.

Шагах в двадцати от берега, из кустов, закрывающих сквозную, веселую чашу перелеска, — вился сизый дымок, слышались неясные голоса. Звенела посуда, басистый смех прыгал и дрожал низом над водой. Камыши дремали. Плавные круги ширились и умирали в зеленых отблесках воды: рыба или лягушка.

Сидор Иванович подошел к доске, нагнулся, приподнял ее тяжелый, насквозь промокший конец, и сказал:

— Чай пьют. Городская шваль — девки стриженные, али попы. Попы открытый воздух обожают: с ромом.

В камышах что-то зашевелилось; Сидор Иванович выглянул и увидел в просвете береговой заросли, на маленьком твердом мыске — двух людей: черный пиджак и синяя юбка. Так определил он их. Увидел он еще и два затылка: мужской гладкий и женский — отягченный русыми волосами, но определять их не стал и услышал следующее:

— Как он тихо плавает.

— А правда: похоже на гуся?

— Сам вы гусь. Это царь, он живет один.

Сидор Иванович поднял доску и с треском бросил ее оземь. На оголенной земле закопошились белые и розовые черви.

— Кто ходит? — встрепенулась женщина.

— Кто-то зашумел.

— Медведь, — сказал черный пиджак. — Съест вас.

Лавочник обиделся и хотел выступить из-за прикрытия, но удержался, насутился и крикнул. Эти люди были ему не по душе — господишки: то есть что-то смешное, презренное и «с большим понятием» о себе. Разговор продолжался. Сидор Иванович поднял червяка и меланхолически положил его в банку из-под помады.

— Он очень симпатичный, — сказала девушка. — Его белизна — живая белизна, трепетная, красивая. Я хотела бы быть принцессой и жить в замке, где плавают лебеди — и чтобы их было много... как парусов в гавани. Лебедь, — ведь это живой символ... а чего?

— Эка дура, принцесса, — сказал про себя лавочник, — юбку подшей сперва, пигалица!

— Чего? — переспросил черный пиджак. — Счастья, конечно, гордого, чистого, нежного счастья.

— Смотрите — пьет!

— Нет — чистится!

— Где были ваши глаза?

— Смотрел на вас...

Лавочник оставил червяков. Он был заинтересован. Кто пьет? Кто чистится? Кто «симпатичный»? И все его любопытство вылилось в следующих словах:

— Над кем причитают?

Он выступил из-за камыша и осмотрелся.

IV

Пруд был так спокоен и чист, что казалось, будто плывут два лебедя; один под водой, а другой сверху, крепко прильнув белой грудью к нижнему своему двойнику. Но двойник был бледнее и призрачнее, а верхний отчетливо белел плавной округлостью снежных контуров на фоне бархатной зелени. Все его обточенное тело плавно скользило вперед, едва колыхая жидкое стекло засыпающего пруда.

Шея его лежала на спине, а голова протянулась параллельно воде, маленькая, гордая голова птицы. Он был спокоен.

— Никак лебедь прилетел! — подумал лавочник. — Вот мельник дурак, еще ружьем балуется: шкура — пять рублей!

— Я слышала, — сказала девушка, — что лебеди умирают очень поэтически. Летят кверху насколько хватает сил, поют свою последнюю песню, потом складывают крылья, падают и разбиваются.

— Да, — сказал черный пиджак, — птицы не люди. Птицы вообще любят умирать красиво... Например, зимородок: чувствуя близкую смерть, он садится на ветку над водой, и вода принимает его труп...

Сидор Иванович почувствовал раздражение: птица плавает и больше ничего. Что тут за божественные разговоры? Что они там особенного увидели? Почему это им приятно, а ему все равно? Тьфу!

Собеседники обернулись. Глаза женщины, большие и вопросительные, встретились с глазами лавочника.

— Хорошая штука! — сказал он вслух и дотронулся до картуза.

Ему не ответили. Тон его голоса был льстив и задорен. Лавочник продолжал:

— Твердая. Мочить надо. Жесткая, значит, говядина.

Опять молчание и как будто — улыбка, полная взаимного согласия; конечно, это на его счет, он человек неученый. Что ж, пусть зубки скалят. Шуры-амуры? Знаем.

Он смолк, не зная, что сказать дальше, и озлился. Птица плавает, а они болтают! Шваль городская.

— Свежо становится, — сказала девушка и резко повернулась. — Пойдемте чай пить.

И вдруг Сидор Иванович нашел нужные слова. Он приятно осклабился, зорко бегая маленькими быстрыми глазами по лицам молодых людей, прищурился и процедил, как будто про себя:

— Этого лебедя завтра пристрелить ежели. Дома ружьишко зря болтается. Эх! Знатное жаркое, дурья голова у мельника!

Он видел, как вспыхнуло лицо девушки, как насмешливо улыбнулся черный пиджак, — и вздрогнул от

радости. Он ждал вопроса. Инстинкт подсказал ему, чем можно задеть людей, не пожелавших разговаривать с ним — и не ошибся. Девушка посмотрела на него так, как смотрят на кучу навоза, и спросила у него звонким, вызывающим голосом:

— Зачем же убивать?

— На предмет пуха, — кротко ответил лавочник, радостно блестя глазами. — Для удовольствия значит. Как мы, то есть охотники.

Она медленно отвернулась и прошла мимо, шурша ботинками в сочной траве. Мужчина спросил:

— Вы любитель покушать? Брюшко-то у вас того...

Сидор Иванович побагровел и задохнулся от бешенства, но было поздно; оба быстро ушли. Лавочник нагнулся, задыхаясь от волнения, и рассеянно поднял двух червяков. У противоположного берега лениво и плавно двигался лебедь.

— То есть, — начал Сидор Иванович, — птица плавает, какая невидаль, скажите, ради бога...

И вдруг ему послышалось, что эхо воды отразило упавшее из леса, обидное, сопровождаемое смехом, слово «дурак»... Он выпрямился во весь рост, приложил руку ко рту и заорал во весь простор:

— От дурака и слышу-у!

Эхо повторило звонко и грустно... ура-ка... рака... ака... шу...у!!!

Было тихо. Звенели невидимые ложечки, вечерняя прелесть стлала над водой кроткие тени. Реял сизый дымок самовара, звучал смех. И плыл лебедь.

V

Ночью Сидору Ивановичу приснилось, что он убил лебедя и съел. Убил он его, будто бы, длинной и черной стрелой, точь-в-точь такой же, какие употребляются дикарями, описанными в журнале «Вокруг Света». Раненый лебедь смотрел на него большими, человеческими глазами и дергал клювом, а он бил его по голове и приговаривал:

— Шваль! Шваль! Шваль!

Утро взглянуло сквозь ситцевые занавески и разбудило лавочника. Проснувшись, он стал припоминать вкус съеденного им во сне лебедя и машинально сплю-

нул: горький был. Потом вспомнил, что благодаря вчерашней случайности испортилось настроение и пропала охота удить, а был самый клев. Потом стал размышлять: застрелить лебедя или нет. И решил, что не стоит: мельник ругаться будет. А это неприятно — пруд его — не даст рыбу ловить.

Все же он не мог отказать себе в удовольствии мысленно прицелиться и выстрелить: трах! Пух, перья летят, вода краснеет... Забился... сдох. Впрочем,— что же из этого? Ну, хорошо, этого он убил. А еще их осталось сколько! Плавают себе и плавают.

И перед его еще сонными глазами проплыл, колыхаясь в зеленой воде, белый спокойный лебедь.

Сидор Иванович раздраженно сплюнул, вспомнив тех господчиков, и повернулся к жене. Она крепко спала, и в рыхлом, рябом лице ее лежала сытая скука. Он поднял одеяло и плотоядно ущипнул супругу за жирный бок.

— Эх ты... лебедь! — сказал он, проглотив сладкую судорогу.— Ну, вставай, что ли!..

ИГРУШКА

I

В один из прекрасных осенних дней, полных светлой холодной задумчивости, неяркого сияния солнца и желтых, бесшумно падающих листьев, я гулял в городском саду. Аллеи были пусты, пахло прелью, земляной сыростью; в багрянце листьев светилось чистое голубое небо. Это был старинный провинциальный сад, изрезанный вдоль и поперек неправильными тропинками; сад с оврагами, густо поросшими крапивой; с кирпичами, мостиками и полусгнившими ротондами. Огромные столетние липы и березы почти закрывали небо; в их влажной сочной тени было так хорошо прилечь, наблюдая маленьких красногрудых снегирей, прыгавших по земле.

Я шел, помахивая тросточкой, вполне довольный настоящей минутой, тишиной и легкими послеобеденными мыслями. Повернув с аллеи на узкую кривую тропинку,

я заметил двух мальчуганов, присевших на корточки в густой высокой траве, и подошел к ним совсем близко.

Сейчас трудно припомнить, почему это так вышло. Я человек довольно замкнутый и неохотно сталкивающийся с кем бы то ни было, даже с детьми; возможно, что меня привлекло сосредоточенное молчание маленьких незнакомцев, изредка прерываемое тихими напряженными возгласами.

Оба так погрузились в свое занятие, что я, незамеченный, очутился от них не далее десяти шагов и притаился за деревом. Мальчики продолжали возиться, устранивая что-то свое, понятное им и никому более. Вытянув шею, я разглядел обоих. Один, постарше, лет, вероятно, двенадцати, круглоголовый и низенький, выглядел сильным, задорным крепышом, румяный и загорелый. Другой, тоненький, высокий, с бледным, истощенным лицом и оттопыренными ушами, производил более симпатичное впечатление; природа как будто пожалела его, наградив парой чудных выразительных глаз. Одеты были оба они в летние гимназические блузы и белые форменные фуражки. Крапива и лопухи мешали мне хорошенько рассмотреть странное сооружение, возведенное мальчиками. Я был уверен, что эта незаконченная постройка превратится со временем в уродливую глыбу земли и палок под громким именем «Крепости Меткой Руки» или «Форта Бизонов» — забава, которой увлекался и я в те блаженные времена, когда длина моих брюк не превышала еще одного аршина.

Пока я гадал, старший мальчик согнулся, стругая что-то перочинным ножом, и я увидел два невысоких кола, торчавших из земли очень близко друг к другу. Верхние концы их соединялись короткой, прибитой гвоздями перекладиной. Тут же сзади бледного мальчугана валялась грязная скомканная тряпка.

Круглоголовый сунул руку за пазуху и сказал:

— Думал — потерял. А она здесь.

Он вытащил что-то зажатое в кулак и показал приятелю. Потом бросил на землю. Это была бечевка, смотанная клубком. А я услышал в этот момент тоненькие неопределенные звуки, выходившие, казалось, из-под земли.

Гимназистик кончил строгать и встал. В руках у него был толстый заостренный кусок дерева. Он воткнул его

в землю между вертикально торчащими кольями, взял бечевку и крепко, аккуратно завязал один ее конец вокруг только что воткнутого колышка. Другой конец спустил через перекладину, и я увидел... петлю. Младший, упиравшись руками в согнутые колени, внимательно следил за работой, старательно помогая товарищу бровями и языком, точь-в-точь как на уроке чистописания.

— Готово, Синицын! — сказал крепыш и, быстро оглянувшись, прибавил торжественным, сухим голосом: — Ведите преступника!

II

И тут я сделался свидетелем неожиданной отвратительной сцены. Грязная тряпка оказалась мешком. Синицын встряхнул его, и на траву, беспомощно расставляя крошечные дрожащие лапы, вывалился слепой котенок. Он шатался, тыкался головой в траву и жалобно, тонко скулил, дрожа всем тельцем.

— Ревет! — сказал Синицын, любопытно следя за его движениями. — Смотри, Буланов, — на тебя пополз!..

— Он думает, что мы его оправдаем, — сердито отозвался Буланов, хватая котенка поперек туловища. — Знаешь, Синицын, ведь все преступники перед смертью притворяются, что они не виноваты. Чего орешь? У-у!

Я вышел из-за прикрытия. Мое появление смутило маленьких палачей; Буланов вздрогнул и уронил котенка в траву; Синицын испуганно расширил глаза и вдруг часто замигал, подтягивая ремешок блузы. Я приветливо улыбнулся, говоря:

— Чего переполошились, ребята? Валяйте, валяйте! Интересно!

Оба молчали, переглядываясь, и по сердитым вытянутым лицам их было видно, как глубоко я ненавистен им в эту минуту. Но уходить я не собирался и продолжал:

— Экие вы трусишки, а? Что это у вас? Качели?

Буланов вдруг неожиданно и громко прыснул, побагровев, как вишня. Сравнение с качелями, очевидно, показалось ему забавным. Синицын откашлялся и протянул тоскливым, умоляющим голосом:

— Это... это... видите ли... вот... виселица. Мы хотели поиграть... вот... а...

Он умолк, захлебнувшись волнением, но Буланов поддержал его.

— Так, ничего,— равнодушно процедил он, рассматривая носки своих сапог.— Играем. А вам что?

— Да ничего, хотел посмотреть.

— Вы, может быть, драться думаете? — продолжал Буланов, недоверчиво отходя в сторону.— Так не нарывайтесь, у меня рогатка в кармане.

— Ах, Буланов,— укоризненно сказал я,— совсем я не хочу драться. А вот зачем вы хотели котенка повесить?

— А вам что? — торопливо заговорил Синицын.— Вам-то не все равно? Все одно, его утопить хотели... и еще троих... Я у кухарки выпросил... Вот...

— Ему все равно! — подхватил Буланов.

— Так ведь вы не умеете,— заметил я,— тут нужно знать дело.

Мальчики переглянулись.

— Умеем! — тихо сказал Буланов.

— Ну, как же?

— Как? А вот как,— снова заговорил Синицын, и его бледное лицо мечтательно вспыхнуло,— а вот как: ставят его под виселицу... А стоит он на стуле... Потом палач петлю наденет и...

— Врешь! — горячо перебил Буланов.— Вот и врешь! Сперва еще балахон наденут... совсем... с головой... Ну? Не так, что ли?

— Балахон? Да,— покорно повторил Синицын.— А потом — раз! Стул из-под него вышибут — и вся недолга.

— Это кто же тебе рассказал?

— Кто? Вот он,— Синицын указал на Буланова.— А ему дядя рассказывал.

— И он весь бывает синий,— заявил Буланов, наматывая бечевку вокруг пальца.

— Котенка оставьте,— сказал я.— Жалко. Бросьте эту затею!

Дети молчали. Мое заявление, по-видимому, не было для них неожиданностью, они предчувствовали его и не обманулись моей смирностью. Наконец, сердясь и краснея, Буланов сказал:

— Людей можно, а котят — нет?..

— И людей нельзя.

— Дядя говорит — можно, — возразил мальчик, окинув меня критическим взглядом, и прибавил:

— Он умнее вас. Он за границей был.

Возражения становились бесполезными. Авторитет дяди окончательно уничтожал меня в глазах моих противников. И как уверять их, что не он, дядя, умнее, а я?.. Я ударил ногой миниатюрную виселицу, и она рассыпалась. Гимназистики, оторопев, пустились бежать со всех ног, бросив на произвол судьбы котенка, мешок и неиспользованную бечевку. Зверек пищал и ползал, путаясь в высокой траве.

Я обратил их в бегство, но был ли я победителем? Нет, потому что они остались при своем ясном и логическом убеждении:

— Если можно людей, то кошек — тем более...

Быть может, впоследствии, когда жизнь ярко и выпукло развернет перед ними свою подкладку, Синицын и Буланов преисполнятся сочувствия к кошкам и начнут тщательно воспитывать откормленных сибирских котов, но теперь как отказаться от нового романтического удовольствия, приближающего их детские души к непонятному волнующему трагизму современности, захватывающему и интересному, как роман из индийской жизни? «Там» — вешают... И мы...

Впечатления детства... Какова их судьба?

ЕРОШКА

I

Ерошка ходил всегда в длинной рубахе без пояса и считался мужиком слабоумным, лыдавшим. Вихры рыжих волос, смешно торчавших из-под маленького, приплюснутого картуза, придавали его одутловатому, веснушчатому лицу выражение постоянного беспокойства и нетерпения. Глаза у него были голубые, загнанные, а бородака белесоватая и остроконечная.

Впрочем, особенно его не трогали и, если когда дразнили — то так, мимоходом, скорее по привычке, без того

особенного, злобного упорства, каким отличается русский человек. Даже прозвище Ерошки было «блажной», а не «чудной». Ерошка не задумывался. Капризы его были не сложны и заключались, с одной стороны, в какой-то необыкновенно длинной и хитрой дудке, сделанной им самим; с другой — в любви к скандалам и происшествиям. Удивительно, что сам он был нрава смирного, но страшно любил смотреть всякую драку, буйство, даже грызню собак. О драках он мог говорить долго и обстоятельно, размахивая руками и захлебываясь от восторга.

— Ка-эк двинет! Ка-эк двинет, братец ты мой! — говорил он, прищелкивая языком. — Зуб выхлеснул, — добавлял он, помолчав. — Скулу всю разворотил!

Разговор переходил на другое; о драке уже забывалось, но вдруг Ерошка вставал, снова и неожиданно:

— Себе лоб раскровянил!

На дудке он играл больше весной, забравшись куда-нибудь в огород, между кучей сухого навоза и кустом репейника. Сидел на корточках, свистел заунывно и нескладно, часто останавливаясь и прислушиваясь к тихим вечерним отголоскам, полным мирной грусти и жалобы. Бежали мальчишки, покрикивая:

— Ерошка-дергач!

Он, вероятно, не слышал их. Случалось, что какой-нибудь, особенно назойливый парень, перегнувшись через изгородь и ухарски заломив шапку, начинал подвывать пьяным голосом, но и тогда Ерошка ограничивался одним кратким замечанием:

— Будя забор подпирать! Брысь, нечистая!

II

Хозяйство у Ерошки было маленькое, нищенское. Но когда умерла жена, один сын ушел на заработки, а другой в солдаты, Ерошка не голодал и даже изредка пьянствовал. Жила с ним еще одна девочка, сирота; ей было тринадцать лет и звали ее Пашей.

Когда Ивана брали на службу, — Ерошка плакал, ставил свечи угодникам. Более всего он был огорчен тем, что не успел женить сына и теперь оставался без работников, что было тяжело, особенно летом. Со службы Иван писал часто и слезливо, просил денег, а однажды сообщил, что произведен в унтеры и имеет две нашивки.

Это было написано его собственным, ужасным почерком на открытке, изображавшей какого-то великолепного гвардейца в ярком, цветном мундире, с красными погонами и белым околышем. У гвардейца были розовые, круглые щеки. Открытку эту Иван предупредительно заклеил в конверт и послал заказным, чтобы не затерялась.

Ерошка рассматривал картинку очень долго, улыбаясь и щурясь собственным, новым мыслям. В грязной, закопченной избе появилось яркое, маленькое пятно, полное какой-то бодрой радости, знак неизвестной жизни, связанной с городом и со всеми туманными представлениями Ерошки о службе, блеске и музыке.

Ерошка был чрезвычайно доволен. Он поднес картинку к окну, рассмотрел ее на свет и вдруг, неожиданно, прослезился, растерянно мигая покрасневшими веками. Потом схватил шапку и кинулся вон из избы, к батчику, постоянному чтецу деревенской корреспонденции. К вечеру гвардеец был рассмотрен всей деревней, одобрен и запачкан многочисленными прикосновениями.

Картинка разбудила в Ерошке новую страсть. Часами он выпытывал у мужиков, побывавших на службе, все тонкости обмундировки и строевой службы, которые неуклюжего парня делают ловким молодцом. Быть может, он носил в сердце мечту о новом сыне, прекрасном, как Иван-царевич, в лаковых сапогах, удачливом и навсегда освободившемся от забитой деревенской жизни, с ее непосильной работой и смертельной тоской.

Он вдруг точно что-то понял и, поняв, глубоко затаил в себе. Лицо его постепенно приняло оттенок кроткого достоинства и невинного хвастовства. В минуты же одиночества он крепко и тяжело стал задумываться над тем, как живут «там», откуда приходят письма с картинками.

III

Наступила осень. В ближайшем уездном городе начались маневры, и в деревне, где жил Ерошка, остановилась на ночлег рота солдат.

Это были все плохо одетые люди, с усталыми и раздраженными лицами. В избе Ерошки ночевали четверо. Он ухаживал за ними, бормоча что-то себе под нос, тормошил девчонку, гонял ее то на погреб, то к соседям —

выпросить кусок сахара для «воинов». А когда солдаты наелись и напились, и задымились махорочные цигарки, Ерошка, откашлявшись, приступил к беседе. Ухмыльнувшись и бегая глазами из угла в угол, он нерешительно произнес:

— А што, служивые... дозвольте вас этак, примерно...

— Дозволяем, папаша! — сказал бойкий парень, с глазами навывкате. — Ежели угостить нас хочешь, то это солдатам завсегда полезно. Эй, братцы! — повернулся он к остальным, — вот хозяин нас водочкой обнести хочет. Угощаешь, что ли, старик?

— Денег нету, — забормотал Ерошка, — вот истинный бог — нетути... Я бы кавалерам с полным удовольствием... Сам пью, намедни четверть втроем выдакал, прости господи! Вот дела-то каки. А нет денег, вот поди ж ты!

— Сыновья есть? — спросил строгий унтер. — Чай, кормить бы должны.

— Сын-то служит у меня, — с гордостью заявил Ерошка. — Ундером. Когда посылаю ему, когда нет. Денег нетути.

— А где он служит? — спрашивал унтер.

— Где служит-то? Надысь, в Баке... В Баку его спроводили. У моря, бают. Другое-от сын с подрядчиками путается, на заработках... непутевый, вишь ты, слова не напишет. Да-а... Ундер, батюшка, весь, как есть, в полном облачении. Старается. А намеднись патрет прислал — ерой, право слово! Такой леший — как быдто и не похож совсем.

— А ну, покажь! — заинтересовался бойкий солдат. — Покажь!

Ерошка вспыхнул, заволновался и принялся старательно шарить за пазухой, отыскивая драгоценную картинку. Через минуту она очутилась в руках солдат, переходя от одного к другому. Ерошка сидел и молчал, выжидательно задерживая дыхание.

— Так разве это портрет? — пренебрежительно сказал унтер. — Это, братец ты мой — открытое письмо. Понял? Печатают их с разными картинками, а между прочим — и нашего брата изображают.

Ерошку взяло сомнение.

— Ой ли? — недоверчиво спросил он, скребя пятерней лохматый затылок.

— Ну, вот еще. Говорят тебе! И я такую могу купить, все одно, трешник она стоит!

— Вре?!

Солдаты зычно расхохотались.

— И чудак же ты, как я погляжу! — через силу вымолвил унтер, задыхаясь от смеха. — Кака нам корысть тебе врать?

Ерошка виновато улыбнулся и заморгал. Потом взял картинку из рук унтера и начал ее пристально разглядывать, стараясь вспомнить лицо сына, каким оно было три года назад.

Солдаты зевали, чесались и лениво перекидывались короткими фразами. В мозгу Ерошки неясно плавали отдельные человеческие черты лиц и фигур, виденных им в течение жизни, но лицо сына ускользало и не давалось ослабевшей памяти. Его не было, и как ни усиливался старик, а вспомнить сына не мог.

Сын был рыжий, — это он твердо помнил, а здесь, на картинке, молодец как будто потемнее, да и усы у него черные.

Солдаты завозились, укладываясь спать. Маленькая лампа коптила, освещая потемневшие бревна стен. Шуршали тараканы, ветер дребезжал окном. Ерошка лежал уже на полатах, свесив вниз голову, и думал.

— Вспомнил! — вдруг сказал он твердо и даже как будто с некоторым неудовольствием. — Вот она, штука-то кака! Ась?

— Чего ты? — осведомился сонный унтер, закрываясь шинелью.

— Сына вспомнил, — засмеялся Ерошка. — Таперича как живой он.

— Спи, трешотка, — огрызнулся один из воинов. — Ночь на дворе.

— Я удивиться хотел, — просто заявил Ерошка, болтая в воздухе босыми ногами. — Скушно мне это жить, братики. Ванька-то мне пишет: того нет, того нет, табаку нет, пища плоха... А я думаю — где это врать приобык? Сам, гляди, как раздобрел, белый да румяный, что яблочко во Спасов день. Врешь, — думаю, — всего у тебя довольно, не забирают. Жисть твоя, — думаю, — сыр да маслице. Девки тоже, чай, за ним бегают. А теперь в го-

лову ударило: ежели эта морда не твоя, на письме-то, может, и в самом деле худой да заморенный? Я, братики, погожу давиться-то, все хоть целковый когда ни-на-есть, от меня получит. А со службы придет — беспреренно удавлюсь. Потому — скушно мне стало.

Ерошка умолк, зевнул во весь рот, перекрестился и стал укладываться.

НАКАЗАНИЕ

I

Вертлюга отправился на чердак с подручным «закреплять болты». Оба сели на балку, усыпанную голубиным пометом, и, вынув бутылку спирта, стали опохмеляться.

Накануне, по случаю воскресенья, было большое пьянство, а теперь жестоко болела голова, нудило, и по всему телу струилась мелкая ознобная дрожь. Вертлюга, глотнув из бутылки, закусил луковицей и сказал, передавая напиток подручному:

— Ну-ка, благословясь!

Подручный сделал благоговейное лицо и осторожно потянул из горлышка. Глаза его заслезились, на скулах выступили красные пятна. Он оторвался от бутылки, перевел дух и бойко сплюнул. Это был крупный молодой парень с жестким лицом.

— Чудесно! — сказал Вертлюга, глотая слюну. — Со всем другой человек стал!

В полутемной прохладе чердака стало как будто светлее. Приятели посидели молча, смакуя желанное удовольствие. Затем Вертлюга встал, взял большой французский ключ и деловито, сосредоточенно подвинул гайку. Болты держались крепко, но совершить хотя бы и бесполезное действие требовалось для «очистки совести».

— Идем, Дмитрич, — сказал подручный, — болты эти в своем виде сто лет просуществуют.

— А все ж! — отозвался Вертлюга, сходя по лестнице. — Бутылку в песок зарой, заглянем еще сюда.

Подручный спрятал бутылку, и оба сошли вниз, в грохот и суету деревообделочной мастерской. Восемь ма-

шин разных величин и систем, сотрясаясь от напряжения, выбрасывали одну за другой гладко обстроганные доски. Шипя, как волчки, или же резко жужжа, вихренно вертелись ножи, мягкая, сыроватая, напоминающая мыльную пену, бесконечным кружевом ползла из-под них стружка.

II

Доска, брошенная концом на чугунную решетку машины, медленно втягивалась шестерней и ползла дальше, к бешеной воркотне ножей, встречавших ее. Иногда большие куски дерева, вырванные ножами, летели через всю мастерскую.

Доска проходила станок и, гладко выстроганная, с красивым багетным краем, тихо сваливалась на мягкую кучу стружек. Безостановочно клубилась белая древесная пыль, садясь на пол и потолок, лица и руки.

Сквозь грохот машин слышалось однообразное шипение приводных ремней. Скреживаясь, змеились они от потолка к полу, фыркая швами. Широкие, темные ленты их мерно полосовали воздух, насыщенный запахом керосина, машинного масла и отпотевшего железа.

В окна смотрел ярко-желтый блестящий день. Раздраженные, повышенные человеческие голоса носились по мастерской, вместе с пылью и громом машин. Было непонятно, зачем люди говорят о ненужных им и неинтересных вещах.

Один выражал неудовольствие, что много стружек, хотя стружки ему не мешали, и занят он был не у строгальной машины, а у станка для вырезки тормозных колодок. Другой доказывал сторожу, что тот ворует казенные свечи. Третий бранил доску за то, что сучковата и с трещинами...

Вертлюга поднимал доски, тащил их к станку, втискивал и смотрел, как бегло выстрогивались желобки. Мысли его вертелись вокруг гульвовой и стрежистой речки Юргенки, на которой, будучи страстным удильщиком, просиживал он частенько свободные вечера и праздники. Он ясно увидел речку.

Бесчисленные синие колокольчики заливают нежным голубым маревом яркую траву берегов, поросших шипов-

ником и черемухой; чудно пахнет цветами. Тишина, никого нет. А вот глубокий спокойный омут под широким обрывом. Там ветки мокнут в воде, глаза слепит мошкара, обнаженные, упавшие в воду корни струят воду жемчужным блеском.

III

Таинственная жизнь рыб скрыта черной водой. Поплавок заснул над глубоко затонувшими облаками. Вот он задумчиво шевельнулся... поплыл... дернулся... побежали круги... нырнул,— и удочка выбрасывает на воздух брызгающего каплями, свивающегося кольцом, тяжелого красноперого окуня. Снова спит поплавок, ленивая, сладкая тень лежит вокруг рыболова, и пахнет мгновенный ветерок,— как в раю.

— А хорошо бы теперь уйти рыбу ловить! — тоскливо вздохнул Вертлюга.

Но сейчас же, цепляясь друг за друга, побежали разные соображения. Во-первых, осталась еще тысяча досок спешного, хорошо оплачиваемого заказа. Ножи могут сломаться, притупиться или выскочить, и некому их будет поправить. Затем, и это главное, он лишается половины дневного заработка. На завтра же вагонный мастер спросит:

— Вертлюга! Вчера почему ушел?

— Захворал, Владислав Сигизмундович.

— Хорошо,— говорит мастер, попыхивая сигарой,— а вот поди-ка сюда...

Ведет в контору и говорит:

— Штраф.

Вертлюга подумал еще немного, но было ясно, что, кроме штрафа, других неприятностей быть не может. Наденет он шапку, выйдет за ворота, возьмет дома удочку, жестянку с червями, корзину и — на речку. А доски... Черт с ними! Он даже улыбнулся: детской, несурзной выходкой показалось ему это внезапно загоревшееся желание. Но решение было еще неполным, еще не укрепилось в душе настолько, чтобы он мог тут же бросить станок и направиться к выходу.

Вертлюга испытывал тяжесть и раздражение. Бессознательно ворочая непривычные позывы души, он бо-

ролся с самим собою, изредка раздражаясь короткими, скупыми словами, в которых изливалась внутренняя его работа:

— Ничто меня здесь не держит. Взял да ушел. Эка важность! Ухожу! Чего я стою да себя мучаю?! Ежели не могу я сегодня, так-таки совсем не могу!

IV

Годами копившееся отвращение к скучному, однообразному труду перешло в болезненно-капризное состояние, когда человек готов заплатить какой угодно ценой за удовлетворение сильной, внезапной прихоти. Вертлюга посмотрел на часы; стрелки указывали полчаса третьего.

— Вот эту стопку dokonчу и уйду,— сказал Вертлюга.— Штук десять тут.

Сказав это, он понял, что близок к окончательному решению, и это его успокоило. Стопа быстро подходила к концу. Он стал считать доски по мере того, как они вываливались из станка. Одна, другая, третья, четвертая. Еще ползет. Половина. Четверть. Сейчас выйдет... упала.

— Последняя,— пятая.

Шум прекратился. Ножи и шестерни остановились. Ремень, соскочив со шкива, жалобно фыркал и бессильно болтался.

— Ремень соскочил, Дмитрич,— сказал подручный.

— Соскочил, так наденем.

Вертлюга руками захватил ремень и стал натягивать его на крутящийся шкив. Ремень упрямо соскакивал, не поддаваясь Вертлюге, но вдруг, попав на место, повернул шкив неуловимо быстрым движением. Не успел Вертлюга выпрямиться, как его, ущемив одежду между ремнем и шкивом, сильно дернуло вниз, ударило головой о станок, перевернуло, подбросило и отшвырнуло в сторону, в мягкую кучу стружек.

Последнее, что видел он в этот момент,— грязный, в опилках пол,— заволокло дымной завесой. «Держи!» — крикнул он безотчетно, падая с саженной высоты поста-мента, и упал, разбив челюсть. Затем сплошная тьма по-топила его.

Вдруг кто-то спросил: «Ну как? Дышит?» Вертлюга

вздрыгнул, открыл глаза, но быстро закрыл их: свет болезненно резал зрение, ослабевшее от десятидневной горячки.

V

Лежа с закрытыми глазами, Вертлюга продолжал видеть больничную палату, сестру милосердия в сером платье и высокий белый потолок. Это было все ново и странно, и он улыбнулся, думая, что видит сон. На другой день ему стало хуже.

Он умер через четыре дня, а перед смертью попросил доктора вызвать вагонного мастера. Когда тот пришел и смущенно остановился перед койкой,— Вертлюга быстро и отчетливо проговорил:

— Владислав Сигизмундович!

— Что, Вертлюга?

— А вот видите, приходится попрощаться. Умираю. Простите, если что...

— Н-да, неприятно,— сказал мастер, откашливаясь и хмурясь.— Дело такое, божье дельце...

— Ну-к што ж! — перебил Вертлюга деланно-равнодушным голосом.— Помираю. А из-за чего? Почему? Вот потому... Потому, что воли моей я не исполнил.

— Ремень без палки надевал... да.

— Без палки? — переспросил Вертлюга.

— Разумеется. Так никто не делает. Теперь без ног лежишь.

— Ты балда! — сказал вдруг Вертлюга сердито и громко, так, что больные услышали и оглянулись.— Балда! Разве я про палку?.. Дерево стоеросовое!

Он нервно натянул одеяло и повернулся лицом к стене.

НОЧЛЕГ

I

Завидуя всем и каждому, Глазунов тоскливо шатался по бульвару, присаживался, нехотя выкуривал папиросу и делал надменное лицо каждый раз, когда гуляющие окидывали глазами его сильно изношенную тужурку.

Воскресная музыка играла румынский марш. Хороводы губернских барышень плыли мимо ярко освещенных киосков, где, кроме лимонада и теплой сельтерской, можно было купить пряников, засиженных мухами, и деревянную улыбку торговки. Отцы, обремененные многочисленными семействами, выставили напоказ запятнанные чесунчевые жилеты; гордо постукивая тросточками, изгибались телеграфисты, пара-другая взъерошенных студентов волочила за собой низеньких черноволосых девиц.

Вечер еще не охватил землю, но его мягкое, дремотное прикосновение трогало лицо Глазунова умирающей теплотой дня и сыростью глубоких аллей. Небо тускнело. Безличная грусть музыки покрывала шарканье ног, смех и говор. Иногда стройные, полногрудые девушки с косами до пояса и деревенским загаром щек бередили унылую душу Глазунова веянием беззаветной жизни; он долго смотрел им вслед, чему-то и кому-то завидуя; доставал новую папиросу и ожесточенно тянул скверный дым, тупо улавливая сознанием отрывки фраз, шелест юбок и свои собственные, похожие на зубную боль, мысли о будущем.

Так просидел он до наступления темноты, с чувством все возрастающего голода, жалости к своему большому исхудавшему телу и зависти. Жизнь как бы олицетворилась для него в этом гулянье. Глупо-торжественное, румяное лицо воскресенья торчало перед ним, довольное незатейливым весельем и сытым днем, а он, человек без определенных занятий, старательно прикидывался гуляющим, как и все, довольным и сытым. Никто не обращал на него внимания, но так было всю жизнь, и теперь, когда хотелось понуриться, вздыхая на весь сад, привычное лицемерие заставляло его держаться прямо, снисходительно опустив углы губ. Публика прибывала, сплошная масса ее тяжело двигалась мимо скамеек, задевая колени Глазунова ногами и зонтиками.

Он встал, бережно ощупал последний пятиалтынный и в то же мгновение увидел стойку буфета, блюда с закусками, влажные рюмки и вереницу жующих ртов. Глазунов сморщился: тратить пятиалтынный ему не хотелось, но, полный озлобленного протеста против всех и себя самого, дрожащего над бесполезной изменить буду-

щее монетой, бессознательно ускорил шаги, соображая, что «все равно».

«Я съем пирожок,— думал он,— пирожок стоит пять копеек, еще останется десять. И... и... съем еще пирожок... а может быть, выпить одну рюмку? Какая, в сущности, польза от того, что завтра я буду в состоянии купить булку, когда нет ни чая, ни сахара? Все равно уж».

II

Оставшись без копейки, Глазунов почувствовал облегчение. Пятиалтынный целые сутки жег его карман, это была какая-то стыдливая надежда, тягостная мечта о деньгах, грустный упрек желудка, твердившего Глазунову: «Я пуст, а ведь есть еще пятнадцать копеек!» Теперь маленький жалкий Рубикон был позади, в выручке ресторана. Нежная теплота водки оживляла мускулы, вялые от усталости и тоски. Вкус пирожков щекотал челюсти. Глазунов пил мало, рюмка воодушевляла его. Он шел свободнее, смотрел добрее. Ночлега у него не было. Прошлая ночь, проведенная у знакомых,— с кислыми извинениями за грязную простыню, с натянутою вежливостью хозяйки и угрюмым лицом хозяина — вызывала в нем темную боль обиды. Он бесился, вспоминая себя — болезненно напрягавшего слух, чтобы уловить хоть слово из сердитого гула голосов за перегородкой, отделявшей хозяйскую спальню; ему казалось, что бранят непременно его, назойливого неудачника, стесняющего других. Это было единственное пристанище, куда его пустили бы и сегодня, но идти было тяжело. Оставались углы бульвара, собачий холод рассвета, сырость мха.

Но прежде, чем решиться променять унижение на покров неба, он подумал о репетиции и медленно повернул с аллеи в хвойную тьму. Шум стих, в отдалении кружил с чуть слышным темп вальса; ритмичное «там-там» турецкого барабана неотступно преследовало Глазунова. Он брел, погружая стоптанные ботинки в скользкую от росы траву, ветви низкорослой рябины стекали его, тонко скулили невидимые комары, обжигая мгновенным зудом руки и шею, жуткая чернота манила идти дальше, в самую глубь, и этот, днем так хорошо знакомый пригородный парк теперь казался бесконечным и неизвестным.

«Вот тут лечь,— подумал Глазунов, удалившись от аллеи шагов на тридцать,— тут разве под утро будет холодно, а то ничего». Ему сделалось беспокойно весело: одиночество лесного ночлега отталкивало его комнатную душу, но таило в себе, несмотря на все, особую, острую привлекательность новизны. К тому же другого выхода не было. Он бросился в траву, перевернулся, вытянулся во весь рост. Было просторно, сыро и мягко. Нечто похожее на шушуканье раздалось сзади, но Глазунов не обратил на это никакого внимания. Он встал, встряхнулся и легонько свистнул, как бы говоря этим: «Вот я какой, ну-те!» Кто-то прыснул от сдержанного смеха и так близко, что Глазунов вздрогнул. В то же мгновение сотни, тысячи рук схватили его со всех сторон, теребя платье, бока, плечи; цепкие пальцы впились в локти, и странно испуганный Глазунов не успел открыть рот, как тьма наполнилась голосами, кричавшими на все лады:

— Петенька! Петя, сюда! К нам, к нам! Петунчик, не робей! Петушок!

— Постойте,— пресекаясь голосом вскрикнул раздираемый на части Глазунов,— я ведь!..

Взрыв женского хохота был ему ответом. Его шипали, толкали, тянули во все стороны; невидимые теплые пальцы щекотали ладонь. Слева уверяли, что прятаться грешно и преступно; справа твердили, что Петеньку надо выдрать за уши, а сзади — просили достать спички, чтобы посмотреть на его, Петенькину, физиономию. Остальные кричали наперебой:

— Петька дрянь! Петрушка-ватрушка! Петя блондин! Тащите Петю в аллею! Петя!

— Постойте же,— заголосил Глазунов, покрывая своим криком девичий гвалт,— вы ошиблись, честное слово. Я — Глазунов! Простите, пожалуйста, но я не Петя, честное слово!

Дерганье прекратилось. Наступила такая глубокая тишина, что одно мгновение Глазунову все это показалось небывшим. Сердце отчаянно билось, он глупо улыбался, сисясь рассмотреть тьму. Сконфуженный шепот и глухой смех раздались где-то сбоку.

— Он Глазунов! — прыснул дискант. — Люба! Он не Петя! — насмешливо подхватила другая. — Он, может

быть, Ваня! Это Глазунов! — хихикнула третья. — Извините, господин Глазунов! — Пожалуйста, извините! — Будьте добры! — До свидания, господин Глазунов! — А ведь сзади точь-в-точь Петя! — А спереди — ни дать ни взять — Глазунов!

Звонкий хохот сопровождал последнее замечание. В темноте затрещало, последние шаги девушек стихли, Глазунов стоял, как окаменелый, взволнованный смешной передрагой и безжалостными шипками. Потом машинально, как будто возле него еще оставался кто-то, зажег спичку и осмотрелся.

Мрак отступил за ближайшие стволы, нижняя часть ветвей и смятая трава зеленели в тусклой дрожи случайного освещения — неподвижно, сонно, как лицо спящего. Белое пятно привлекло внимание Глазунова. Он нагнулся и поднял маленький измятый платок. Спичка погасла.

III

— А ведь я маху дал, — сказал Глазунов, прислушиваясь. — Вообще вел себя нелепо. Надо было полегче. Познакомиться, что ли... Петя — Петей, а я мог бы пошататься с этим выводком...

Он чувствовал себя усталым и грустным. Уверенность, что барышни были хорошенькие и молодые, наполнила его глухой неприязнью к «Пете». Глазунов довольно отчетливо представил его себе: плотный, ясноглазый парень в чистеньком пиджачке и фуражке с кокардой. У него прямые, светлые волосы, румяный загар, слегка вздернутый веснушчатый нос и непоколебимая самоуверенность. Начальник любит его за аккуратность и деловитость, товарищи за покладистость и веселый характер. Барышни от него в восторге.

— А и черт с ним! — пробормотал Глазунов, — я неудачник, голодный рот, может быть, сдохну под забором или сопьюсь, но все же я — не идиот Петя, не это машинное мясо, не этот будущий брюхан — Петя!

В глубокой задумчивости, сжимая чужой платок, Глазунов стоял в темноте, и ему до слез было жаль себя, унылого человека, без куска хлеба, без завтрашнего дня и приюта. Образ Пети преследовал его. Петя — начальник станции, Петя — инженер, Петя — капитан, Петя — купец. Неисчислимое количество Петей сидело на всех

крошечных престолах земли, а Глазуновы скрывались в темноте и злобствовали. И хотя Глазуновы были умнее, тоньше и возвышеннее, чем Пети, последние успевали везде. У них были деньги, почет и женщины. Жизнь бросалась на Глазуновых, тормозила их, кричала им в уши, а они стояли беспомощные, растерянные, без капли уверенности и силы. Неуклюже отмахиваясь, они твердили: «Я не Петя, честное слово! Я Глазунов!» И тусклая вереница дней взвилась перед Глазуновым, бесчисленное количество раз отражая его нужду, болезненность и тоску. Он слабо усмехнулся, вспомнив репетицию лесного ночлега: здесь, как и всегда, он шел по линии наименьшего сопротивления. Кислое отвращение поднялось в нем: с ненавистью к музыке, к «Пете», к носовому платку, с болезненно-сладкой жадью чужого, хотя бы позднего сожаления, Глазунов, еще не веря себе, нащупал ближайший сук, снял пояс и привязал его, путаясь в темноте пальцами, вплотную к коре. Посторонний человек, секретарь казенной палаты, пробираясь ближайшим путем в другую сторону, слышал на этом месте только шум собственных шагов. Тишина была полная.

В СНЕГУ

I

Экспедиция замерзала. Истомленные, полуживые тени людей, закутанных в меха с головы до ног, бродили вокруг саней, мягко черневших на сумеречной белизне снега. Рыжие, остроухие собаки выбивались из сил, натягивая постромки, жалобно скулили и останавливались, дрожа всем телом.

Сани так глубоко увязли, что вытащить их было делом большой трудности. Путешественники, стиснув зубы, напрягали все мускулы, но плотный сугроб, похоронивший их экипаж, упорно сопротивлялся неукротимому желанию людей — во что бы то ни стало двинуться дальше.

— Мы в полосе сугробов, — сказал доктор, хлопая себя по ногам меховыми перчатками. — Двинувшись

дальше, мы попадем в точно такую же историю. Я советовал бы идти в обход, держась полосы льдов. Это дальше, но значительно безопаснее.

— О какой опасности говорите вы? — спросил ученый, начальник экспедиции. — Больше того, что мы уже перенесли — не встретить. А между тем по самому точному вычислению, нам остается двести пятьдесят миль.

— Да, — возразил доктор, в то время как все остальные подошли, прислушиваясь к разговору, — но у нас нет собак. Эти еле держатся, их нечем кормить. Они издохнут через сутки.

— Перед нами полюс. Мы сами повезем груз.

— У нас нет пищи.

— Нам осталось двести пятьдесят миль.

— У нас нет огня.

— Перед нами полюс. Мы будем согревать друг друга собственным телом.

— У нас нет дороги назад.

— Но есть дорога вперед.

— У нас нет сил!

— Но есть желание!

— Мы умрем!

— Мы достигнем! Слышите, доктор, — мы умрем только на полюсе!

— А я держусь того мнения, что незачем изнурять людей и самих себя, стремясь пробиться сквозь снежные завалы. К тому же мы прошли сегодня достаточно.

Начальник экспедиции молчал, рассматривая черное, как смола, небо и белую, туманную от падающего снега равнину материка. Тишина заброшенности и смерти властвовала кругом. Беззвучно, сонно, отвесно валился снег, покрывая людей и собак белым, неслышным гнетом. Так близко! Двести пятьдесят миль — и ни одного сухаря, ни капли спирта! Смертельная усталость знобит сердце, никому не хочется говорить.

— Остановитесь, доктор, — сказал начальник. — Отдохнем и проведем эту ночь здесь. А завтра решим. Так? Отдохнув, вы будете рассуждать, как я.

— Нам есть нечего, — упрямо повторил доктор. — А держась берега, мы можем встретить тюленей. Не правда ли, друзья мои? — сказал он матросам.

Четыре мохнатые фигуры радостно закивали. Им так хотелось поест! Тогда стали выгружать сани, и маленькая палатка приютилась около огромного снежного холма, полного людей, собак. Все лежали, тесно обнявшись друг с другом, и теплое, вонючее дыхание собачьих морд сливалось с дыханием людей, неподвижных от сна, усталости и отчаяния.

II

Ночью один матрос проснулся, вздрагивая от холода. Он только что увидел во сне свою мать, она шла по снежной равнине к югу. Матрос окликнул ее, но она, казалось, не слышала. Медленным, старческим шагом двигалась она и, наконец, остановилась у снежного возвышения. Сердце матроса сжалось. Он видел, как старушка нагнулась, погрузила в снег руки и, приподняв какой-то темный круглый предмет, похожий на голову человека, прильнула к нему долгим, отчаянным поцелуем.

— Боби! — сказал матрос товарищу. — Мне бы хоть рому глоток. Ты спишь, Боби?

Товарищ его не шевелился. Скрючившись неподвижной меховой массой, торчал он у ног проснувшегося матроса и мерно, часто дышал.

— Боби, — продолжал матрос, толкая спящего, — мне страшно. Мы никогда не выберемся отсюда. Мы погибли, Боби, и никогда больше не увидим солнца. Проснись, ты отдал мне ногу.

Человек поднял голову, и матрос в белой, мертвенной мгле полярной ночи узнал начальника.

— А я думал, что Боб, — пробормотал он. — Это вы, господин Джемс. Я вас побеспокоил, но, может быть, я сошел с ума. Мне страшно. Мы никогда не выберемся отсюда.

Мутный, горячечный взгляд Джемса был ему ответом. Начальник быстро-быстро зашептал, обращаясь к невидимому слушателю:

— Двести пятьдесят миль, господа. Я — первый! Смелее, ребята, вы покроете себя славой! Мы возвратимся по дороге, усыпанной цветами. Собаки пойдут с нами. Я куплю им золотые ошейники.

Бред овладевал им и выливался в потоке бессвязных, восхищенных слов. Матрос с тупым отчаянием

в душе смотрел на пылающее лицо Джемса и вдруг заплакал.

Но вскоре им овладела злость. Все погибают: из пятидесяти осталось всего шесть.

— Околевайте, господин начальник! Вы такой же, как и все, несколько не лучше. Мы вам поверили и нашли смерть. Что ж — и вы с нами заодно, так уж оно справедливее!

— Полюс, — сказал Джемс, метаясь в жару. — Я вижу его, он светел, как синеватая глыба льда. Он мой.

Матрос сел на корточки, прислушиваясь к тишине. Болезненное храпение со свистом вырывалось из ртов; все спали. Только больной и испуганный продолжали свой внутренний спор. Коченя от холода, заговорил матрос:

— Вы лучше бы помолчали, вот что. Вы больны, можете умереть. Подумайте о нас. Спасите нас. Зачем нам умирать? Это нелепо. Мы хотим все домой, слышите?

— Полюс! — бредил Джемс. — Да, это не то, что какой-нибудь трижды открытый остров. Я вознагражу всех. Я дам по тысяче фунтов каждому. Мы придем, будьте покойны!

Тогда животная, невероятная ненависть проснулась в матросе. Он стал кричать на ухо Джемсу, и его страстные грубые слова резко падали в тишину ночи. Он кричал:

— Полюс? Вы хотите полюса, черт возьми?! Он здесь, слышите? Вот он, ваш полюс, вы уже достигли его, господин Джемс! Ликуйте! Съешьте ваш полюс! Подавите им, умрите на нем!

Он бесновался и изрыгал ругательства, но пораженное сознание Джемса поймало только два слова и остановилось на них, мгновенно превращая горячечную мечту в восторженную действительность.

— Вы достигли!

— Да, я достиг, — твердо, но уже почти теряя сознание, сказал Джемс. — Ведь я говорил доктору: двести пятьдесят миль!

Лицо его приняло горделиво-суровое выражение, такое же, какое было у него на точке земной оси. Он вздохнул и окончательно перешел в предсмертный бредовой мир.

РЕКА

I

Живо, как будто это было только вчера, я помню рассказ Керна, выслушанный мною в обществе молодого Женжиля и Благира, дяди Женжиля, — короткий тяжелый рассказ о непонятном, невидимом якоре, укрепленном в темном человеческом сердце, на страшной глубине бездн, немых для отчаяния и веры, любви и ненависти. Я расскажу по порядку.

Самуил Керн, я, Женжиль и Благир были по профессии лодочники. Нам принадлежали две лодки. Весной, когда река выходила из берегов и много всякой дряни плыло из размытых наводнением поселений — плотов, дров, утвари, — мы выезжали на ловлю всех этих сюрпризов и проводили на реке целые дни.

Однажды, в сильное половодье, проблуждав вниз по течению без толку целые сутки, мы к ночи повернули домой. Поднялся ветер, река вздулась и потемнела; было холодно, сыро; грести становилось трудно; ветром и волнением гнало лодки прочь от города к противоположному берегу. Мы выбивались из сил; ледяной воздух бил нас в лицо порывистыми размахами. Стемнело, опустился туман. Мы плыли в беспокойной тишине ночи — только гудел ветер, да тревожное, глухое дыхание сырой тьмы реки уходило без конца вдаль. Благир засветил фонарь и, соскучившись, затянул песню:

Посушимся, ребята,
В трактире у Грипата,
Где на веселый огонек
Рыбак летит, как мотылек.

Его перебил Керн:

— А вот что, — сказал он, — ведь нам не выгрести. Переправимся на тот берег и выждем до утра. Чайник с нами — будем чай пить.

— Верно, — согласился Женжиль.

И через полчаса мы пристали к небольшой песчаной косе, за которой начинались холмы, покрытые низким кустарником.

Мы разложили огонь и расположились вокруг трескучего горна, закрывая плащами от ледяного ветра шеи и головы. Выколов трубку, Женжиль взял чайник и пропал в бушующей тьме.

Прошло минут пять, парень не возвращался. Вода была близко от того места, где мы сидели,— шагах в пятнадцати, но там, у воды, шумел только песок, заливаемый весенним прибоем; стихли шаги Женжиля, словно он удалился в глубину берега. Всем надоело ждать, мы озябли, хотелось по кружке чая.

Самуил крикнул:

— Женжиль!

В то же мгновение бледное, вытянутое лицо Женжиля блеснуло в кругу света круглыми, испуганными глазами. Он швырнул пустой чайник, присел на корточки и вытянул к огню мокрые, вздрагивающие ладони. Я заметил, что рукава его куртки мокры до самых плеч.

— Заблудился? — иронически спросил Керн. — Что случилось? — спокойно повторил он, заметив неладное.

Женжиль встал, встряхнулся и, прежде чем заговорить, помолчал немного, словно не давая веры собственным чувствам.

— Я поймал утопленника, — растерянно пробормотал он, нервно поворачивая лицо к шумевшему в темноте разливу. — Нечаянно схватил его за руку в воде и, конечно, забыл про чай. Кажется, хотел принести сюда, но не смог, потому что затряслись поджилки, и я ослабел, как роженица.

— Хо-хо, — протяжно протянул Благир, выхватывая головню из костра. — Мяс и ты, Керн, идем. Нельзя оставлять тело мокнуть, а может быть, он еще жив.

Из всех нас в эту минуту один Керн вспомнил о чае и, нагнувшись, захватил брошенную Женжилом посуду. Взволнованные, хотя и не раз встречали людей, плывущих вниз по реке с мертвыми глазами уснувших рыб, — мы тронулись. Впереди шел Женжиль с дядей, за ними я; Керн замыкал шествие; чайник тупо побрякивал в его пальцах.

Благир поднял головню, ветер раздул ее — сотни искр взвились волнистым букетом, и дикий трепет огня

взволновал мрак, разбежавшийся уродливыми лохмотьями. На песке, у самой воды, я различил темную фигуру с белым лицом. Это была женщина.

Мы присели кругом, рассматривая печальный сюрприз реки — бурной равнины мрака. Тонкая и, по-видимому, слабая была эта женщина с маленькими, посиневшими кулачками; хорошее, сшитое по моде, мокрое платье обтягивало ее липким футляром, на лицо было грустно и досадно смотреть — застывшее страдание лежало на нем, и от этого было оно еще прекраснее, как молодая любовь, обрызганная слезами. Мокрые, бронзового оттенка, волосы, свитые в один жгут, вытягивались на темном песке.

Благир щелкнул языком, развел руками и встал. Керн сказал:

— В такую ночь рискованно упасть с парохода.

— Ничего не известно, — вздохнул Женжиль — Бывает, что и сами прыгают. А теперь как? Миас, что делать?

— Перенесем к огню, — сказал я. — А утром все пятеро приедем в город. Бери за плечи, Женжиль. Я — за ноги.

Вдвоем мы подняли труп и перенесли к костру, положив его немного поодаль, чтобы глаза наши не натывались ежеминутно на тягостное для живых зрелище. А когда несли ее, то ноги наши ступали тихо и осторожно, а руки прикасались бережно к холодному телу, словно она спала.

Удаляясь с печальной ношей, я слышал, как булькнула позади вода: Керн наполнял чайник.

III

Опустив на траву тело, я и Женжиль молча стояли некоторое время около него, взбудораженные неожиданностью, с совершенно утраченным равновесием духа, присущим людям физического труда. Я, правда, не всегда был лодочником и знал лучшие дни, но частые, подавленные вздохи Женжиля были для меня новостью. Что тронуло и что поразило его?

Наконец, оба мы, как бы сговорившись, отвернулись и подошли к огню, где Керн кипятил чай. Широколицый, бородатый, нахмуренный, он пристально следил за ог-

нем, молча переживая событие. Ветер усилился, раскидывая по земле дымное, фыркающее пламя, и осыпал нас градом пощечин, завывая в ушах. Разговор не вязался. Наконец, мало-помалу, каждый стал разгружаться, строя нехитрые догадки и предположения. Через полчаса говорили уже о дочери миллионера, замученной жестоким отцом. Мы, люди реки, можем прилично фантазировать, потому что живем на просторе и вечно полны небом, отраженным в реке! Мы разговаривали негромкими голосами, невольно оглядываясь в ту сторону, где, скрытое близким мраком, лежало молодое тело погибшей, и мне все время казалось, что бледное, замкнутое лицо ее присутствует среди нас. На душе было невесело.

Прихлебывая мутный чай, Женжиль заявил:

— Если временно человек рехнулся, он способен на все. Вот и все, нечего тут и голову ломать.

— Дурак,— спокойно возразил Керн.— Разве это так просто? Я знал умного человека с ясной головой и с душой тверже, чем стальной рельс, но человек этот добровольно погиб.

— Раскис,— презрительно проворчал Благир.— Лопаются и стальные рельсы.

— Ты слушай,— сказал Керн.— Он не раскис, но производил вычисления. Складывал, умножал, делил и вычитал свою жизнь. Должно быть, действительно выходил нуль. Он служил шкипером на пассажирском катере, что ходит по городу, и служил десять лет.

Однажды я встречаю на пристани целую кучу народа — все кричат, ругаются. Спрашиваю: в чем дело? — Да вот,— говорит мне высокий старик в цилиндре, а сам весь дрожит от злости,— совершенно уголовное преступление. Мы,— говорит,— ехали все тихо и смиренно, каждый по своему делу, в разные концы города на катере № 31 (где и служил тот шкипер, про которого я рассказываю). Подплыли к этой пристани,— отдали причал, вдруг шкипер отходит от колеса и заявляет: — Господа, не будете ли так добры очистить судно? — Почему? — Да так,— говорит,— надоело,— говорит,— мне возить разный сброд, идите, господа, вон. Возил я вас десять лет, а теперь у меня нет для этого подходящего настроения.— Кинулись на него, а он вынул револьвер и молча посмеивается. Спорить было невысказано. Мы вышли и, прежде, чем успели позвать полицию,

он прыгнул в машину, крикнул что-то, и машинист вышел на берег, без шапки, бледный. Мы к нему — в чем дело? — Не знаю, — говорит, — с ним что-то неладное.

Тогда, — продолжают мне дальше рассказывать, — Грубер (а шкипера звали Грубер) встал у штурвала и полным ходом стал удаляться вниз, к морю. Далеко уплыл он, катер стал маленький, как скорлупка, и смотрим — взвился на нем флаг. И менее чем через четверть часа отправился в погоню катер речной полиции.

Керн остановился и посмотрел на нас взглядом, выражавшим Груберу если не одобрение, то сочувствие. Потом продолжал: — Я ушел с пристани, потому что делать на ней мне более было нечего, а подробности и конец истории узнал вечером.

В тот день на море был сильный шторм, катер Грубера летел полным ходом, и полицейские, гнавшиеся за ним, пришли в смятение, потому что Грубер плыл, не останавливаясь, в бурную морскую даль, и нельзя было решить, что он намерен сделать. Расстояние между обоими катерами становилось все меньше (полицейские жгли уголь вовсю, и их судно все-таки шло быстрее), но сокращалось чересчур медленно, а волнение становилось опасным. Тогда стали стрелять из дальнобойных кольцовскихмагазинок, целясь прямо по катеру.

Погоня и стрельба продолжались еще некоторое время, как вдруг гнавшиеся за Грубером, к великому своему удивлению, заметили, что он поворачивает. Через минуту это сделалось несомненным; тогда решили, что Грубер боится пуль и решил сдаться. Перешли на малый ход, остановились почти.

Грубер же, действительно, повернул катер и быстро приближался к преследующим. Скоро уже можно было видеть его — он стоял без шапки и улыбался. Тягостная была эта улыбка, но тогда не знали еще, что задумал безумец, презревший силу людей.

— Здорово! — прокричал он, когда расстояние между ними и им сократилось на половину человеческого роста. — Я сейчас буду борт о борт с вами, но прежде позвольте сказать мне несколько слов.

Ответом ему было молчание — остановились и ждали.

— Десять лет, — продолжал Грубер, — я получал от компании каждый месяц сто долларов и жил скверно.

Я управлял машиной, построенной человеческими руками для того, чтобы всевозможные ненужные мне субъекты пересажали с моей помощью из одного места в другое. Но мне ведь это не нужно, да и машина тоже, пожалуй, лишняя.

Не хочу я изображать сказку про белого бычка — возить для того, чтобы ждать, и ждать, чтобы возить. Изобретите для этого усовершенствованную машину.

А я захотел сегодня, как человек, имеющий право располагать собой и своим временем, выплыть в море — первый раз за десять лет.

Еще много говорил он, — много говорил потому, что не было дано ему силы тремя или четырьмя словами вернуть себя наизнанку.

Наверно, страдал он сильно от этого, наверно.

— Подите к черту! — в заключение сказал он, оскалив зубы. Волны бросали оба катера из стороны в сторону. Тогда Грубер дал полный ход, ударил носом своего парохода в борт врага, и оба пошли ко дну.

После этой истории спасся всего один — кочегар из речной полиции, да и то бедняге пришлось держаться на спасательном круге, пока его не заметили с берега...

Керн смолк. Начинало светать, ветер смирился. Костер гас, в бледном свете зари огонь его казался призрачным и бессильным.

— Пойдемте к лодкам, — предложил я, — прошла ночь, а ветер переменил направление.

Мы встали, продрогшие и сырые от росы, разминая окоченевшие члены.

Керн и Благир понесли весла, а я с Женжилом подошли к мертвой девушке.

Первый луч солнца выскользнул из-за далеких холмов, коснулся ее лица, и стало оно немного живым, но все-таки безнадежно угасшим и замкнутым в своей тайне. Возмущение подымалось в моей душе, так жалко было эту милую красоту тела и молодости. Вероятно, я чувствовал бы себя не лучше, если бы смотрел на труп ребенка, раздавленного фургоном.

Женжиль, обдумав что-то, нагнулся. Я скоро понял его намерение. Действительно, он стал шарить в карма-

нах юбки. Все оказалось в порядке, то есть нашлось письмо, смоченное и скомканное.

— Прочти-ка, Мияс,— сказал он, протягивая бумажку мне.

— «Хочу умереть. Рита»,— прочел я и сунул бумажку за пазуху.

— Сама хотела,— глубокомысленно произнес Женжиль.

— Несите, эй! — крикнул Благир.

Мы перенесли труп в лодку и, выплыв на середину, долго разговаривали об упрямах, предпочитающих скорее разбить об стенку голову, чем помириться с существованием различных преград. Затем стали грести молча, потому что — мертвый или живой — человек темен и ничего не скажет, да, может быть, это и хорошо.

А я все не мог оторваться от милого и близкого теперь почему-то лица утопленницы. Вдруг возглас, полный отчаяния, прервал мои размышления.

— Да ведь я чайник забыл!

Это вскричал Керн. Вот это было действительно непонятно, потому что он и в самом деле забыл его. Но при его положительном и трезвом характере можно держать пари, что более с ним таких фактов не повторится.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЧАЙКИ»

I

Черняк сел на большой деревянный ящик, рассматривая обстановку низкого, сводчатого помещения.

Известка в некоторых частях стен обвалилась, и эти, словно обглоданные, углы выглядели угрюмо, в то время как три хороших цветных ковра висели неподалеку от них, стыдливо расправляя в таком неподходящем для них месте свои узорные четырехугольники.

Несколько деревянных скамеек торчали вокруг стола, заваленного самыми разнообразными предметами. Толстая связка четок из розового коралла валялась рядом с пятифунтовым куском индиго: куски материи, валяки скатанных кружев, ящики с сигарами, жестяная

коробка, полная доверху маленькими дамскими часиками; нераспечатанные бутылки с вином; пачка вееров, маленький тюк перчаток и еще многое, чего нельзя было разглядеть сразу. Три койки, из которых одна выглядела меньше и легче, потянули Черняка к своим заманчивым одеялам; он только вздохнул.

Человек, сидевший у заткнутого свертками тряпок окна, встал и подошел к прибывшим, попыхивая короткой трубкой. Свеча, посаженная на гвоздь, торчавший из стены, бросала впереди этого человека уродливую огромную тень, совершенно не идущую к его невыразительным, крупным чертам, вялому взгляду и прямой, крепкой фигуре. Он был гладко причесан; одет, как одеваются матросы на берегу — смесь городского и корабельного.

— Теперь познакомимся,— сказал первый вошедший с Черняком.— Имя мое Шмыгун, а этого господина Строп¹, потому что он хочет всегда много. А вы?

Черняк назвал себя.

— Имею основания,— сказал Шмыгун,— думать, что это тоже не имя. Впрочем, вы в этом свободны.

Он повернулся и вышел за дверь; тогда Строп сел против Черняка, положил руку на колени, вынул изо рта трубку и осведомился:

— Где вы плавали?

— Нигде.

Строп задержал дым, отчего щеки его как бы вспухли, поднял брови и похлопал слегка глазами.

— Хорошо плавать,— заявил он через минуту несколько сухим голосом. Слова его падали медленно и тяжело, словно прежде, чем произнести их, он каждое зажимал в руке, потихоньку рассматривал, а затем уже выбрасывал эту непривычную тяжесть.— Ну, а дела как?

— Скверно.

— Скверно?!— Строп подумал.— Это хорошо,— с убеждением произнес он.

— Разве?— улыбнулся Черняк.— Что хорошо?

— Плавать хорошо,— сказал Строп.— Чудесная работишка!

¹ Строп — особый канат для поднятия груза.

Черняк молчал. Тусклые глаза моряка обратились к двери — вошел Шмыгун. В руках у него были две тарелки, под мышками, с каждой стороны тела, торчали увесистые бутылки. Он подошел к столу, где не было свободного уголка даже для воробьиного ужина, и приостановился, но тотчас же поднял ногу, ловко отстранил ею с краю стола разную рухлядь.

— Я тебе помогу, — сказал Строп, когда Шмыгун поставил тарелки и принес нож. — У тебя руки заняты.

— Помоги есть! — Шмыгун пододвинул скамейки, вытащил пробки. — Кушайте, господин Черняк!

Черняк взял кусок хлеба, откусил, и вдруг им овладело тяжелое, голодное волнение. Ноги запрыгали под столом, проглотить первый прием пищи стоило почти слез. Он справился с этим, удерживаясь от хищного влечения истребить моментально все, и ел медленно, запивая мясо вином. Когда он поднял наконец голову, пьяный от недавней слабости, еды и старого виноградного сока, восторг сытости граничил в нем с состоянием полного счастья. Черняк хотел встать, но почувствовал, что ноги на этот раз лишние, он неспособен был управлять ими. Действительность начинала принимать идеальный оттенок, — лучшее доказательство благодушного охмеления. Вино и сон кружили ему голову.

Шмыгун сказал:

— Держитесь! Мы поговорим завтра. Сейчас я вас уложу.

— Хорошо спать! — произнес Строп. Улыбка медленно проползла по его лицу и скрылась в жующем рте.

— Кто вы? — спросил Черняк.

— Я?? — Шмыгун хмыкнул, оттягивая нижнюю губу. — Моя специальность — натянутые отношения с таможней. В сущности, я благоденствую, потому что извольте-ка купить дешево то, что с таможенной пломбой стоит, пожалуй, вдвое против настоящей цены.

— Я понял, — сказал Черняк. — Вы портовый контрабандист!

— Затем, — продолжал Шмыгун, как бы не расслышав этих слов, — недавно я лишился хорошего компаньона; молодой был, проворный и сообразительный. Умер. Царапнули его неподалеку, в заливе, с кордона ружейным выстрелом. Я уцелел. А вы — чем вы хуже его? Я умею определять людей.

Черняк хотел что-то ответить, но не мог и закрыл слипающиеся глаза. Когда он открыл их, помещение тонуло в колеблющемся тумане. Дверь хлопнула, шум этот заставил его вздрогнуть; он сделал усилие, повернулся и увидел взволнованное, сияющее лицо, оставившее в нем впечатление мгновенного эффекта воображения. Глаза девушки, лучистые, удивленные при виде его, беспокоили Черняка еще, пожалуй, в течение десяти секунд, затем он мгновенно потерял слабый остаток сил и уснул, склонив на стол голову. Впрочем, это не было еще окончательной потерей сознания, так как он слышал возбужденный, невнятный гул и испытывал нечто похожее на потерю веса. Это Шмыгун и Строп несли его на кровать...

— Катя, он будет жить с нами, я встретил его на улице.

— Мне все равно.— Девушка подпрыгивала и вертелась, хватая брата за плечи и голову, как будто хотела раздавить их в избытке радости.— Шмыгун, она пришла, на рейде, и выгружается завтра!

— Как?! — побледнев от неожиданности и смутной тревоги, что не так понял сестру, сказал Шмыгун.— Катя, в чем дело?

— «Чайка» здесь! Можешь не верить. Завтра увидишь сам. Я ущипну тебя, Шмыгун, за шею!..

Контрабандист посмотрел на девушку особенно крепким взглядом, отер ладонью вспотевший лоб, взглянул на вытаращенные глаза Стропа, на спящего Черняка и опять на девушку. Потом начал краснеть. Кровь прилиwała к его лицу медленно, как будто соображая,— не подождать ли.

— Как хорошо! — вдруг крикнул Строп, и снова лицо его стало вялым, только внутри глаз, на самом горизонте зрачков, засветились ровные огоньки.

— Шмыгун, я ходила к Ядрову, старик болен. Сын его говорил со мной, пожал плечами, заявил, что ровнешенько ничего не знает,— когда придет «Чайка», и начал за мной ухаживать. Я отбрила его в лучшем виде. Потом была в гавани, у «Четырех ветров», но и с той шхуны не было ничего сказано. Я подходила к дому, и так мне хотелось плакать — все нет, все нет,— что топнула ногой, потому что слез не было. Встретила человека — он у тебя бывал — не помню его имени. «Хорошее дель-

це мы обработаем с вашим братцем»,— говорит он. Я промолчала. «Уже»,— говорит он. «Что — уже?» — закричала я так сердито, что он отступил. Ну... вот как! Он рассказал мне, что корабль тут, и я пустилась бегом. Чудесно!

— Я иду,— тихо сказал Шмыгун, дрожа от безмерной радости, наполнявшей все его тело звонкими ударами сердца.— Идем, Катя, и ты, Строп, я хочу видеть собственными глазами. Невероятный день. Ты помнишь, сестра, сколько раз пришлось тебе сбегать в гавань, спрашивая на всех палубах, не видал ли кто белой шхуны с белой оснасткой, белой от головы до ног?!.. Возможно, что действительно все кончено. Трудно поверить, я верю и в то же время не верю.

— Верь!..

Девушка подошла к кровати, на которой лежал Черняк, и некоторое время рассматривала его, поджав нижнюю губку.

— Откуда ты взял его? — спросила она у Шмыгуна, все еще бессознательно улыбаясь торжественной и драгоценной для всех новости.— Он совсем молод; ты будешь учить его?

— Учить? — рассеянно спросил Шмыгун.— Чему? Просто он мне понравился, и — ты знаешь — я не люблю расспросов.

II

Когда Черняк проснулся, был день. Он сидел на кровати, протирая глаза, слегка смущенный чувством полной неопределенности положения. Но это прошло тотчас же, как только он услышал яростный удар кулака по столу и увидел, что в комнате никого нет, за исключением Шмыгуна.

Лицо его трудно было узнать — даже не бледное, а какого-то особенного, серого цвета свинцовых грозовых туч, оно показалось Черняку в первый момент отталкивающим и враждебным. Заметив, что Черняк встал, Шмыгун, молча, уставился в лицо гостя порозовевшими от крови глазами.

— Я, может быть, разбудил вас,— заговорил он.— Но я в этом не виноват, потому что у меня горе. Видели вы меня вчера таким? Нет!

— Расскажите и успокойтесь,— проговорил Черняк,— потому что горе, в виде одного слова,— пустой звук. Что случилось?

Явное желание заговорить обо всем, что пришлось ему вынести, выражалось в лице Шмыгуна, но он колебался. Впрочем, решив, что все равно — дело погибло,— мысленно махнул рукой и сказал:

— Да, вы имеете право на это, потому что нужно же было мне привести вас сюда в то время, когда мы потеряли голову, а вы шатались без ночлега. Судьбе, видите ли, было угодно вывернуть счастье наизнанку; получилось несчастье. Лет десять назад я спас одному человеку жизнь. Спас я его из воды, когда он плюхнулся туда с собственного баркаса и сразу пошел ко дну. Звали его Ядров; полмиллиона состояния наличными, да столько же в обороте, да еще восемь хороших кораблей. Его можно было спасти только из-за одного этого. Благодарность свою он мне выражал слабо, то есть никак, и я долго ломал голову, как бы, несмотря на его скупость, поправить собственные дела. И вот боцман с одной шхуны говорит мне: «Возишься ты по мелочам, дамские шелковые платки и подмоченные сигары — плохой заработок; есть вещи, стоящие дороже». Короче — столкнулись мы с ним, что он привезет тысяч на пятьдесят опия, а денег на это дело уговорил я дать Ядрова с тем, что капитал свой он получит обратно, немедленно, по возвращении судна, с условием, что я оставлю за сбыт товара половину чистой прибыли — остальное ему. Для нас это было бы достаточно, но пропал проклятый корабль, и вместо шести месяцев прошатался полтора года. Ночью сегодня узнаю я, что наконец судно на рейде, и утром, пока вы спали, помчался, как молодая гончая, к Ядрову.

Шмыгун перевел дух,— сердце его дольше не могло выдержать,— и изо всей силы треснул ногой в дверь, так, что задрожала стена.

— И вот,— продолжал он,— как велика была моя радость, так бешена теперь злоба. Ядров умер; умер от удара не дальше, как этой ночью; его сын чуть не выгнал меня в шею, крича вдогонку, что, может быть, если я пришлою к нему Катю, мою сестру,— мы еще уладим дело. Может быть, он был пьян, но мне от этого ни сколько не легче. Конечно, он преспокойно заплатит

пошлину и продаст наш драгоценный товар для собственного своего удовольствия.

Черняк слушал, недоумевая, что могло так мучить контрабандиста. Логика его была совершенно ясна и непоколебима; если что-нибудь отнимают — нужно бороться, а в крайнем случае, отнять самому.

— Вас это мучает? — спросил он, посмотрев на Шмыгуна немного разочарованно, как будто ожидал от него твердости и инициативы. — А есть ли у вас револьвер?

Фраза эта произвела на Шмыгуна сложное впечатление; он понимал, что хочет сказать Черняк, но не представлял ясно последовательного хода атаки. Во всяком случае, он перестал сомневаться и сел, тщательно прожевывая решение, только что подсказанное Черняком.

— Разве так, — сказал он, прищуриваясь, как будто старался разглядеть Ядрова, развлекаемого видом шестиствольной игрушки. — Хорошие вы говорите слова, но это надо обдумать!

— Подумаем, — произнес Черняк.

— Но прежде дайте-ка вашу руку, — продолжал Шмыгун, — и продержите ее с минутку в моей.

Пристально смотря в глаза Черняку, он стиснул поданную ему маленькую городскую руку так сосредоточенно и внимательно, как будто испытывал новый музыкальный инструмент. Но рука эта была суха, крепка, не вздрогнула — рука настоящего человека, не отступающего и не раздумывающего.

III

Лодка выехала в чистую синеву бухты прямой линией. Строп сердито держал руль и, может быть, первый раз в жизни выражал нетерпение. Черняк задумчиво улыбался. Дело это казалось ему верным, но требующим большой твердости. Вообще же близкое приключение вполне удовлетворяло его жажду необычайного.

Шмыгун греб и смотрел по сторонам так сухо и не приветливо, что, казалось, сама вода несколько подсыхала сверху от его взглядов. Относительно Черняка он думал, что этот молодец сделан не из песка. Впереди, белея и вырастая, дремала «Чайка».

Глубокое волнение охватило Шмыгуна, когда шляпка стукнулась о борт корабля — этого радостного звука он дожидался полтора года. Несколько матросов подошли к борту, разглядывая прибывших.

— Где боцман? — спросил Шмыгун вахтенного.

Матрос не успел ответить, как приземистый человек с пронизательными глазами подошел к Шмыгуну, и руки их застыли в безмолвном рукопожатии.

Черняк и Строп отошли в сторону. Боцман с контрабандистом говорили быстро и тихо. Со стороны можно было подумать, что речь идет не о ценном товаре, запрятанном в таинственных уголках, а о новостях после разлуки.

— Слушайте! — сказал Шмыгун, подходя к Черняку. — Он здесь, внизу, в каюте.

Черняк посмотрел на боцмана; обугленное лицо моряка ясно показывало, что человек этот далек от неудобных для него подозрений.

Тогда он выпрямился, чувствуя, с приближением решительного момента, особую, тревожную бодрость и нетерпение. Строп стоял рядом с ним, неподвижный, хмурый, с вялым, немым лицом.

Деловой ясный день взморья продолжал свою суету: на палубе перекатывали бочонки, мыли шляпки.

Недавняя определенная решимость боролась в Черняке с трезвыми глазами рабочего дня и обстановкой, способной убить всякое убеждение. Он опустил руку в карман, ощупывая револьвер, и заявил, обращаясь к боцману:

— Я прнехал с вашим знакомым, собственно, по своему делу. Есть у меня разные маклерские поручения, а мне сказали в конторе, что молодой хозяин сейчас тут. Как бы пройти к нему?

Прежде чем боцман успел открыть рот, Шмыгун сказал:

— Не думаю, чтобы ты принял меня сухо. И так невесело жить на свете!

Моряк ослабился.

— Пройдите шканцы — на юте спуститесь вниз по трапу, а из кают-компаний — первая дверь налево, № 1. Молодой Ядров сидит там. Он, кажется, рассматривает судовые бумаги.

Слова эти относились к Черняку, и тот, не ожидая результатов — тонких намеков Шмыгуна относительно выпивки, пошел вперед, невольно замедляя шаги, потому что Строп, следовавший за ним, двигался так же вяло и неохотно, как всегда. Заложив руки в карманы, он производил впечатление человека, прокисшего от рождения.

Черняк шумно вздохнул и спустился в кают-компанию.

Цифра один, криво выведенная над дверью черной масляной краской, поставила между ними, пришедшими сделать отчаянную попытку, — еще одного, третьего. Третий этот сидел за дверью и был невидим пока, но уже начался мысленный разговор человека, обдумавшего план, с тем, третьим, которому предстояло ознакомиться с этим невыгодным для него планом путем тяжелого, неприятного объяснения. Впрочем, когда Черняк взялся за ручку двери, все придуманные им начала покинули его с быстротой кошки, облаянной цепным псом. Весь он сразу стал пуст, легок и неуклюж, как связанный.

Но тотчас же открытая им дверь превратила его растерянность в туго натянутую цепь мыслей, в сдержанную отчаянную решимость. Через секунду он уже чувствовал себя хозяином положения и вежливо поклонился.

Подняв голову, он увидел неприветливое лицо Ядрова. Купец прищурился, встал; гримаса неудовольствия была первым безмолвным вопросом, на который Черняку приходилось отвечать надлежащим образом. Он выпрямился, взглянул на Стропа, и тотчас же флегматичная фигура матроса встала у двери, загоразживая могучей спиной ее неприкрытую щель.

— Позвольте мне сесть... — сказал Черняк и сел так быстро, что привставший Ядров опустил уже после него. — Я принужден с вами разговаривать, мне это самому неприятно, потому что тема щекотливая и забавная.

Ядров вспыхнул.

— А не угодно ли вам выйти на палубу, — сказал он, — и разговаривать там таким образом, как вы разговариваете сейчас, с корабельным поваром? Я думаю, это для вас самая подходящая компания.

— В таком случае,— глухо сказал Черняк,— я вынужден быть кратким и содержательным, и первый мой аргумент — вот это!

С этими словами Черняк вытащил из кармана револьвер так медленно и неохотно, как будто подавал спичку неприятному собеседнику. Но маленькое короткое дуло, блеснув в свете иллюминатора, метнулось к лицу Ядрова быстрее, чем он сообразил, в чем дело.

Черняк посмотрел на Стропа и успокоился. Матрос расправлял руки.

— Вот этого с вас, пожалуй, будет достаточно,— сказал Черняк.— Есть ли у вас хорошая плотная бумага? На ней нужно написать следующее: «Бойцман, ваш друг Шмыгун приехал сегодня по делу, известному вам так же хорошо, как и мне, от моего умершего отца. Отдайте начинку Шмыгуну».

— Плохой расчет,— сказал Ядров, притягивая улыбку за уши,— я понял все. Вы и ваша гнусная компания пострадаете от этой рискованной операции тотчас же, как только сядете в лодку. Неужели вы думаете, что я не поговорю с таможеней и что она откажется заработать приблизительно двадцать тысяч?

— Непростительная наивность,— сказал Черняк,— потому что вы будете молчать, как дохлая рыба, по очень простой причине: шхуна принадлежит вам. Если таможенным было бы приятно заработать хороший куш, то вам, я думаю, потерять сто тысяч штрафа совершенно нежелательно. Берите перо.

Петр взял бумагу. Она лежала перед ним с явно угрожающим видом: в белизне ее чувствовались тоска насилия и горькая необходимость. Рука его то приближалась к бумаге, то судорожно отклонялась прочь, словно он сидел на электрической батарее. Беспомощно горел мозг; он стал писать, и каждое слово стоило ему усилий, похожих на прыжок с третьего этажа. Все это совершалось в глубоком молчании, нетерпеливом и тягостном.

— Возьмите,— сказал Ядров,— и делайте что хотите.

Черняк встал, сжимая бумагу так же крепко, как револьвер. Ему было почти весело. Он посмотрел на Петра и вышел.

Ядров и Строп обменялись взглядами. Глухая ненависть кипела в Петре, он весь вздрагивал от безумного желания закричать, позвать на помощь, выругаться. Сонный вид Стропа внушил ему некоторую надежду — матрос мог попасться на хорошо придуманную уловку. Ядров сказал:

— Ну, что же? Все кончено! Вы слышали? Теперь я уже не могу помешать вам! Пустите меня или уходите!

Он подошел к двери. Строп растопырил руки, в лице его не было ни угрозы, ни возбуждения. Спокойно, лениво и просто, как всегда, матрос сказал:

— Не хотите ли покурить? Сядемте и подымим малость. Курить — хорошо!

Боцман провел Черняка и Шмыгуна прямо из подкиперской в трюм, где, пробираясь ползком между грудами самого разнообразного груза, наваленного почти до палубы, они добрались к основанию фок-мачты, а там, повернув налево, по груде ящиков с мылом, взобрались к верхним концам тимберсов.

То, что составляло предмет стольких треволнений, тревог и неожиданностей, таилось за внутренней, фальшивой обшивкой борта. Работа совершалась с быстротой и треском: торопиться было необходимо. Взломав обшивку, боцман вытащил и побросал вниз до полусотни маленьких деревянных ящиков, весом каждый около двух фунтов. Увязав добычу в куски брезента, приятели поднялись на палубу.

— Пойдите минутку! — сказал Черняк, сообразив, что надо освободить Стропа от его невольной обязанности.

Он снова прошел в каюту, холодно поклонился Петру, вышел вместе с матросом и запер Ядрова двойным поворотом ключа. Тотчас же глухой яростный стук присоединился к шуму их шагов и затих, потому что «Чайка» строилась из прочного материала.

IV

Утром, когда все еще спали и солнце тускло бродило по задворкам, играя сонными отблесками в молчаливом стекле окон, Черняк встал, разбуженный легким прикосновением еще накануне бессознательной, но те-

перь окрепшей во сне мысли. Это не было усталое, флегматичное пробуждение изнуренного человека — он был свеж и бодр, полная ясность ощущений и памяти наполняла его чувством нетерпеливой радости. Ему казалось, что совершилось огромное и важное, после которого все легко и доступно. В кармане его звенело золото, — часть вырученного от операции с опиумом, и он чувствовал себя богатырем жизни, свободным в ней, как рыба в воде.

Черняк посмотрел на спящих. Вот исполняются мечты каждого. Девушка не будет нуждаться: любовь, наряды и удовольствия к ее услугам. Шмыгун, вероятно, купит дом и обрастет мохом, Строп пустится в открытое море с чувством человека, отныне могущего воспользоваться всем тем, что ранее было для него недоступно. Молча, с вялым лицом, но восхищенный в душе, он будет говорить еще чаще: «Хорошо!»

Да, узел развязан. Разрублен.

Действительно, — случайно, навстречу одному из интересных людских положений — попал он к узлу событий, где было два одинаково важных центра: воплощение чужих грез и собственный, могучий толчок жизни, содержанием которой являлось для него все, что пестрит, сверкает и мучает сладкой болью, как фантастический узор цветущей лесной прогалины, полной золотых водоворотов солнца, цветной пыли и теплого дыхания невидимых лесных обитателей, мелькающих воздушными очертаниями под темным навесом елей.

Делать ему здесь более было нечего: размотался клубок, и за последний конец нитки держался он, зная, что все дальнейшее не даст больше ни одного штриха его болезненной жажде — гореть с двух концов сразу, во всех уголках мира, одновременно и неизбежно.

Черняк посмотрел на Катю, сонный изгиб стройного тела пленил его на мгновение ярким контрастом влекущей женственности с неряшливым полутемным подвалом, где золото и опасность, лишения и достаток мешались в пестром калейдоскопе.

Сложнейшие движения духа роились в нем сильно и гармонично, сразу открывая настоящий, единственный выход в мировой простор, по отношению к которому трое спящих вокруг него людей делались чем-то вроде тюремных замков.

Черняк не мог, не в силах был представить, что будет дальше; ничего такого, что могло бы служить достойным продолжением пережитой страницы жизни, не видел он в этих четырех стенах, покрытых случайными коврами, ободранной штукатуркой и плесенью.

Все спали. Момент был удобен как нельзя более; уйти — без разговоров и сожалений, расспросов и установок.

Куда? На момент Черняк остановился, стараясь зажать в стальной кулак мысли цветущий земной шар, где много места для нетерпеливых движений радости.

Черняк потер лоб и вдруг зажмурился, охваченный жгучим светом простой и ясной, как нагой человек, истины:

«Неизмеримо огромна жизнь. И место дает всякому, умеющему любить ее больше женщины, самого себя и короткого тупого счастья».

Черняк надел шляпу. Дверь скрипнула. Уходя, он бессознательно оглянулся, как это делает всякий, покидающий приютившее его место. Но в комнате уже не было сна: с кровати, приподняв взлохмаченную пушистую голову, смотрела на него девушка.

— Куда вы? — спросила она тоном вежливой, случайной необходимости. Глаза ее смыкались и размыкались; она ждала незначительного ответа, после которого можно опять уснуть.

— Прощайте! — сказал Черняк, улыбаясь так легко и безобидно, как будто выходил на минутку. — Я уйду, и совсем. Кланяйтесь Шмыгуну.

Мгновение, и Катя стояла перед ним с тревожным выражением на пунцовом от крепкого сна лице.

Вопросы срывались с ее губ быстро и бестолково:

— Куда? Почему? Вы нашли другую квартиру? Вы больны? К доктору?

— Нет! — произнес Черняк, избегая ее глаз, тревожных и влажных, как темное вечернее поле. — Я уйду пожить, потому что жил мало и потому, что больше здесь делать мне нечего.

Он насчитал еще сотню вопросов в ее лице, оторопевшем от неожиданности, и что-то похожее на просьбу, но уже не думал об этом.

Последняя мысль его была о том, что девушка эта красива, как песня, прозвучавшая на заре, и что много на земле красоты, дающей радость глазам и отдых сердцу, когда оно бьется медленней, усталое от истрепанных вожжей буден.

Он попытался улыбнуться еще раз так, чтобы слова сделались лишними, но не смог и махнул рукой.

На пороге он еще раз обернулся; последние слова его прозвучали для девушки обрывком сна, нарушенного внезапно:

— Родители мои еще живы. Я убежал от них тайком, потому что меня хотели сделать бледным, скучным, упитанным и добродетельным. Короче — мне предстояла карьера взрослого оболтуса, профессионально любящего людей. Немного иначе, но то же было бы здесь. Прощайте! И если можно вас любить так, как я люблю всех женщин, потому что я хочу все, оставьте мою любовь.

Выйдя на улицу, Черняк миновал сеть узеньких переулков, обогнул здание таможни и вышел к морю.

Лес корабельных мачт, среди которых торчали пароходные трубы, отполированные стальные краны, облака каменноугольной пыли, гул, звон, глухое пение содрогающейся от бесчисленных вozов и телег земли — все отдалось в его вымытой утренним солнцем душе прямым спокойным ответом на вопрос, заданный себе десять минут назад. Всесветная синяя дорога — море, и каждый день много отходит кораблей, и есть золото, и он молод!

А мир велик... И море приветствовало его.

ПАССАЖИР ПЫЖИКОВ

I

Пыжикова словно подтолкнуло что-то; он протянул руку, коснулся сваленных на козухе поленьев и пробудился. Плавно подергиваясь, шумел колесами пароход; на козухе, у трубы, было жарко и темно. С высоты своего ложа лежавший животом вниз Пыжиков увидел внизу, в проходе, баб, развязывающих узелки, матроса, загородившего проход с фонарем в руках, и шел-

кающего чем-то помощника капитана. Пыжиков хотел прыгнуть, но раздумал, матрос уже смотрел на него охотничьим взглядом; Пыжикову стало не по себе; беспокойно и стыдливо настроенный, он принялся, не отрываясь, смотреть в затылок помощнику, скрепя сердце, привел в порядок одежду и сел, спустив ноги. Помощник отдал вздыхавшей бабе билет и, чувствуя напряженный взгляд Пыжикова, обернулся, подняв голову.

— Ваш билет,— сразу настраиваясь вызывающе, с протянутой кверху рукой сказал помощник и посмотрел на матроса.

— Я билет потерял,— давясь словами, произнес Пыжиков, держа руки сложенными на коленях.

Он думал, что помощник затопает ногами и пригвоздит его к месту проклятиями, матрос загогочет, а бабы всплеснут руками, но этого не произошло. Помощник сказал:

— Где он сел?

— Усмотри за ими.— Матрос поболтал фонарем и прибавил: — Если билета не имеешь, возьми.

— Деньги есть? — спросил помощник. Он и матрос любопытно смотрели на Пыжикова.

— Нет денег,— упав духом, вполголоса сказал Пыжиков и сконфузился так сильно, что задрожали руки. «Вот сейчас,— стрельнуло в голове,— сейчас выругает».

Баба, открыв рот, вздохнула, перекрестила подбородок, бормоча:

— Господи Иисусе.

Пыжиков сидел неподвижно, все больше пугаясь, и покорно смотрел на низенького, веснушчатого помощника, думая, что человек этот с такой хищно вздернутой верхней губой и белыми большими зубами, должен быть совершенно жестоким.

— Ссадить,— помолчав, сказал помощник и хотел идти дальше.

Пыжиков, гремя поленьями, прыгнул с кожуха, обдергивая засаленную жилетку.

— Будьте так добры,— сказал он унылым голосом, не надеясь и грустно вздыхая,— провезите, пожалуйста; ей-богу, я первый раз... В Астрахани искал места, нездоров.

— Не могу,— быстро, не оборачиваясь, ответил помощник,— просите в конторе.

— Ну, ей-богу, что же мне делать,— защищался Пыжиков,— разве убудет... отец болен, прислал телеграмму, что же это? Пропадать надо...

Помощник шел сзади матроса с фонарем; матрос дергал спящих за ноги, говоря:

— Билет, билет, господа, приготовьте билеты.

Пыжиков замыкал шествие, причитал и просил.

— А, ну, господи... черт... хорошо,— сказал помощник, оборачиваясь,— ладно, не ссадим.

Пыжиков просиял, порозовел, улыбнулся взволнованно, мотнул головой и забормотал:

— Вот спасибо... Поверьте... никогда в жизни... я не просил... Что же делать?

Приятно ошарашенный и даже согретый душевно, он зашагал назад, остановился, ликуя, у машины и стал счастливо смотреть, как отполированная, сложная, стальная масса выбрасывала тяжелые шатуны. Душа его успокаивалась, а бездушная стальная масса казалась ему такой славной и доброй, согласившейся бесплатно везти его, машиной. Сон прошел. В густо набитом пассажирами третьем классе не было видно ни одной сидящей фигуры; в кухне на столе храпел повар. Вздвигнутый, все еще чувствуя себя уличенным и жалким, Пыжиков вышел наверх и сел у решетки, смотря в темноту.

II

В ветреной свежести реки угадывался недалекий рассвет. Гористый берег громоздил в ночном небе неясные свои склоны, усталый блеск звезд струился в водяной ряби длинными искрами, с невидимых плотов неслись суетливые возгласы. На палубе, кроме Пыжикова, никого не было; немного погодя из первого класса вышли две дамы, сказав: «брр...», а за ними, волоча ногу, мужчина в цилиндре, попыхивая сигарой, небрежно цедил слова. Пыжиков, сутулясь, смотрел на них, завидывая и вздыхая, вспоминал, что в паспорте у него написано: «не имеющий определенных занятий», а на левом сапоге дырка, и денег семнадцать копеек, и булка съедена.

«Отчего я такой несчастный? — подумал Пыжиков. — А ведь недурен и здоров... судьба, что ли?»

Дамы, кутаясь в теплые, белый и серый, платки, подошли к решетке, а спутник их стал позади. Сигара, по временам разгораясь, освещала усы, лицо и прищуренные глаза старого модника, и в то же время были видны, под кружевами, скрученные на затылке, тяжелые волосы дамы в белой шали. Люди эти представлялись Пыжикову презрительными, беззаботными, живущими непонятно и завидно легко.

Дама в сером сказала:

— Как это заметно и вообще... я не приняла бы ее...

— Почему? — возразил мужчина, склонясь к крученым волосам и вынимая изо рта сигару, — женщины так любят секреты, это лакомство, а вам... — Он покосился на Пыжикова и, согнув руку, прибавил: — Здесь дует, вы простудитесь, не пройти ли на другую сторону?

Дамы, зябко поводя плечиками, отошли, пропав в темноте; за белым пятном двигался огонек сигары, прозвучал грудной смех.

«Не нравится, что я тут сижу», — подумал Пыжиков, ухмыльнувшись, вытянул ноги и стал мечтать. Пленительные женские фигуры рисовались ему спящими в теплых койках первого класса, где пахнет чем-то очень дорогим и все уютное. Пыжиков свернул папироску, но это была уже не махорка, а отличная великосветская сигара, дама же в белом пледе вышла за него замуж и зябла, а он сказал: «Дорогая моя, протяните ноги к камину; я прикажу отремонтировать замок».

Пыжиков увидел проходящую мимо в платочке женщину и прищурился, стараясь рассмотреть лицо; она села неподалеку, боком к Пыжикову, смотря в сторону.

— Куда изволите ехать? — сладким голосом спросил Пыжиков.

— Отсюда не видать, — насторожившись, сказала женщина и, очевидно, раздумав сердиться, прибавила: — Я к тете, в Филеево, у меня там тетка живет, а я при ней.

— Очень приятно познакомиться.

Утешаясь тем, что в темноте не видно дырки на сапоге, Пыжиков подсел ближе и изогнулся, засматривая

в лицо женщине. Смутные и грешные мысли бродили в его голове, но он их стыдился, чувствуя себя как бы не вправе заниматься амурными делами, потому что ехал из милости.

— Как это интересно.

Пыжиков сделал из остатков табаку экономную «козью ножку», блеснул спичкой и увидел жеманное, круглое лицо со вздернутым носом; маленькие подслеповатые глаза напоминали неспелые ягоды.

— Как интересно,— повторил Пыжиков,— едут люди, каждый по своему делу, и вдруг, извольте, разговаривают; вот именно гора с горой не сходятся... Вы замужем?

— Нет,— сказала женщина и хихикнула глухим, хитрым смешком.

Пыжиков подсел еще ближе, думая: обнять или не обнять, и сделал попытку: коснулся рукой талии; девица не отодвинулась, но вздохнула и проговорила:

— Разные мужчины бывают, иной дуром лезет, в кармане вошь на аркане, хучь бы пива поднес.

— Я заплачу,— быстро сообразив положение, шептал Пыжиков, сладко шевеля ногами и чувствуя под рукою соблазнительно упругий корсет.— Пойдемте вниз, где-нибудь...

Девица, захихикав, сильнее прижалась к нему плечом, и Пыжиков забыл обо всем. Мимо них, внимательно приглядываясь, прошел матрос.

— Идем вниз,— торопил Пыжиков.

— Где же?

Она говорила жеманным, воровским шепотом, и это еще больше воспламеняло Пыжикова. Он встал, кивая убедительно головой, подманивая пальцем, оглядываясь, и побежал вниз по трапу; девица следовала за ним, поправляя платок. Внизу, у крана с водой, оба остановились, тяжело дыша; фонарь призрачно освещал спящих на палубе вповалку мужиков.

— Сюда,— торопился Пыжиков, толкая женщину между краном и загораживающей борт решеткой,— спят все, скорее...

— А сколько вы мне подарите? — доверчиво шепнула женщина.

— Полтинник... рубль! — соврал Пыжиков.— Ей-богу, честное слово...

Кто-то взял его за плечо и повернул лицом к свету. Женщина взвизгнула, закрываясь руками; плечи ее вздрагивали не то от стыда, не то от смеха. Помощник и матрос стояли по бокам Пыжикова.

— Что вы гадость на пароходе разводите? — закричал помощник. — Денег нет, отец болен, а на девку деньги есть? Высадить его на первой пристани, гнать!

Багровый от стыда, оглушенный и растерявшийся, Пыжиков с ужасом смотрел на помощника. Помощник сделал гадливое лицо и быстро прошел дальше, а матрос простодушно выругался. Женщина куда-то исчезла.

— Не такие, брат, влопывались, — почему-то сказал матрос и, подумав, прибавил: — Втемяшил в башку ты, можно сказать, среди парохода... Теперь слезешь.

— Ну и слезу, — зло сказал Пыжиков, — а тебе что?

— То-то вот; ты с оглядкой. Еще поразговаривай.

Пыжиков вызывающе передернул плечами и отошел, стиснув зубы. На душе у него было нехорошо, словно его сбили с ног, мяли, били и отшвыривали. Пошатываясь от не прошедшего еще испуга, Пыжиков пробрался к корме и сел на свертке канатов. Светало; над убегающей из-под кормы шумной водой бродила предрассветная муть, звезды остались только по краям неба и гасли. Зыбкая свежесть воздуха щекотала лицо, расстилался туман.

III

— Встань, приехали, — сказал угрюмый матрос Пыжикову, дергая спящего за упорно сгибающуюся кренделем ногу. — Путешественник!

Пыжиков чмокнул губами, поежился и вскочил. Он уснул на свертке канатов, незаметно, с печальными мыслями.

Пароход стоял у конторки. Живая изгородь ярких баб на глинистом берегу пронзительно щебетала, предлагая пассажирам булки, колбасу и пельмени. Посад, утонувший до крыш в яблочных садах, полных веселой белизны осыпающегося цвета, блестел стеклами

окон. Голубоватый простор Волги расплывался на горизонте, у плеса, светлыми точками.

— Я уйду, сейчас уйду,— сказал, потягиваясь, Пыжиков, встал и тронулся к сходням; матрос шел за ним.

На берегу Пыжиков увидел жующего пирог полицейского и захотел есть. Полицейский ел аппетитно, собирая крошки в ладонь и слизывая их, а кончив трапезу, сосредоточенно вытер усы красным платком. Пыжиков купил хлеба, пару соленых огурцов и сел у воды, на камне.

«Господи,— подумал он,— давно ли в конторе служил, утром стакан чаю и булочка, и барышня на ремингтоне: все водка проклятая!»

Белый пароход, дымя трубой, стоял против Пыжикова, и Пыжиков смотрел на него исподлобья, со страхом думая, что следующего парохода надо ждать целый день, а сев, снова говорить, что был потерян. Ночные происшествия сделали его трусом еще больше, чем был он им до скверного эпизода с женщиной. Парень с распухшей щекой, в лаптях и плисовых шароварах, лениво подошел к Пыжикову, остановился, посмотрел на него сбоку, вынул из-за пазухи кисет и спросил:

— Куда едешь?

— В Казань,— сказал Пыжиков,— а что?

— Пробиться в Симбирск хочу,— сообщил парень, облизывая сигарку и вопросительно глядя на пароход.— Без работы я — на шермака сяду. Айда!

— Меня высадили,— сказал Пыжиков,— только всего и ехал.

— Высадили,— повторил парень.— Это они могут. Их, брат, хлебом не корми, а только дай подиковаться. Ну, пойду, пропади они, живодеры.

Он повернулся и побрел к сходням. Пыжиков доел огурец, завистливо провожая глазами нырнувший в толпу картуз парня.

«Доберется, этот не пропадет, ему все равно, вытурят — на другой день сядет, да обругает еще в придачу», — думал Пыжиков.

Многие испытания предстояли еще ему. Надо изворачиваться, хитрить, лезть, просить, настаивать, сопротивляться всеми силами — тогда доедешь; а это почему-то стыдно, противно, уныло и жалко. Но парню с опухшей щекой, по-видимому, не противно и не стыд-

но. Пыжиков позавидовал парню и опустил голову. Серая, кислая гадость накопала в душе, хотелось подойти к даме в белой шали, захныкать, попросить пять рублей и купить билет.

Когда пароход ушел, к полицейскому, собравшемуся идти домой, приблизился человек, одетый в лакейский фрак, меховую шапку, стоптанные штиблеты и ситцевую рубаху. Это был Пыжиков.

— Арестуйте меня... по этапу,— сказал он.— Паспорт утерян, папаша в Казани живет, сделайте милость.

ТЯЖЕЛЫЙ ВОЗДУХ

I

Авиатор, напрягая окостеневшие от усилий руки, повернул к перелеску, промчался над зеленым мехом хвойных вершин, белой змеей шоссеиной дороги, маленьким, как карандаш, бревном шлагбаума, увидел двойную черту рельс и понесся над ней, на высоте тридцати — сорока сажен с самой большей, какую мог развить аппарат, скоростью. Слева, уходя к пурпурному, гаснущему в облаках солнцу, расстился сизый ржаной туман хлебных полей. Впереди, белея маленькой, как яйцо, церковью, открывалась даль. Справа теплился в низких лучах зари мохнатый, полный теней, лес. Внизу, под ногами летуна, время от времени шумел игрушечный поезд, а стрелочник с флагом в руках, задирая голову вверх, что-то крича стремительно летящему аэроплану, затем все пропадало, и опять в пустынной тишине вечера на высоте соборной колокольни неся над пролинованной рельсами насыпью, трескуче гудя, крылатый аэроплан.

Бешеная струя воздуха была авиатору прямо в лицо. Перед вылетом авиатор выпил бутылку коньяку, но не опьянел, а только начал особенно резко и отчетливо сознавать все: свое положение состязающегося на крупный приз русского летчика, высоту, на которой, параллельно земле, неся вдаль, воздушную пустоту кругом аппарата, стоголосый рев мотора и время. Часы, укрепленные перед ним, показывали сорок минут девят-

того; полет начался утром. Вместе с этими, имеющими прямое отношение к успеху или неудаче, мыслями также ярко представлялось другое: шумный вчерашний ужин, музыка, присутствие высокопоставленных лиц, лестное в глубине души для детей воздуха, вчера еще никому не известных заводских механиков и электротехников; вызывающее оживление женских лиц, шампанское... Лезли также в голову разные пустяки, как, например, то, что машину Фармана кто-то назвал шарманкой, а летчик Палицын хлопочет о казенной службе.

Солнце село, ореол его, пронизывая светом сказочные страны зоревых облаков, сиял еще некоторое время пышными колоннами красного и золотого блеска, побледнел, осел ниже, загородился волнистой темной туч, вырвался из-под них пепельно-светлой щелью и погас. Аэроплан несясь в прохладной мгле; снизу изредка доносились неразборчивые восклицания, крики; звуки эти, подымаясь на высоту, словно водяные пузырьки к поверхности озера, казались призрачными голосами пространства, потревоженного в своем величии.

С наступлением темноты авиатор стал волноваться. Рой маленьких и больших страхов летел рядом с ним, заглядывая в воспаленные ветром глаза. Сначала явилось опасение, что он сойдет с дороги, затем, стараясь представить, в каком положении находятся летящие сзади соперники, авиатор видел их то нагоняющими его, то отстающими все больше и больше; невозможность определить действительное расстояние между собой и ими приводила его в состояние мучительного беспокойства и раздражения. Конечный пункт бешеной гонки находился теперь не далее сорока верст, а призовые деньги, казавшиеся в начале полета чем-то очень еще сомнительным, рисовались теперь авиатору во всей силе почти взятого крупного капитала, были близки, принадлежали ему, он думал о них, как о своей собственности. Эти деньги ему были нужны чрезвычайно; в течение последних месяцев Киршину не удалось взять ни одного, существенного по сумме, приза, он жил неаккуратно получаемым от фирмы жалованьем, и для зимы нужно было сорвать этот, по-видимому, дающийся приз, так как маленькая, но обладаю-

щая здоровым аппетитом семья авиатора начинала уже залезать в долги. Сын учился в дорогом специальном учебном заведении, а дочь перешла в пятый класс гимназии, стремительно вырастая из всех своих чулков, платьев, пальто, как разбухающая весенняя почка рвет тонкие растительные покровы. А для того, чтобы жизнь семьи не текла мучительно, в постоянных заботах и ухищрениях, нужны были деньги.

Стремительный гул мотора кружил голову. Еще быстрее, чем мчался над невидимой землей аппарат, быстрее винта, делающего сотни оборотов в минуту, лстела тревожная мысль, опережая аэроплан. Авиатор вспомнил, что между шестью и семью часами обогнал его барон Эйквист; барон мчался наперерез; со стороны было похоже, что плавно взмывает к небу огромный белый конверт с головой Эйквиста на переднем обрезе; конверт взял большую высоту; в голубом небе были еще видны тонкие очертания машины, как вдруг, совершенно отчетливо, глядя снизу вверх, авиатор увидел, что винт баронова аппарата из мелькающего прозрачного круга, потемнев, превратился в ясно обрисованные неподвижные лопасти.

«Падает», — с тупым равнодушием гладиатора подумал летчик; не вздрогнул и не обрадовался, но что-то вроде веселого страха овладело его душой; конверт же, плавно описывая круги, невинно опустил на пашню, голова барона по-прежнему чернела в белизне аппарата, полная, вероятно, немого ужаса.

Авиатор пролетел над ней, стиснув зубы и думая, что вот одним конкурентом меньше. Но, вспомнив, что с ним может случиться то же или еще хуже, пожалел Эйквиста.

Теперь, когда никто больше не летел впереди него и, следовательно, от прочности аппарата, состояния погоды и выносливости самого летчика зависел окончательный успех в состязании, авиатор, пугаясь назойливых представлений, отталкивая их, но этим еще более подчиняясь их власти, увидел себя падающим стремглав, головой вниз. Он и его товарищи постоянно думали о катастрофе. Слово это, соединенное с опасениями, печальной тенью неотступно царило в их душе, укрепляясь частыми газетными сообщениями и слухами;

именно так спит и ходит с мыслью о неурожае крестьянин, отряхивая вечером сошник, а утром выходя во двор смотреть из-под руки небо. Чем больше делал авиатор полетов, чем успешнее, эффективнее и благополучнее совершал он самые рискованные предприятия, тем прочнее сживалась его душа с неотступной печальной тенью.

Когда, совершив полиный круг, мысль о катастрофе заставила авиатора пережить воображением все мелочи безобразной смерти, а аппарат, деловито ревя мотором, неистово рвался в темноту — вдруг обманчиво-близко в дрожащем, светлом тумане заискрились огни города. Авиатор нервно, по-детски рассмеялся, морщась от набегающих слез. Через двадцать, тридцать минут он, первый из пяти, грянет, встревожив воздушным гулом темные улицы, на гигантский аэродром, и звонки телефона дадут знать всем об его прибытии. Авиатор, привстав, повернул руль и затосковал, почти больной от желания сейчас, не бензином, а взрывом мысли очутиться на месте.

Тогда, застучав особенно громкими, неправильными ударами, мотор сделал перебой, остановился, зашипел и стих. Неистовый стук похолодевшего человеческого сердца сменил его. Аппарат умер... С перекошенным внезапной болью страха лицом, летчик, еще не сознавая вполне силы удара, потянул руль, сделав небольшой угол к земле, понял, что падает, и сказал: «Боже мой, что за шутки! Антуанет, Тонечка, ради бога!..» Аэроплан быстро, удерживая равновесие, скользил вниз.

В этот момент, подымаясь на кривую спирали опускающегося аппарата, небольшой шар из разноцветной бумаги, теплая и просвечивая изнутри огоньком восковой свечи, поравнялся с лицом авиатора. Трагическое усилие человеческой воли, созданное из пота, крови и слез, — огромный аппарат — бессильно никнул к земле, игрушка продолжала лететь. Авиатор, подняв руку, ударил с разлета кулаком шар, шар тихо порвался, вспыхнул, сверкнул огненными клочьями и исчез, аппарат же, ломая сучья, шумно упал вниз, среди деревьев, покачнувшись и затрепетав.

Толчок был не силен, но резок. Колени авиатора подскочили вверх, на плечи словно упала тяжесть, зазвенело в ушах; он сидел не шевелясь, с душой, смятой неожиданным ударом судьбы, потом, сутулясь от острой боли в спине, вылез в кусты, шатаясь, подобно животному, оглушенному палицей лесника; зажег дрожащими пальцами электрический дорожный фонарь, увидел среди стволов в белом свете плавники аппарата, сел на землю, обхватил руками колени и застонал.

Переход от бешеного движения к полной неподвижности страшно походил на смерть, на испуг падающего с обрыва жизни в пропасть молчания. Еще минуту назад живой, терзающий лицо воздух, в котором аппарат летел всей тяжестью человека, дерева и железа — стал чужд летчику, недоступен и далек, как ускользнувшая с надменной улыбкой из грубых объятий женщины. Тот воздух, что окружал его на высоте трех аршин от земли, был другим воздухом, папертью, прихожей атмосферы, преддверием голубого бога. Авиатор мог видеть сквозь него, хватать его руками, дышать им; мог подпрыгивать в припадке ярости на высоту аршина, двух, взлезть на дерево и вытянуть руки вверх — он все равно принадлежал теперь неподатливой, крепкой земле; живая связь меж ним и пространством исчезла. Из одного мира он перешел в другой.

Авиатор встал, поднял фонарь над головой, осветил место падения и закрыл глаза. В тот же момент он почувствовал, что отделяется от земли и мчится — это была иллюзия, инерция впечатлений.

Понемногу удар, нарушивший связную душевную жизнь авиатора, стал для него фактом. Удвоив внимание, авиатор приступил к тщательному осмотру машины. Повреждение бросилось ему в глаза не сразу, — он заметил его лишь после нескольких минут торопливой работы. Оно было серьезнее всяких предположений; о починке на месте нечего было и думать.

Летчик стоял с опущенной головой, без шапки. Земля и воздух были одинаково противны ему. Поднеся к губам флягу, висевшую на поясе, Киршин сделал несколько крупных глотков, вспомнил летящих, быть может, близко уже, соперников, и ревнивая, яростная

тоска вырвалась из его груди глухим стоном. Он знал, что надо как можно скорее бежать с прогалины, искать людей и попытаться, если возможно, привести аппарат в годное состояние, но тоска и усталость делали авиатора неподвижным. Он обдумывал положение остальных участников состязания. «Барон может упасть еще раз,— сказал Киршин,— ведь упал же я. И остальные...» Он представлял ряд катастроф, без малейшего сожаления; один за другим, в гневной работе его мысли, подлетая к невидимой запрещающей черте, аппараты, резко шарахаясь, перевортывались и падали.

Ночная сырость проникала в разгоряченную спиртом и движением грудь Киршина; мысли, постепенно возвращаясь к действительности момента, утратили болезненную остроту, сменяясь тем настроением равнодушия, когда сознание безучастно отмечает трепет и боль.

Еще раз осмотрев и тщательно заметив лесную прогалину, в центре которой, как бы сливая с тишиной леса свою внезапную горестную тишину прерванного полета, жался поврежденный аэроплан, летчик, спотыкаясь минут пять в ямах и заросших травой корнях, вышел к безлюдному повороту шоссе. Пахло улегшейся свежей пылью, болотными цветами и хвоей. Ряд деревянных тумб шеренгой выходил из мрака; по обеим сторонам дороги шли ровные канавки, и летчик видел, что предположения его, пожалуй, верны,— он находился в дачном поселке. Летчик шел развалистой походкой человека, отсидевшего ноги; растрепанный, грязный, он произвел бы днем впечатление бездомного шатуна, пропойцы. Навстречу ему шел господин с дамой, куря сигару; дама, эффектно подхватив платье, казалась стройной и молодой, но авиатор остановил их усталым, безразличным движением руки и, заговорив, услышал, как хрипл и слаб его собственный, обыкновенно звонкий голос.

— Будьте добры...— сказал он почти в загылок не сразу остановившемуся господину,— я — авиатор Киршин, я опустился с машиной тут, в лесу... Куда мне, то есть, где бы мне отыскать урядника или кто тут?.. полицию!..

— Ах, ах! — воскликнула дама, и летчик в темноте различил ее вдруг заблестевшие под шляпой глаза,

а господин, выпустив руку дамы, от удивления потерял осанку.

— Ах, ведь мы слышали! — чрезвычайно громко и радостно сказала дама. — Костя, помнишь над головой — как автомобиль... даже страшно! Очень приятно...

— Первый раз в жизни... — ненатуральным, фальшиво взволнованным голосом подхватил господин, — я вижу человека-птицу... извините... так неожиданно...

— Где полиция? — хмуро спросил Кишин.

Дама подошла ближе, он увидел ее красивое, недалекое, простодушное лицо; она чем-то напоминала ему жену, плакавшую вчера от страха.

— Отчего вы упали? Вы ранены? — торопливо спросила дама.

— Передача остановилась, — каменно проговорил летчик, махнул злобно рукой и быстро пошел дальше, оставив позади застывшую от волнения и неловкости пару. Через десять шагов он разразился, дав себе волю, ругательствами и проклятиями. Брань звонко неслась в тишине, будя лес.

Освещенные окна дач блеснули слева и справа, в это время глухой шум, неопределенное гудение воздуха остановило его.

— Что это? — сказал авиатор. Неясное подозрение сжало сердце. С упрямым выражением лица, склонив, как бык, голову, расставив ноги, авиатор стоял, прислушиваясь. Гул рос и определялся, его можно было сравнить с быстрыми, дробными, сливающимися в одно, глухими выстрелами. Летчик, стиснув зубы, заткнул уши пальцами, — он не хотел слышать; стремительный рев мотора бросил его в пот; нагибаясь, как будто летящий над ним аппарат мог разбить ему голову, авиатор побежал изо всех сил к светящимся окнам дач; через мгновение длительный, резкий гул раздался в вышине прямо над головой Кишина, заставил пережить пытку отчаяния, горя, бешенства и, отдалившись, затих. Это летел молодой, совершающий четвертый полет, Савельев.

Подходя к улицам, авиатор внутренне смолк. Теперь, когда не могло быть никакой надежды оказаться первым, возбуждение исчезло, уступив место покойному желанию идти, не думая ни о чем. Особенное, не-

злое воспоминание воскресило Киршину цветной шар-игрушку, светившийся изнутри светом детской елки,— маленький, плывущий вверх, повинувшись несложному физическому закону. В воспоминании этом был смутный оттенок далекого от дел и борьбы спокойствия. А жюри все-таки должно уделить Киршину часть общих призовых сумм...

Подумав это, летчик заметил городского, спокойно подошел к нему и, улыбаясь привычно-рассеянной улыбкой человека, стоящего на виду, объяснил положение...

ПРОХОДНОЙ ДВОР

I

Извозчик Степан Рошин выехал к Николаевскому вокзалу в семь часов утра, встал от подъезда девятым и стал ждать. Сначала, как это всегда бывает перед приходом поезда, подъезд был пуст. Потом, вслед за первой же вынесенной артельщиком картонкой, запрыгали вниз со спин носильщиков тяжелые чемоданы, ящики, портпледы; извозчики засуетились, бодря лошадей и выкрикивая:

— Вот сюда, недорого сvezу, пожалуйста.

Рошину как не повезло при выезде из извозничьего трактира «Пильна», когда он, стукнувшись задним колесом о тумбу, повредил ось и пришлось чинить ее, потеряв час,— так и теперь не повезло. Вокруг него, подпрыгивая в колясках, один за другим ехали в гущу городских улиц обложившиеся вещами приехавшие господа, а с той стороны подъезда, где стоял он, извозчиков брали все время так капризно и туго, что разъезд стал редеть, а Рошин все еще стоял третьим по очереди. Подходили не в очередь и к нему, да все шантрапа нестоящая: один рядил в Гавань за рубль и, сторговавшись, полез в кошелек, после чего сказал, рассмотрев деньги:

— Нет, восемь гривен, больше не дам.

Рошин вспылал, но промолчал; ругаться не позволяют, и, кроме того, городовые номер записывают, а после в участке нагайкой, а то штраф или номерную жестянку отберут.

Этот восьмигривенный отошел, носильщик, бросив Рошину на сиденье чемодан какого-то старика в крылатке, уже сказал адрес, но ничего не вышло, барин другого нанял, и чемодан сняли. А два раза было так, что Рошин сам заупрямился, не хотел дешево ехать, потом слышал, как другим те же господа больше дали, уселись и покатили.

Рошин был извозчик невидный, непредставительный, сутуловатый, с красными от болезни глазами, сидел он на козлах как-то не крепко, горбом, и лошадь у него была пегая, маленькая, мохноногая, грязная, с большой головой на тощей шее; словом, прохожий, видя Рошина в тылу какого-нибудь орловского или ярославского парня, с глазами навывкате и крутой грудью, думал: «Старый хрен, повезет плохо да еще ворчать будет, возьму пригожего Ваньку». По этому ли всему или потому, что неудачливые дни бывают у всякого человека, Рошин от вокзала поехал порожняком. «На Знаменской стать, — подумал Рошин, — или еще туда на Фурштатскую или Шпалерную, трамвай не грохотнет, нет-нет, да и клюнет какой, не все господская шантрапа».

II

Постояв на углах и у подъездов попроще, откуда не гоняли швейцары, Рошин, вздохнув, тронул к Летнему саду. У Рошина вчера была неполная выручка, своих сорок копеек доложить хозяину пришлось, так что сегодня рубля четыре непременно добыть было бы надо.

«Незадача», — подумал Рошин, когда в пятый, шестой раз барин из «самостоятельных», пройдя мимо Степана, взял поодаль стоящего извозчика по набережной, меж поплавком и Летним.

Все время мчались извозчики; окидывая привычным взглядом восседающих в колясках господ, Рошин механически отмечал про себя: «Этот — сорок копеек, с бородой — шесть гривен, девчонка — за двадцать».

Солнце поднялось выше, наряднее, гуще и суетливее

пошла уличная толпа, стало пыльно и жарко, а за Невой, в крепости, прозвонили куранты.

«Никак десять,— вздохнул Рошин,— и никогда же не бывало такого, господи упаси».

Прислушавшись, стал он считать и насчитал одиннадцать колокольных ударов.

— Одиннадцать,— сказал Рошин, почесывая затылок,— копейки не заработал.

Досадливое, томительное беспокойство овладело им. Оглядываясь по сторонам и с ненавистью конкурента сплевывая вслед фыркающим щеголеватым моторам, Рошин, степенно похлестывая лошадь, выехал к Марсову полю, обогнул его, свернул на Моховую, остановился и, загнув полу армяка, вытащил шерстяной кисет.

— Вот,— пробормотал он, закуривая,— какие дела, без почина.

Студент шел по тротуару, зевая и щурясь. Рошин спохватился, удачная от неудач мысль пришла ему в голову:

— Садитесь, ваше степенство,— сказал он,— вот провезу.

— Денег нет.

— А без денег. Для почину, куда прикажете.

— Нет, не хочу,— подумав и уходя сказал студент,— некуда торопиться.

«Черт, вот черт,— подумал Рошин,— известно, с анбицией».

Он стал размышлять о сущности и естестве жизни господской. А господ видел Рошин на своем веку много, во всем городе, почитай, половина господ, и никак ума не приложишь, чем эти господа существуют. Конечно, банки, конторы, присутственные места и все такое, там эти господа и сидят. С другой же стороны, господ как будто несоизмеримое множество. Одет в сюртучок, манишку, сапоги чищены и взгляд строгий — господин, иначе не назовешь, а чем он промышляет...

— И вот сколько в Питере бар,— сказал Рошин,— так и во все конторы не втиснешь. Ан, втиснешь. Нет, не упоместятся,— сказал, вздохнув, он,— а чем живут, поди же ты, все господа...

Через полчаса затосковал Рошин о седоке так крепко, что дернул со злости вожжами, и лошадь, испуганно вздрогнув всем телом, стала грызть удила.

— Извозчик! — крикнули с тротуара.

— Я-с... вот-с,— стремительно отозвался Рошин, перегибаясь с козел, и даже просиял: перед ним, одетый с иголки, молодой, краснощекий здоровяк-барин помахивал нетерпеливо тросточкой.

— По часам,— сказал барин,— согласен?

— Хорошо-с, рублик-с,— угодливо сказал Рошин,— а долго прикажете ездить?

— Там увидим.

Барин вскочил, уселся и закричал:

— Ну, пошел живо на Сергиевскую.

Рошин снял шапку, торопливо перекрестился, дернул вожжами, и в тот же момент пушечный гулкий удар раскатился над городом.

«Двенадцать,— подумал Рошин,— только бы сидел, да ездил, а пятерку я выстребую».

Седок был человек молодой, здоровый, с высоким лбом, безусый, с серыми, близорукими, часто мигающими глазами.

На Сергиевской остановились чуть-чуть; барин подбежал к швейцару и спросил что-то, на что, высокомерно дернув вверх головой, швейцар сказал:

— Никак нет-с. Выехали.

— А куда?

— Это нам неизвестно.

— Но, поймите же...— начал седок и вдруг, как бы спохватившись, отошел, вытирая платком лоб

«Нет, поездишь»,— подумал Рошин.

Седок стоял на тротуаре, опустив голову, затем сел.

— Невский, угол Морской,— сказал он в раздумьи и тотчас же крикнул: — Нет-нет, пошел на Лиговку, да живее, смотри, номер двести тридцатый!

«Эка хватил»,— подумал Рошин, послушно завернул и помчался. Отстоявшаяся лошадь бежала бойко, но по часам торопиться невыгодно, и Степан пустил ее коночным шагом.

— Извозчик, живее! — крикнул за спиною Рошина барин.

Рошин прибавил рыси. Через полчаса подъехали к месту, барин, соскочив на ходу, скрылся в подъезде и вышел минут через десять сердитый, злым голосом говоря:

— Гороховая, 16.

С Гороховой же заехали еще неподалеку — на Офицерскую, Вознесенский, и везде барин проводил времени пять — десять минут, выходя все более усталый и бледный, и уже не торопил Рощина, а спокойно говорил:

— Извозчик, поезжай теперь туда и туда.

К трем остановились у Английской набережной, и седок не выходил с полчаса. Кроме Рощина, у подъезда стояли еще извозчики, один знакомый, Сидоров. Сидоров спросил:

— Кого возишь?

— А кто знает, сел по часам, рубль за час.

— Давно?

— Трешку наездил.

— А не удерет? — зевнул Сидоров. — Намедни возил я одного шарлатана, бродягу, да у Пяти Углов его и след простыл, из магазина выскочил, я и не видал, когда.

— Ну, — сказал Рощин, — видать, ведь... — Прибавил: — А черт его знает.

Поддаваясь невольному беспокойству, он стал смотреть на ворота, не выйдет ли седок в ворота с целью удрать, но в этот момент он вышел из подъезда и, по рассеянности, стал садиться на другого извозчика.

— Сюда, сюда, барин! — крикнул Рощин. — Куда ехать?

— Куда ехать, — повторил седок.

Рощин передернул плечами и усмехнулся: чудной барин.

— Ты поезжай шагом, — торопливо заговорил седок, — тихонько поезжай, я тебе скажу.

— Слушаюсь, — лениво и уже с оттенком пренебрежения ответил Рощин.

Он проехал три фонарных столба, думая: «А кого посадил? Попросить бы расчёту, да в сторону, вдруг удерет? Лошадь запыхалась и самому чаю охота». Но, подумав так, вспомнил, что два целковых еще взять хорошо. Было в унылом лице седока, в нерешительных движениях его и в голосе что-то возбуждающее сомнение. Много таких есть, ездят, а за деньгами потом на другой день просят приехать.

— Что же теперь будет? — тихо, говоря, по-видимому, сам с собой, неожиданно сказал седок. — Да... — прибавил он и замолчал.

Рошин подозрительно оглянулся.

— Это насчет чего? — спросил он. — Адрес изволите?

Седок не ответил, он вдруг выскочил из коляски и бросился стремглав к тротуару. Рошин замер от удивления, барин же остановил какую-то барышню из молодых, стал трясти ей руку и заговорил, а она поспешно отошла от него, вскрикнув, тяжело дыша и блестя глазами. Рошин подъехал шажком ближе, но уже ничего не услышал, разговор кончился. Барышня, не оглядываясь, поспешно шла вперед, а седок, махнув рукой, остался стоять. Наконец, повернулся он к Рошину разгоревшимся лицом и стал улыбаться, смотря прямо извозчику в глаза так, как слепые улыбаются наугад, — в какую попало сторону.

«То ли пьян, то ли как не в своем уме», — подумал Рошин и, закрихтев, сказал:

— Ехать изволите?

— Да, — стремительно ответил барин, сел и, поворочавшись беспокойно, сказал:

— Ты вот что... да... на Караванную. Ты не торопись.

«Этот конец доеду, — подумал Рошин. — Рубля четыре вымотаю. Удерет он, сердце у меня за него болит. За деньги свои вроде как он заездился. Пушай пока что».

Лошадь трусила мелко, понурясь, Рошин вздремнул. За спиной было тихо, седок больше не проронил ни слова, только на углу Невского сказал:

— Куда ты? Направо держи.

Рошин очнулся. Сверкнул раскаленный, жаркий Невский. Белые карнизы окон бросали скудную тень. Взад и вперед мчались извозчики, и в лице каждого седока Рошин читал: полтинник, тридцать, четвертак, рубль.

— Вот и приехали, — глухо, как бы присмирив весь, сказал седок. Он слез, медленно говоря:

— Ты подожди, я, может, еще поеду.

— А деньги, барин, коли не поедете? — беспокойно спросил Рошин. — Четыре рублика.

— Да, деньги.

Барин полез в карман, порылся в кошельке, и Рошин заметил, что он еле приметно покачал головой.

— Сейчас, может быть...— Седок быстро повернулся и зашел в магазин.

«Не удерет,— подумал Рошин,— из магазина-то как»,— и, покосившись на ворота, у которых остановился, вспомнил, что это и есть тот самый проходной двор, куда месяц тому назад скрылся господин, по виду вполне порядочный. Снова тревога овладела извозчиком. «Да ведь не во двор зашел,— успокаивал он себя,— из магазина сквозь стену не пролезешь!»

Рошин закурил, вспоминая прежние удачные дни и мечтая о будущих.

«Вот хорошо провезти рублика за два с барышней на стрелку, а оттуда в ресторанчик да за простой — рубль, да махнуть в «Аквариум» или «Олимпию», а поутру на тони. И все бы так подряд, до утра. Десятка уж тут как тут». Вспоминались ему швыряющие деньгами пьяные котелки, манишки грудастые, пальцы с перстнями. «Это все есть, не уйдет». Рошин повеселел, выпрямился и вдруг увидел, как из магазина, куда зашел седок, выскочил, махая руками, приказчик, тут же собралась кучка народа и, расправляя усы, устремился к магазину городской.

Рошин не успел тронуть вожжами, чтобы подъехать и расспросить в чем дело, как из толпы закричали:

— Извозчик!

Недоуменно мигая, приблизился он к толпе и остановился.

— В больницу повезешь. Эй,— крикнул городской, пятясь задом, и что-то с усилием вынес из дверей; ему помогал приказчик.

Рошин вздрогнул, похолодел и перекрестился. На руках приказчика и городского висел, согнувшись, повернув набок окровавленное лицо, седок.

— Тут же леворвер купил,— сочувственно сказал дворник на вопрос любопытного прохожего,— оружейный магазин это.

— Господин городской...— затосковав, сказал Рошин,— а кто мне деньги — четыре я рубля выездил, пропадут, што ль? А за больницу-то?

— Ты поразговаривай,— мстительно прошипел городской,— я тебе дам,— и, повернувшись к толпе, крикнул:

— Расходись, чего не видали!

В коляску, торопясь, укладывали мертвого седока; обхватив труп рукой, сел полицейский, сказав неизвестно кому:

— Череп навывлет, тут доктора известные — гроб да земля.

Еще не опомнившийся от случившегося, Рошин машинально дернул вожжами, бормоча вполголоса:

— В больнице продержут, пропал день; барина, оно, конечно, жалко, да своя ближе рубашка к телу, уж просить буду, чтоб обыскали, деньги пускай дадут. Подождал бы стреляться-то, — сказал он, подумав, — или на леворверт денег тебе не хватило?

И, озлясь, больно стегнул лошадь.

ГРАНЬКА И ЕГО СЫН

I

Щучий жор достиг своего зенита, когда Гранька, работая кормовым веслом, обогнул излучину озера, время от времени вытаскивая на прыгающей, как струна, лесе хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией, то есть оловянной блесной. Гранька глушил рыбу деревянной черпалкой, бросал на дно лодки, где в мутной луже, черневшая серебром, змеилась гора щук, больших и маленьких; осматривал бечевку с блесной и гнал лодку дальше, пока леса, резнув руку, не телеграфировала из-под воды, что новая добыча проглотила крючок.

Внешность мужика Граньки не заключала в себе ничего мальчишеского, как можно было бы думать по уменьшительному его имени. Волосатый, с голой, коричневой от загара и грязи грудью, босой, без шапки, одетый в пестрядинную рубаху и такие же коротенькие штаны, он сильно напоминал заматерелого в ремесле нищего. Мутные, больные от блеска воды и снега глаза его приобрели к старости выражение подозрительной нелюдимости. Гранька бежал к озерам тридцати лет, после пожара, от которого благодаря охотничьей страсти ему удалось лишь сохранить самолет да пару удилищ. Жена Граньки ранее того опилась молоком и умер-

ла, а сын, твердо сказав отцу: «С тобой либо пропасть, либо чертей тешить, не обессудь, тятя»,— ушел в губернию двенадцатилетним мальчишкой в парикмахерскую Костанжогло, а оттуда скрылся неизвестно куда, ставши бритву.

Гранька, как настоящий язычник, верил в бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями видел еще множество богов темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, был воплощением дьявольского и божественного начала. смотря по тому,— был ли ясный весенний день или страшная осенняя ночь. Белая лошадь-оборотень часто дразнила его хвостом, но, пользуясь сумерками леса, превращалась на расстоянии десяти шагов в березовый пенек и белую моховую лужайку. Ловя рыбу, мужик знал очень хорошо, почему иногда, в безветрие, ходунком ходит камыш, а окуни выскакивают наверх. Гранька жил при озере двадцать лет, продавая рыбу в базарные дни у городской церкви, где бесчисленные полудикие собаки хватают мясо с лотков, а бабы, таская в расписных туесах сметану, размещивают ее пальцем, любезно предлагая захожему чинивнику попробовать, пока не облизала палец сама.

Тусклый предвечерний туман с красным ядром солнца над лесистыми островами скрыл водяную даль, погнав Граньку к избе. Промысловая изба его стояла на болотистом, утопанном городскими охотниками мыску, в грандиозной панораме лесных трущоб, островов и водяных просторов, зеленых от саженого тростника; избу трудно было заметить неопытным в этих местах глазом. Выезжая к избе, Гранька через камни увидел оглобли и передок телеги, тут же мотался хвост скрытой кустами лошади. На темном фоне сосновых холмов штопором извивался дымок.

— Стрелки, добытки, лешего же, прости господи,— зашипел старик, отталкивая веслом сплошной бархат хвоща, задерживавшего ход лодки. Гранька ожидал встретить кого-нибудь из городских лавочников или чиновников, наезжавших к озеру с ночевкой, водкой и даже девицами из обедневших мещан. Озерной и лесной дичи в этом месте хватило бы на целую роту, но охотники, расстреляв множество патронов, обыкновенно уез-

жали с жалостной и малой добычей, всадив на прощанье в бревенчатые стены избы фунта два дрови, «в цель», как они выражались, немилосердно хвастаясь своими «скоттами» и «лепажами».

Старик, вытащив из лодки сваленных в мешок щук и недружелюбно щурясь на дым, подошел к избе. Черная, с низкой крышей лачуга безмолвствовала, людей не было видно, рыжая лошадь, измученная комарами, вздрагивая худым крупом, жевала сено.

— Одер-то Агафьина, а кого приволок,— сказал Гранька, входя, согнувшись пополам, в квадратную дверь зимовки. Щелевидные окна еле намечались в густой тьме, пахло сырым сеном и кислым хлебом, звонкое полчище ужасных северных комаров оглашало темное помещение заунывным нытьем. Старик ощупал лавки и углы, здесь тоже никого не было.

Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прелестными, дикими сумерками. Комары струнили над землей и водой; над островерхим мысом струился еще бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, и берегом, за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин-облаков, что и над головой, тот же опрокинутый берег, а у тростника — дном ко дну две лодки с одинаково торчащими веслами.

Сырее стал воздух, сильнее запахло дымом пополам с тиной. Гранька осмотрел телегу; на ней, в сене, чернела шомпольная одностволка Агафьина. Задняя ось носила заметные следы придорожных пней, чека у левого колеса была сбита и укреплена ржавым гвоздем.

— По оврагам у железных ворот перся,— сказал Гранька,— напрямки ехал, а один сам. Накося!

Он подошел к выставленному перед зимовкой столу, вынул из мешка скользких щурят, выпотрошил их пальцем и бросил в котелок, подвешенный на проволочном крючке меж двух наклонно забитых кольев, и, тщательно охраняя в пригоршне спичку, развел потухший костер, затем, почесав спину, сел на скамью.

Из кустов вышел Агафьин, волоча весла, скорым шагом, прихрамывая, пересек мысок и бросил весла к избе.

— Бабылину лодку прятал,— сказал он,— просил Бабылин. Изгадят, говорит, лодку мне утошники-те, на дарма ездят, рады.

Мужики помолчали.

— Кого привез? — таким тоном, как будто продолжал давно начатый разговор, спросил Гранька.

Агафьин хлопнул руками о колени, тряся бородой у самого лица Граньки, привстал, сел и стал кричать, как глухому, радостно скаля зубы:

— Сын твой, Мишка-то, а сына-то забыл, нет, сын-от твой, Михайло, рассказываю, тут он, ась?! В чистоте приехал, в богатстве, земляк мой ведь он, а! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе!

Гранька беспомощно замигал, выражение загнанности и недоумения появилось у него на лице.

— Будет же врать-то,— испуганно сказал он,— Мишка, поди, померши, давно ведь он... это.

— Да тебе рассказываю,— снова закричал, волнуясь, Агафьин,— на пароходе он прикатил, утресь; а я, вишь, дрова возил, а с палубы, вишь, на вольном воздухе кон сидели чаевали, кричит — «подь сюда», — я, значит, то самое — «здрасте», а он на тебя, — «батя, — говорит, — жив, ай нет?» И обсказал, а я поленицу развалил, да единым духом, свидеться, значит, ему охота, на чай рупь дал, нако!

Гранька прищурился на котелок, где, толкаясь в крутом кипятке, разваривались щурята. Есть ему не хотелось. Он мысленно увидел сына таким, каким запомнил: волосатый, веснушчатый, с пальцем в носу, с умными и упрямыми глазами, встал между ним и костром призрака родной крови.

— Экое дело,— сказал он дребезжащим голосом, пихая ногой к огню полено,— ишь, старые змеи, объявился когда, да ты по совести — врешь или нет? — Он жестоко воззрился на Агафьина, но в лице мужика ясно отражался переполошивший всю деревню факт. — Да ты чего сел-то, — умиленно вскричал Гранька, — завести Дуньку в оглобли. Поехали, право, поехали, а?

Старик схватил лапти, висевшие на одном гвозде с распяленной для сушки шкурой гагары, стал мотать онучи, ухитрился в двух шагах потерять лапоть и, наступив на него, искать.

За мысом, мелькая в черных вершинах сосен и деловито крякая, неслись утки.

II

Агафьин смотрел на Граньку, силясь уразуметь, куда собрался старик, и, смекнув, что тот, не поняв его, рвется в деревню, сказал:

— Тут он, со мной приехал.

— Игде? — спросил Гранька, роняя лапоть.

— Палочку состругнуть пошел, тросточку. Скучая, полштоф вина выпили с ним.

Из леса, дымя папиросой, показался человек в городском костюме. Завидев мужиков, он пошел быстрее и через минуту, прищурившись, с улыбкой смотрел вплотную на старика Граньку.

— Вот и я, — сказал он, неловко обнимая отца.

Гранька, вытерев о штаны руки, прижал их к карманам сына и прослезился.

— Миш, а Миш, — бормотал он, — приехал, значит.

— А то как же... — громко, отступая, сказал Михаил. — Дай-ка я посмотрю на тебя, старик, — он обошел вокруг Граньки кругом, паясничая, подмигивая Агафьину, и стал серьезен. — Настоящие мошси, неистребимые. Как живешь?

— Маненько живу, мать-то померла, знаешь?

— Должно быть. Старуха была. — Михаил положил руку на плечо Граньке. — Ну сядем.

Агафьин снял котелок и чайник, поставил на стол чашки и пестерек с сахаром. Отец с сыном сидели друг против друга.

Гранька не узнавал сына. От прежнего Мишки остались лишь вихор да веснушки; борода, усы, возмужалость, серый городской костюм делали сына чужим.

— Везде я был, — жуя сахар, рассказывал Михаил

Агафьин не сводил с него крупных, восторженных глаз, твердя, в паузах, бойко и льстиво: — Ишь ты. Дела, брат, первый сорт. Эх куры — петушки.

— Был везде. Последние два года прожил в Москве; там и жена моя; женился. Поступил в пивной склад заведующим. Жалованье, квартира, отопление, керосин.

Он сломал крепкую, как железо, баранку, выпил налитый Агафьиным пузатый стаканчик водки, поддел пальцем из котелка щуренка и отсосал ему голову.

Сидел, двигал руками и говорил он просто, но не по-мужицки. Но и тону не задавал, а, видимо, вел себя — как привык. Рыбу он тоже ел пальцами, но как-то умелее. Гранька и Агафьин преувеличенно внимательно слушали его, тряся головами, поддакивая напряженно и счастливо. Он же, попивая из чайника дымный чай, расставив на столе локти, а под столом ноги, рассказывал историю хмурого и смекалистого парнюги, ставшего для деревни барином, «своим из чистых».

Взошла луна и стало еще светлее, мертвенный день без солнца остался над покоем озер. Уныло звенели комары; в земляной яме, треща красными искрами, дымилась головни; у берега, разводя круги, плюхалась от щуки рыбная мелочь, а лесистые острова, холмы стали чернее, строже, глубже тянулись опрокинутые двойники их в чистую сталь озер. Озаренная луной, спала земля.

— Жить буду у тебя, тятя,— сказал вдруг Михаил. Мужики опустили блюдечки, раскрыв рты.— Вот так, хочу жить при тебе. Не прогонишь? — Он засмеялся и закурил папиросу, а Агафьин, подхватив уголек рукой, сунул ему.— С тем и приехал.

— Поди-ко,— сказал Гранька,— ублестишь тебя ноне.

— А что ты думаешь,— Михаил засмеялся.— Пора пришла, старик, нажился я. Действительно, вышел я в люди и все такое. Сперва пятьсот получал, теперь тысячу. Венская стоит мебель, граммофон купил дорогой, играет. Приказчики шапки ломают, а я им к праздничку на чаек даю. А какой смысл? Далее для чего мне работать, хозяину вперед забежать, на ломовых горло драть. Вышел я, верно, что говорить, человеком стал. А за каким с..... с.....м мне этим человеком по земле маяться? Собаке, брат, лучше. У меня собака есть, пуделек, ей блох чешут, ей-ей. Ну,— тоскливо мне, проку из меня настоящего мало, махнул к тебе, подрезвиться хочу, закис, и, видишь ли ты, пью, ей-богу... как пьют — в кабаках знают. Думаешь — вышел в люди — рай небесный. Вопросы появляются.

— Миш, а Миш,— забормотал Гранька,— ты не мог. Против своей жизни не мог.

— Михайло,— сказал Агафьин, хватая рукой бороду,— обскажи, на меркуны, слышь, на Москве из трубок глядят, господа не боятся.

Михаил рассеянно посмотрел на него, но уловил смысл вопроса.

— Это телескоп,— сказал он.— Смотрят, как звезды ходят.

— Вот то самое,— подхватил Агафьин.

— Ну, завтра поговорим,— сказал Михаил.— Положи меня, старик, дай вздохнуть.

Он осмотрелся. Ночевье не изменилось, камыш, вода и избушка были на старом месте.

Все трое легли спать на старых мешках, от которых еще пахло мукой. Агафьин подбросил сена, а Гранька вынес зипуны. Еще поговорили о земляках, рыбе, Москве. Наконец, Агафьин уснул, храпя во все горло. Старик и сын, словно по уговору, сели. Обоим не спалось в духоте ночи, впечатлений и дум.

— Да, буду здесь жить,— громко сказал Михайло — Как ехал — мало об том думал. Приехал — вижу, место нашел себе. И спокойнее.

— Живи,—сказал Гранька,— рыбу ловить будем.

— И деньги есть.

— Утрешь рачни посмотрим. Сколь тебе годов-то теперь, Миш?

— От твоих тридцать долой, только и есть.

Укладываясь, оба думали и заснули, подобрав ноги.

ТРИ ПОХОЖДЕНИЯ ЭХМЫ

I

БЕЛЫЙ ЖЕРЕБЕЦ

Я читал Понсон-дю-Террайля, Конан-Дойля, Буагобэ, Уилки Коллинза и многих других. Замечательные похождения сыщиков произвели на меня сильное впечатление. Из них я впервые узнал, что настоящий человек — это сыщик. В это время я жил на очень глухой улице, в седьмом этаже. Моя пища, подобно пище Эмиля Золя во дни бедствий, состояла из хлеба и масла, а костюм, как у Беранже, из старого фрака и солдатских

штанов с лампасами. Из моего окна виднелось туманное море крыш.

Однажды, переходя мост, я решил сделаться сыщиком. Как раз на этих днях из конюшни графа Соливари была уведена лошадь ценой в пятьдесят тысяч рублей. Это был белый, как молоко, жеребец. Никто не мог напасть на след похитителей, и граф Соливари объявил путем газет премию в 10 000 рублей тому, кто отыщет знаменитого скакуна. Зная, что я, Эхма, не обделен от природы умом, я решил на свой риск и страх осчастливить себя и графа.

Чтобы не ошибиться в методе розыска, я еще раз внимательно перечитал всего Конан-Дойля. Знаменитый бытописатель рекомендовал дедуктивное умозаключение. Но я рассуждал так: жеребец не иголка, не какая-нибудь Джюконда, которую можно свернуть в трубку и сунуть в валторну, а также не Гейсмар и Далматов, требующие почтительного наблюдения. Жеребец — это лошадь, которую не так-то легко спрятать, а если ее не нашли, то лишь потому, что за дело взялись глупцы.

Очень долго все мои старания были напрасны. Недели три я посещал цирки, конные заводы и цыганские таборы, но безрезультатно. Наконец, в один прекрасный день, я, проходя окраиной города, увидел в стороне от шоссе огороженное забором место. Забор был сделан из ровных, поставленных вертикально, высоких досок; доска от доски отделялась очень узкой, как шнурок, щелью, что произошло, вероятно, вследствие высыхания дерева. И вот за этим забором я услышал голоса людей, шаги, топот и ржание.

Думая только о лошади, я инстинктивно вздрогнул. Первой моей мыслью было влезть на забор и посмотреть, что там делается, но я тотчас сообразил, что злоумышленники, если они действительно находятся за забором, увидев меня, примут нежелательные и враждебные меры. Но увидеть, что делается в огороженном месте, не было никакой возможности. Напрасно я искал дырок, их не было, и не было инструмента, чтобы просверлить дыру, а в узкие щели почти ничего не было видно. Что-то происходило не далее десяти шагов от забора. Наконец, в одну из щелей я увидел белую шерсть лошади. Желая осмотреть ее всю, хотя бы по частям, я посмотрел в другую щель, досок через десять от первой щели,

но тут, к величайшему изумлению, увидел черную шерсть. Тогда меня осенила мысль, достойная Галилея. Я применил принцип кинематографа. Отойдя от забора шагов на шесть, я принялся быстро бегать взад и вперед с удивительной скоростью, смотря на забор неподвижными глазами; отдельные перспективы щелей слились и получилась следующая мелькающая картина: жеребец Соливари стоял, как вкопанный, а два вора красили его в черный цвет из ведра с краской: весь зад жеребца был черный, а перед — белый...

Я вызвал по телефону полицию и арестовал конокрадов, а граф Соливари, плача от радости, вручил мне десять тысяч рублей.

II

СТРЕЛА АМУРА

Разбогатев, я захотел жениться. Неподалеку от меня жила артистка театра «Веселый дом», очень своенравная и красивая женщина. Она презирала мужчин и никогда не имела любовников. Я влюбился по уши и стал размышлять, как овладеть неприступным сердцем.

Заметив, когда обольстительная Виолетта уходит из дому, я подобрал ключ к ее двери и вечером, пока артистка была в театре, проник в ее спальню, залез под кровать и стал ждать возвращения преместной хозяйки. Она вернулась довольно поздно, так что от неудобного положения я успел отлежать ногу. Виолетта, позвав горничную, разделась и осталась одна; сидя перед зеркалом, красавица с улыбкой рассматривала свое полуобнаженное отражение, а я скрипел зубами от страсти; наконец, набравшись решимости, я выполз из-под кровати и упал к ногам обнаженной Виолетты.

— О боже! — вскричала она, дрожа от страха, — кто вы, милостивый государь, и как попали сюда?

— Не бойтесь... — сказал я. — Вы видите перед собою несчастного, которому одна дорога — самоубийство. Моя фамилия Эхма. Давно, пылко и пламенно я люблю вас, и если вы откажетесь быть моей женой, я пробью себе грудь вот этим кинжалом.

Виолетта, заметив, что я действительно размахиваю дамасским кинжалом, вскочила и звонко расхохоталась.

— Кто бы вы ни были,— сказала она,— и как бы вы ни страдали, я могу лишь вас попросить выйти отсюда. Убивая себя, вы будете десятым по счету сумасшедшим, а я держала пари, что набью десяток. Ну, режьтесь!

Видя, что угрозы не действуют, я переменял тактику.

— Я сделаю,— воскликнул я,— сделаю вас очень богатой женщиной! Я засыплю вас золотом, бриллиантами и жемчугом! Ваш каприз будет для меня законом!

— Я честная девушка,— сказала розовая прелестница,— и не продаюсь. А любить мужчину я не могу, они мне противны.

— Сокровище мое,— возразил я, уступая, как всегда в критических случаях, непосредственному вдохновению,— если я сделаюсь вашим мужем, то это будет самый необыкновенный на свете муж. Вы будете гордиться мной. Вы не подозреваете даже, каков я...

— А! — сказала заинтересованная Виолетта, кушая персик.— А что именно?

— Вы не поверите.

— Говорите, я вам приказываю!

— Но...

— Он еще разговаривает! Вы же сами твердили, что мой каприз — закон!

— Я...

— Ну?!

— У меня,— надменно и торжественно сказал я.— кожа полосатая, как у зебры, поэтому я вправе считать себя необыкновенным человеком.

Красавица рассердилась. Затем удивилась и долго смотрела на меня пылающими от любопытства глазами, а я, подбоченясь, не спускал с нее глаз.

Разумеется, ей было неловко просить меня показать кожу, и она, чтобы видеть занятную игру природы, вышла в скором времени за меня замуж. К моему великому удивлению, она заплатила мне за обман тем, что родила в первый же год мулата.

— Обман за обман,— сказала она, и я проглотил пилюлю.

III

ПОЛЕТ МИНИСТРА

Лет через десять произошло событие, окончательно упрочившее мою карьеру. Я стал инспектором тайной полиции. Это случилось таким образом.

Министр иностранных дел вскоре после своего назначения искал популярности и стал поощрять искусства, спорт, садоводство и все, чем интересуется широкая публика. Желая часто видеть свои фотографии в газетах и журналах, министр подымался на воздушном шаре, плавал на подводной лодке, а однажды захотел полетать на аэроплане.

Авиатор Клермон, бравый красавец, с орлиным взглядом и начинающими уже расти на голове вместо волос перьями, выкатил при огромном стечении публики свой победоносный Фарман и усадил меня с министром (я сопровождал министра на случай крушения).

Когда мы поднялись и полетели, я, к ужасу своему, заметил, что Клермон пьян. Он громко распевал неприличные песни, клевал носом и поносил республику, а кроме того, управлял аппаратом так, что нам ежеминутно грозила опасность ринуться с высоты тысячи метров вниз.

Министр, бледный как смерть, нюхал английскую соль.

Однако моя находчивость спасла всех. Выждав, когда Клермон начал делать отчаянные крутые виражи, я крикнул:

— Клермон!

Он повернулся, а я, сорвав с груди орден Почетного Легиона, помахал им перед носом пьяного авиатора; он протрезвился и кивнул головой. Некоторое время все шло прекрасно.

Тогда, не желая ослаблять впечатления, я спрятал орден, показывая его Клермону лишь в критические минуты, и мы таким образом благополучно спустились на землю.

За свои заслуги, как я уже сказал, я был сделан инспектором тайной полиции, а Клермон получил от министра орден.

Расскажу еще, как (это было в августе) я имел случай наглядно вспомнить о всех этих моих самых выдающихся приключениях.

Я шел по Сен-Антуанскому предместью. Мне нужно было накрыть шайку апашей.

Вдруг я увидел чудесного белого жеребца Соливари под персидским бирюзовым седлом; на жеребце сидел граф, рядом с ним, тоже верхом, на гнедой кобыле, ехала моя жена, нежно улыбаясь величественному лицу графа, а сзади на велосипеде перебирал ногами авиатор Клермон с ленточкой Почетного Легиона в петлице.

— Мой милый,— сказала Виолетта Клермону,— я назначаю вам среду и пятницу, а вам, граф, понедельник и четверг.

— Куда же вы девали,— хмуро сказал граф,— воскресенье, вторник и субботу?

— Суббота, пожалуй, мужу, а вторник и воскресенье — моему бедному негру.

После этого я долго стоял на углу, кормил голубей и плакал, по чину, тайными слезами.

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

I

«Набело и начерно! Набело и начерно!» — твердил, подперев голову руками, Фаворский; элегически пьяный, он чувствовал себя несокрушимой силой, гением, озаренным молниями. Перед ним стояли треска с луком, лекарство из казенной винной лавки и зеленые пивные бутылки, в которых, подобно лесному солнцу, сверкало трактирное электричество.

— Начерно — это что я в душе пережил и переживаю,— бормотал Фаворский,— это, следовательно, мои мысли. А набело — мысль, воплощенная в жизнь. Сама жизнь. Жизнь, сотворенная властной волей Фаворского. Эх! — вскричал он, тяжело осматривая трактирный зал, где у потолка, чихая от табачного дыма, отчаянно заливался больной жаворонок,— да,— царит пошлость здесь,

на земле, и в пошлости этой я, пленный жаворонок... томлюсь!

— А сколько сегодня градусов? — услышал он неожиданно обращенный к нему вопрос с соседнего столика.

Фаворский высокомерно повернул голову. Пухлые, смеющиеся глаза на кирпично-красном лице, бесцеремонно подмигивая и усмехаясь, рассматривали Фаворского. Спросивший был одет в теплый меховой пиджак, шарф и валенки. Усы и бороденка этого человека были как бы между прочим; казалось, что и без них лицо останется тем же язвительно-благодушным, крепким и пожилым.

— Я вижу, — презрительно сказал Фаворский, — что вы отсюда же.

— То есть? Что-то я...

— Из мира пошлости.

— Это что я насчет градусов-то спросил?

— Оно самое.

— Хм! Меня зовут Чугунов, — медленно, в при-
скорбном раздумьи, произнес человек в валенках, — да,
Чугунов моя фамилия. Сорок лет я живу на сей юдоли,
а такого чудака, как вы, папаша, еще не видывал.

— Разве вы не понимаете, — горячо заговорил
хмельной Фаворский, — что градусы — пошлость, не
нужны вам? Теплее вам будет или холоднее, если
узнаете? Нисколько.

— Как смотреть, милый.

— Ну и смотрите.

Фаворский отвернулся. Навязчивый Чугунов был ему противен и жалок, являя собою темную каплю мешанского моря, из хлябей которого тянулся в горную высь двадцать семь лет сын кладбищенского дьячка Фаворский. Вино и слезы бушевали в его груди. Пьяный, он никогда не сомневался в том, что ему суждено свершить нечто великое, изумительное, громopodobное. Но что? Семнадцати лет выгнали его из семинарии за непочтение к Авессалому, которому гласно, при экзаменаторах, советовал он задним числом не болтаться, уцепившись волосами за дерево, а отсечь мечом шею и бежать. Фаворский был поочередно поэтом, романистом, изобретателем и, вместе с тем, кормился черной канцелярской работой присутственных мест. Его гнали

из редакций, смеясь в лицо; модель летательной машины, построенная им с помощью клея и ножниц из картона, валялась на чердаке, после постыдных мытарств среди серьезных людей; его картину «Страшный суд», на которой был изображен дьявол в виде орангутанга, хворающего желудком, давно использовали пауки одной из лавок толкучего рынка, куда, по цене рамы, за полтора рубля продал ее Фаворский бойкому костромичу. Жил этот странный, с бледной, как тень, жизнью, человек пылким восторгом перед величием великих мира сего; с их светлой и трагической высоты смотрел он на все, кроме себя.

— Мусью! — сказал Чугунов. — Обиделся, что ль?

— Да. За человека обиделся. Но... не ведаем, что творим.

— Аминь-с. Разрешите присесть?!

— Я разрешу, — сказал, добрая от частых рюмок, Фаворский, — но что? Какая цель ваша?

Чугунов не спеша перебрался со своей водкой за столик Фаворского. Устроившись поудобнее, сняв шапку и положив локти на стол, он налил рюмки, чокнулся, выпил, закусил крутым яйцом и сказал:

— Цели нет-с. А задели вы меня, да-с. Что есть пошлость, я, извольте видеть, понимаю-с, а как вы меня этим обозвали, то что же, по-вашему, наоборот?

— Наоборот? — Фаворский поднял брови и улыбнулся. — Поймете ли вы? Величие духа.

— Духа?

— Да.

— Души, то есть, это?

— Ну, души.

— Вот и задача. Вы с величием или без оногo?

— Человек, — грустно и важно сказал Фаворский, проливая водку, — человек, — знаешь ли ты, что были Рафаэль, Наполеон, Дарвин, Байрон, Диккенс, Толстой, Ницше и прочие?..

— Некоторых слышал.

— Они — люди.

— Все конечно.

— Брат мой! — вскричал Фаворский, — ты и я — во тьме. Но там... там, у них, сколько света, гения, подвигов, божественного восторга! Лучезарность! И слава! И высокое... выше горного снега! Вот образец!

— Сумнительно. Потому они, хотя и высоко летают, иначе было всего.

— Как — всего?

— А так. Водку пили... ну, вино, один черт, в карты играли и женщинами баловались.

— Вы глупый, Чугунов, очень глупый.

— Величия души не имею. Душа у меня, так говоря, тесная, с подковырцем. Зацепит за что — давай! А зацепок у меня не занимать стать. Да вы кто будете?

— Валентин Прокопиевич Фаворский, сын диакона, а служу... сейчас я не служу, без места.

— Так. С папашей изволите жить?

— Да... с папашей.

— Вот зацепки, я говорю. Пожрать, похрюпать, для меня первое дело. Нынче едок-то, знаете, более в зубах ковыряет, чем вилкой по жареному. Я на это дело крутой. Ем — за ушами трещит! Выпить горазд, чайку попить — ах, хорошо! И люблю я еще, друг ты мой, самую лакомую сладость, нежный пол; падок, падок я, охотник большой.

— Ты циник, — сказал, щурясь, Фаворский, — обжора и циник. Кто ты?

— Циник-с, как говорите.

— А еще?

— Лесом торгуем.

— Слушай же! — Фаворский закрыл лицо рукой, и пьяные слезы выступили на его глазах. Он смахнул их. — Эх! Слушай!

Сбиваясь, путаясь и волнуясь, стал он рассказывать о жизни Леонардо да Винчи, восхищаясь непреклонным, независимым духом великого флорентийца.

Чугунов слушал, выпивал и вздыхал.

Трактир закрывался.

II

Долго глухая декабрьская ночь ворочалась над Фаворским и Чугуновым, пока, присмотревшись друг к другу и блуждая из кабака в кабак, не пришли они к взаимному молчаливому соглашению. Суть этого соглашения можно выразить так, как выразил его, бессознательно, Чугунов: «Урезаю... и тово». Случилось же так, что Фаворский, подняв голову, увидел себя дома;

на столе перед ним горела свеча, валялись медные и серебряныя деньги, карты, а против Фаворского, скривив от жадности и усердия рот, сидел Чугунов, стараясь не разронять ползущие из хмельных пальцев карты.

— Прикуплю,— сказал Чугунов,— дай-ка праведную картишку.

— Мы где? — встряхнулся Фаворский.— Стой! Я узнаю. Ты у меня на кладбище. Но... кто кого?

— Чего?

— Кто кого привез сюда, мещанин? Ты меня, или же я тебя?

— Где упомянуть, ехали, водочки захватили...

— А... з-зачем?

— Для чтения. Как вы обещали меня убеждать. И обещал ты мне еще, ваше благородие, книгу о гениях подарить.

— Гадость! Гадость! — сказал Фаворский, и бледное, как бы зябкое лицо его подернулось грустью.— Как низко я пал, как срамен и мал я! Я слышу, вот лает собака... но где папаша? Где сестра Липа, девушка скромная, труженица... Где они, мещанин?

— Где? — посмотрев в колоду, переспросил Чугунов,— а их вы сперва Шекспиром выгнали, опосля поддали Бетховеном, они не стерпели, ушли, значит, к соседям, боятся вас.

— Меня?! Это обидно. Да, мне тяжело, мещанин. За что?

Игра снова наладилась. Чугунов явно мошенничал, и скоро Фаворский отдал ему все свои четыре рубля.

— Что ставишь? Выпей-ка! Во-от!

— Выпил. Нечего ставить мне; все.

— Чего там! Играй. Валяй на гениев, какие они у тебя есть

— Книжки? — удивленно воззрился Фаворский.— Гм... Однако.

— Однако! — передразнил Чугунов.— Мутят эти тебя книги, голова еловая, вот что! За ними ты, как за лесом, дерев не видишь! Жить бы тебе, как люди живут, без вожжи этой умственной. Эх! не я тебе отец, дедушка.

Злоба и страдание блеснули в глазах Фаворского. Молча подошел он, хватаясь за стены, к полке, где, аккуратно сложенная, желтела пачка тоненьких, четвертако-

вых книжек, бросил их с размаха на стол так, что, дрогнув копотью, прыгнул огонь в лампе, и грозно сказал:

— Мои постоят! Циник — я раздену тебя!

— Сию минуту. — Чугунов плотно пощупал книжки. — По гривенничку принимаю, ежели ставишь.

— По гривенничку! Хорошо. Чугунов, мечтал ли ты... в детстве... быть великим героем? А?

— Пороли меня, — сказал, тасуя карты, Чугунов.

В натопленной комнате, медленно выступая по холщовой дорожке, появился котенок. Наивно прищурившись на игроков, сел он и стал умываться. За окном белели снежные кресты кладбища. Звонко бил в чугунную доску сторож.

— Лессинга! — говорил Фаворский. — Пять.

— Семь.

— Свифт и Мольер!

— Прикуп. Четыре!

— Очко. Жри.

— Кого еще?

— Байрон. Нет, стой: полтинник. Байрон, Наполеон, Тургенев, Достоевский и Рафаэль.

— Много! Сними!

— Снял... Рафаэля.

— Ну, ладно. Мои: девять.

— Моцарт!

— Шесть!

— Тэн!

— Семь.

— Стэнли и Спенсер!

— Должно, англичане. Пять!

— Два. Мещанин, ты дьявол!

— Нет-с, Чугунов. Мы по лесной части.

— Данте, Гейне, Шекспир!

— Тебе сдавать.

— А где, мещанин, водка?

III

У свежей, еще пустой могилы, вспухшей по краям от мерзлой земли, выброшенной наверх заступом, качался подвешенный к палке фонарь. Могильщик ушел в сторожку подкрепиться; сторож, в складчину с ним, купил рябиновой, а горячая уха кипела на огненном шестке паром и брызгами.

Глухо, тихо было вокруг свежей могилы, ожидающей неизвестного своего хозяина. Под снежными елями войском стояли бесчисленные кресты, напоминая беспомощно распростертые руки странных существ. Мерещились во тьме решетки, следы по снегу вокруг них, покорные следы живых, вздыхающих у могил. Свет фонаря падал на заступ, брошенные тут же рукавицы и мерзлую глину.

Фаворский провожал гостя. Он был почти в бессознательном состоянии; дик и яр был разошедшийся Чугунов. Под мышкой у него торчала пачка выигранных книжек. Деревянный помост шел мимо могилы. Поравнявшись с ней, Чугунов заглянул в дыру и сказал:

— Похоронить разве?

— Кого?

— Я денег не жалею,— сказал, подбоченясь, Чугунов.— Что я выиграл, то это есть удовольствие. А? Могу я распорядиться?

Фаворский, покачиваясь, молчал.

— В яму! — вскричал Чугунов и, взяв пачку, швырнул ее в пасть земли.— Вот как есть мое имущество. Как звали-то их?

— Г-гюго...

— Ну вот: в дыру. А еще?

— Гегель...

— В дыру!

— К-кант...

— В дыру! А хочешь, я тебе часы покажу? Вчера задешево купил.— Он наклонился над могилой и ухмыльнулся.— Не смущай!

— Х-хочу! — сказал, заливаясь слезами, Фаворский.— Всего хочу! Чаю, и жратвы, и пирожков! И водочки! И часов! И женщин! Голодный я! Милый! Поедем! А?

— Что ж! — весело сказал Чугунов.— Прогулять разве десятку еще? Позабавил ты меня, Валентин...

Чуть рассвело. Фаворский по розовой от зари снежной тропинке шел через пригородный лесок к кладбищу. В пушистом лесу было чисто и тихо, как в облаках, когда, застыв над полями, белеют они воздушно и стройно. Искристые хлопья снега висели кругом, и ели, ометанные розовыми сугробами, светились под зимним голубым небом.

Наступал праздник, но не для тех, кто рождается раз и умирает один только раз и боится этого. Да и родился ли Фаворский когда-нибудь? Не всегда ли он жил, питаясь великими мертвецами?

ЧЕЛОВЕК С ЧЕЛОВЕКОМ

— Эти ваши человеческие отношения,— сказал мне Аносов,— так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли — настоящее, пока доступное счастье.

Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником.

Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний; знакомство наше состоялось случайно, у станционного буфета. Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания: с длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными, большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику полуулыбкой, он производил впечатление человека незаурядного, или, как говорят в губерниях,— «заинтриговывал». Ему, вероятно, было лет пятьдесят — пятьдесят пять, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе.

— Да,— продолжал Аносов медленным своим низким голосом, смотря в окно и поглаживая бороду большой белой рукой с кольцами,— жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вожделений, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или — что еще хуже — благородства самодовольного; терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь, или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано «инстинктивной антипатией», — нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток

чужих воль стремится покорить, унижить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи; он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком мироприятия языческого или, преследуя отдаленную цель, поставить ее меж собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков, противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь острого болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу вымотришь и поймешь такого. Большинство их гибнет, или ожесточается, или уходит.

— Да, это закон жизни,— сказал я,— и это удел слабых.

— Слабых? Далеко нет! — возразил Аносов. — Настоящий слабый человек плачет и жалуется оттого, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке, так как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я,— люди — увы! — рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них — источник постоянных страданий, а сознание, что зло, — как это ни странно, — естественное явление, усиливает страдание до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся областей духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия, людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла.

Я немного поспорил, доказывая, что зло — понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с Аносовым, хоть не во всем, — так, например, я думал, что таких людей нет.

Он выслушал меня внимательно и сказал:

— Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что «добро» — понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые; это ничего, так как нам помогает ассоциация и около двух коротеньких слов кипит множест-

во представлений. Но возвратимся к нашим особенным людям. Частица их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеют большой успех, и успех чистый, такие произведения, как Робинзон Крузо,— что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого слита в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление Пятницы ослабляет интерес повести; своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уже не Робинзон только; он делается «Робинзон-Пятница». Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент— вы — не вы, как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь и кто ничтожной, но ужасной властью случайного движения — усмешкой, пожатием плеч, жестом руки — может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой невероятной зависимости друг от друга живут люди, и, если бы они вполне сознали это, без сомнения, слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными; действиями думающего человека.

Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке, в лугах; девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем; кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владельцев острова, что им здесь очень хорошо и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии: они стояли у воды, держась за руки, в траве, и шурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях.

Он наклонился ко мне, как бы выпрашивая взглядом, что я об этом думаю.

— Меня интересует,— сказал я,— возможна ли защита помимо острова и монастыря.

— Да,— не задумываясь, сказал Аносов,— но редко, реже, чем ранней весной — грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона, сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. «Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя-Софии,— говорит легенда,— священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором». Это — легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их.

Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум.

Аносов сказал:

— Кое о чем хотелось бы рассказать вам. А может быть, вы мало интересуетесь этой темой?

— Нет,— сказал я,— что может быть интереснее души человеческой?

— В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими не имеющими ночлега людьми полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен.

Подремывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решился и,— не скрою,— заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками.

У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился, но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем.

Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный.

— Обождите немного, — сказал он, — я хочу поговорить с вами. Разочарованы?

— Нет.

— Голодны?

— Очень голоден.

— Давно?

— Да... два дня.

— Пойдемте со мной.

В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись, я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный, грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша.

— Не удивляйтесь, — сказал он, кончив смеяться. — Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег.

— Да, на свете, но не у меня же.

— Возьмите.

— Я не могу найти работы.

— Просите.

— Милостыню?

— О, глупости! Милостыня — такое же слово, как все другие слова. Пока нет работы, просите — спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны — просящий и дающий, и воля дающего остается при нем — он может дать или не дать; это простая сделка и ничего более.

— Просите! — с горечью повторил я. — Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу.

— Конечно.

— О чем же вы говорите тогда?

— Не обращайтесь внимания.

Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретили женщина

и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин; я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами; так это и было.

Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол (собака сидела тут же, на полу) и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель.

— Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины — лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое — одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало — в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Годара; «К Анне» — Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, — нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.

— Эгоизм или не эгоизм, — сказал я, — но к этому нужно прийти.

— Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.

И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!

РЕДКИЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ

I

За Зурбаганом, в местности проклятой самим богом, в голой, напоминающей ад степи, стояла каменная статуя, изображающая женщину в сидячем положении, с руками, поднятыми вверх, к небу, и глазами, опущенными к земле. Никто из жителей окрестностей Зурбагана не мог бы указать происхождения этой статуи, никто также не мог объяснить, кого изображает она. Жители прозвали статую «Ленивой Матерью» и с суеверным страхом обходили ее. Как бы то ни было, это ничтожное каменное отражение давно прошедшей и давно мертвой жизни волей судьбы и бога уничтожило двух людей.

Смеркалось, когда старый рудокоп Энох вышел за границу степи, окружающей Зурбаган. В рудниках Западной Пирамиды Энох заработал около двух тысяч рублей. Его жена, мать и брат жили в Зурбагане, он шесть месяцев не видал их. Торопясь обнять близких людей, Энох ради сокращения пути двинулся от железнодорожной станции хорошо знакомыми окольными тропинками, сперва — лесом, а затем, где мы и застаем его, — степью. Ему оставалось не более двух часов быстрой ходьбы.

Несколько дождевых капель упало на руки и лицо Эноха, и рудокоп поднял голову. Тревожный, бледный свет угасающего солнца с трудом выбивался из-под низких грозных туч, тяжело взбиравшихся к зениту над головой путника. Фиолетовая густая тьма зарокотала едали глухим громом, полным еще сдерживаемой, но готовой разразиться неистово ярости. Энох сморщился и прибавил шаг. Скоро дождь хлынул ливнем, а из грома, закипев белым трепетом небесных трещин, выросли извилистые распадаения молний. Почти непрерывно, с редкими удушливыми моментами тишины, ударял гром. Содрогающийся ослепительный блеск падал из темных туч вниз на крыльях ветра и ливня. Энох, смокший насквозь, не шел, а бежал к «Ленивой Матери». Он и раньше впал ес, а теперь, заметив ее изда-лека, поспешил под ее сомнительное прикрытие. Статуя то появлялась, то исчезала, смотря по силе небесных

вспышек. Достигнув подножия двухсаженного изваяния, Энох увидел, что меж ногами идола сидит, как в будке, плохо одетый человек. Человек этот пристально смотрел на него.

II

Рудокоп не был трусом, но деньги, зашитые в его кожаном поясе, гроза, действующая на нервы, и уныло замкнутое лицо неизвестною испортили ему настроение, которое, несмотря на дождь, благодаря близости дома было до этого весьма бодрым. Он кивнул сидевшему и оперся плечом о квадратное колено изваяния. Успев заметить, что неизвестный держит в руках старое одноствольное ружье, что лицо его трудно представить улыбающимся и что на его левой руке не хватает среднего пальца, Энох сказал:

— Хорошее местечко выбрали вы себе, сосед. Правда, из-за этого колена мне не бежит, как раньше, вода за воротник, но все-таки брызжет на голову.

Сидевший внимательно осмотрел Эноха и кивнул головой.

— Вы от станции? — спросил он.

— Да.

— Значит, сбились с дороги. Нужно было забирать левее, к холмам.

— Я здешний, — возразил рудокоп. — Все дороги я знаю, но это направление сокращает путь.

— Сокращает путь? — повторил незнакомец. — Возможно... Судя по костюму, вы работали в горах на западе?

— Работал, — неохотно ответил Энох и замолчал.

Сердце его, вдруг затосковав, сжалось. Незнакомец не сказал ничего, кроме самых естественных при этой оригинальной встрече фраз, но рудокопу захотелось уйти. Сунув руку в карман, где лежал револьвер, он украдкой посмотрел на сидевшего. Тот, опустив глаза, легонько посвистывал. Ветер усилился. Уши Эноха начали уже привыкать к неистовому громовому реву, но тут раздался такой взрыв, что он невольно нагнул голову. Молния чрезвычайной силы и длительности замела степь. Незвестный сказал:

— Давно уже собираюсь я навестить рудники. Там хорошо платят.

— Да, хорошо! — вздрогнул и слишком поспешно вдохнул Энох. — Знаете, хорошо там, где нас нет. Вот когда я был молодым, тогда действительно зарабатывал, а теперь — старость... собачья жизнь... А что, — продолжал он, намекая на профессию охотника, — разве лисы и бобры ходят теперь без шкур?

Незнакомец, ничего не ответив, снова опустил голову.

— Пойду, пожалуй, — сказал Энох, — небо проясняется.

— Что вы! Идут новые тучи!

— Это ничего... ветер стихает.

— Ого! Ревет, как водопад!

— Да и дождь, кажется, сдал. Надо идти.

Сказав это, Энох крепко сжал в кармане револьвер и шагнул в степь. Через мгновение за его спиной стукнул выстрел, и пуля, выскочив меж лопаток сквозь грудь, разорвала сердце. Энох упал около статуи. Неизвестный, вложив новый патрон, смотрел некоторое время, скосив глаза, как слабо шевелятся на земле руки убитого, сводимые судорогой агонии, затем, встав, присел на корточки возле Эноха.

— Глупо было бы не воспользоваться случаем при виде такого толстого кожаного пояса, — сказал он. — А он еще толковал мне о лисьих шкурках! Нет! Я, старый Бартон, знаю, что делаю. Ну-ка, поясок, вскройся!

Он разрезал ножом трехфунтовое утолщение пояса и с руками, полными денег, удалился на сухое место меж ногами статуи, где, перегрузив добычу в карманы, сидел несколько минут, стараясь побороть возбуждение убийством и сообразить, в какую сторону удалиться. Когда это было решено им в пользу одного из кабаков Зурбагана, Бартон встал и вышел под дождь. Тут ожидала его крупная неприятность. Волна белого огня молнии, сопровождаемая потрясающим небесным ударом, одела статую с вершины до земли жгучей, сверкающей пеленой, и Бартон, потеряв сознание, ткнулся лицом в землю.

Часа два оглушенный и мертвый лежали рядом. Тучи, отдав земле всю бешеную влагу, скрылись, и над ночной степью показались тихие звезды. Холод ночи оживил Бартона. Шатаясь, с трудом поднялся он на занывших руках, потом сел, хватаясь за обожженный заты-

лок. Сознание медленно возвращалось к нему. Отдохнув, он направился в Зурбаган.

III

К вечеру следующего дня в одну из Зурбаганских больниц доставили пьяного, сильно израненного ножами в драке человека. Его звали Бартон. Он, страшно ругаясь, рассказал, что его товарищи вздумали смеяться над ним, уверяя, будто на его шее существует татуировка, и высказали предположение, что кто-нибудь подшутил над ним во время пьяного сна, поместив рисунок на таком странном месте. Он, разумеется, парень горячий и т. д., и себя в обиду не даст и т. д., и сейчас же схватился за нож и т. д., и его исколотили.

Он рассказывал это в то время, когда ему делали перевязку. Доктор, зайдя сзади, посмотрел на шею Бартона.

— Какое-то синее пятно,— сказал он,— вероятно, синяк.

— Вот это может быть,— подхватил Бартон, рассматривая рану выше локтя, из которой обильно текла кровь.— Я никому не позволю смеяться, ей-богу.

Доктор, щурясь, нагнулся все ближе к Бартоновой шее.

— Когда тебя так хватит громом, какхватило меня,— продолжал Бартон,— я думаю, будет синяк.

— А васхватило? — спросил доктор.

— Еще как! Яшел это, понимаете, близ ручья, как треснет сверху! Я и полетел через голову!.. Да ничего, кость здоровая.

Доктор взял губку, смочил ее и потер шею Бартона.

— Это-то ничего,— сказал тот,— вот в боку дыра — это поважнее.

— Ну, все-таки,— сказал доктор,— лечить, так лечить!

Бартон начал стонать. Доктор, приблизив к шее Бартона сильную лупу, увидел интересную вещь. На белой полоске кожи ясно обозначался рисунок синего цвета, похожий на старинные фотографии; контуры его были расплывчаты, но до странности походили на всем известную статую «Ленивой Матери». Поднятые вверх

руки статуи обозначались особенно ясно. Внизу с раскинутыми руками и ногами лежал человек.

— Да, это синяк,— сказал доктор,— синяк и ничего более... Подождите немного.

Он вышел в другую комнату, думая о том, как неожиданно открылся автор преступления, беспокоившего зурбаганцев. Вскоре явился вызванный в больницу начальник полиции.

— Первый раз в жизни слышу о такой штуке! — воскликнул он на заявление доктора.

— То ли еще делает молния,— возразил доктор.— Молния фотографирует иногда еще удачнее, чем в этом случае. А что вы скажете на свидетельство науки, что молния, не ранив человека, может раздеть его донага, не расстегивая воротника и манжет и не развязывая башмачных шнурков? Все это — загадочные явления одного порядка с действием смерча, когда, например, черепицы на крышах оказываются перевернутыми в том же порядке, но левой стороной вверх. Нет, снимок вышел удачный.

— Надеюсь,— сказал чиновник,— что этих ручных кандалов, что у меня в руках, не снять даже молнии. Я иду надеть их на негатив.

ПОКАЯННАЯ РУКОПИСЬ

I

Пишу сии строки 10-го октября 1480 года от рождения господа нашего Иисуса Христа. Наступило по благословию божиему время покаяться и признаться в совершенном мною неслыханном преступлении.

Измученный укорами совести, взял я и очинил это перо, дабы все знали о гнусном и корыстном поведении звонаря церкви св. духа, ныне добровольно предающего себя палачу.

Описывая ход событий, ранее свершенных, расскажу о них, как бы лично мной узренных, дабы уяснили се-

бе читающие сие, сколь велико благородство слуги герцога Поммерси Ганса Пихгольца и сколь черна подлость моя — звонаря Валера Оствальда.

II

Множество дождливых и ветреных туч скрывало над крышами города Амстердама свод небесный, когда герцог Поммерси, уличенный в заговоре против моего отечества, вынужден был ночью бежать из своего дома, бросив на конфискацию все имущество и захватив лишь ящик с бриллиантами, кои, по ценности их, достигали до суммы в пятьсот тысяч талеров. Карета ожидала герцога за городом, и он в сопровождении телохранителя своего Ганса Пихгольца спешил, закутавшись в плащ, пересечь площадь Ратуши.

Ганс, человек сорока пяти лет от роду, беспримерно преданный герцогу и его семейству, проживавшему в Дувре, был как телохранитель весьма удобен своей физической силой. Он убивал ударом кулака лесного кабана и мог с легкостью подавать на второй этаж постройки двенадцатидюймовые бревна. При всем этом Ганс был тихий, примерно вежливый человек, но мог съесть много и с удовольствием, так что, присев однажды в Бремене к котлу, изготовленному на десять ландскнехтов, опустошил его самолично в малое время.

Ящик был спрятан на груди у герцога, человека старого и хилого, а Ганс шел впереди с палкой. Углубившись в переулок, заметили беглецы, что некие перебегающие тени закрывают узкий проход, окружая путников. Ганс и герцог остановились. Поммерси вытащил пистолет, но, не решаясь стрелять, дабы не привлечь внимания стражи, что было ему более невыгодно, чем даже грабителям, ограничился шпагой.

III

Пятнадцать вооруженных кинжалами и рапирами человек бросились на Ганса и герцога. Герцог, защищая жизнь и имущество, сражался отчаянно, успешно ранив двух или трех из нападавших. Схватка происходила

в полном молчании — слышались лишь звуки ударов и падения тел. Наконец, свет потайного фонаря, направленный прямо в глаза герцога, ослепил его, и он, нанеся неверный удар, упал, сам пробитый длинной рапирой. Герцог вскрикнул:

— Ко мне, Ганс!.. — и лишился сознания.

То видя, Ганс, бросив считать врагов и опасаться их направленных на него ударов, обезумел от бешенства, что делало его сокрушительным, как таран или пушечное ядро. Быстро схватив за плечи двух ближайших разбойников, он стукнул их лбами, отчего произошла мгновенная смерть и трупы повалились к его ногам. Затем вырванным из мостовой камнем он убил еще трех, а остальные разбежались. Тогда, склонившись над умирающим герцогом, Ганс услышал его слова, сказанные так тихо, что сомневаться в скором конце благородного Поммерси было невыносимо:

— Ганс, ради господина нашего Иисуса Христа, сохрани алмазы для моей осиротевшей семьи.

Ганс заплакал и, видя, что герцог, судорожно содрогаясь, мучается в преддверии смерти, тихо спросил:

— Где спрятать их?

Однако, не получив ответа, признал скорбную действительность, взял спрятанный на груди герцога ящик с бриллиантами и поспешил ко мне, Валеру Оствальду, звонарю церкви Св. духа.

IV

Теперь, к ужасу и стыду своему, я должен признаться, что Ганс был старым моим другом. Я часто посещал его, равно и он меня. Таким образом, направился он ко мне, в местность уединенную и глухую, на краю города.

Я спал, когда легкий стук в окно, заставивший стекло треснуть, разбудил меня. Взяв свечу, я вышел через притвор к двери. Отомкнув ее, увидел я Ганса, белого лицом как воск, с окровавленными руками.

— Скорей, скорей! — шепнул он. — Пропусти меня. Беда. Все пропало, и я пропал...

Видя его смятенным, я быстро закрыл дверь и потащил Ганса в свое помещение, где он прежде всего попросил вина. Быстро осушив кружку, Ганс сказал:

— Валер, гроша не стоит теперь моя жизнь... Вот что случилось...

И он рассказал описанное перед тем мною.

— Ради бога, спрячь у себя пока вот это, здесь все имущество погибшего герцога. Меня же будут разыскивать, поэтому я не смею держать при себе. Спрячь.

И Ганс раскрыл передо мной ящик, откуда при слабом пламени свечи хлынул такой блеск алмазного пожара, что я, грешный человек, задохнулся от испуга и жадности.

— Постой,— сказал я,— постой, Ганс... Дай мне подумать.

Но я думал уже лишь о том, как завладеть сим несметным богатством. Дьявол (не к ночи будь помянут сей общий враг) помогал мне. И вот — о горе! — я послушался дьявола. Ничего не стоило обмануть простодушного Ганса.

V

— Слушай,— сказал я после долгого, весьма долгого молчания,— спрятать нужно в такое место, где уж не нашли бы никак. Кто знает, не проследили ли тебя те, кому это нужно, и не ждут ли они стражи, дабы отнять ящик? Поспешим, ты должен помочь мне.

Сказав это, я встал и сделал знак Гансу следовать за мной. Мы вышли на витую лестницу, устроенную внутри колокольни, и поднялись к угрюмо высоко над нами висевшим колоколам.

— Вот видишь этот большой колокол? — сказал я Гансу.— Если привязать ящик к петле языка внутрь, то кто бы мог подумать, что бриллианты висят там? Тем временем ты тайно проберешься в Дувр и сообщишь об этом осиротевшей семье. Кто-либо, посланный семьей, посредством условного знака, о коем мы подумаем, даст знать мне, что сим заслуживает доверия, и я вручу ему ящик. Но, не желая брать ящик сей лично в руки и лезть с ним наверх, дабы, в случае пропажи хотя одного камня, не подозревали меня,— прошу тебя самого выполнить укрепление ящика внутри колокола.

Ганс обнял меня и поцеловал, и я, как Иуда, без краски в лице обратно поцеловал его. После того я приставил к купольной балке, на коей висели колокола, лестницу длиной в 50 футов, поближе к краю колокола, и Ганс, держа ящик в зубах, полез наверх.

Волнение мое было столь сильно, что я сдерживал рукой сердце. Лишь таким хитроумным способом мог я убить Ганса; иначе же, как бы я ни подступал к нему, он убил бы меня первый. Размышляя, волнуясь и приготавливаясь к решительному шагу, смотрел я, задрав голову, слабо различая Ганса, повисшего, обхватив ногами язык, внутри колокола.

— Готово,— сказал он,— я привязал ящик ремнем из сырой кожи очень крепко.

Тогда я быстро отнял лестницу. Нога Ганса, ища ступеньку, шарила в воздухе с усилием, от которого жалось мое сердце, но я был тверд.

С подлостью настоящего злодея, не узнавая сам своего голоса, я сказал:

— Дорогой друг мой Ганс, лестница убрана... Я хочу, чтобы эти алмазы были моими... Ты повисишь, устанешь, упадешь на всю высоту колокольни, сквозь все ярусы... и разобьешься в лепешку. Прости, господи, твою душу, а ты прости мою, ибо я слаб и не осилил искушения. Прощай!

С этими словами, при глубоком ужасном молчании сверху, я, чувствуя над своей головой ликующую погоню всех адских сил, сбегал вниз и сел у себя в сторожке, ожидая услышать гул падения тела, чтобы вытереть затем кровь в притворе, свезти труп в ручной тележке к протекавшей вблизи реке и там утопить его.

VI

Не знаю, сколько прошло времени, когда я, пылая в огне страха, жадности и тревоги, услышал хотя гулкий, но странный звук падения некоего предмета. Осветив пол, увидел я противу дверей лежащее на плитах нечто, наполнившее меня по ближайшем рассмотрении безумным восторгом. То был ящик с алмазами: по-видимому, желая подкупить меня, Ганс бросил его. Мог ли я, однако, отпустить Ганса? Нет! Мне угрожала бы смерть от его разъяренных рук.

Взяв ящик, я услышал далеко наверху тихий подавленный стон. Бедняга, по-видимому, прощался с жизнью. Вслед затем, едва не убив меня, к ногам моим, загудев эхом удара в притворе, хлопнулся кровавый мешок с костями — труп Ганса. Едва не лишаясь сознания, нагнулся я к нему. Оскал зубов Ганса, лицо коего стало теперь синей маской, блестел странным блеском. Ужасная мысль мелькнула в моей голове: быстро развязав и раскрыв ящик, я увидел, что он пуст.

Вне себя от происшедшего, проклиная уже преступное свое злодеяние, осветил я рот Ганса. Там, не успевшие еще быть проглоченными, торчали, стиснутые зубами, два-три алмаза... Но кровью отливал их блеск... Я зарыдал, прося бога простить мне мгновенное мое помешательство. Я бил себя в грудь и целовал Ганса, а затем, вывезя труп на тележке в сад, зарыл его тщательно под тополем. Преданность и верность Ганса глубоко потрясли меня.

Через день мною было послано в Дувр письмо к жене герцога Поммерси с точным указанием места могилы Ганса и добавлением:

«Ваши бриллианты, герцогиня, при нем, в нем, под его сердцем, умевшим так бескорыстно и преданно любить тех, кому он служил».

Теперь судите меня, люди и бог. Перед смертью желаю лишь одного: да будет удар топора по шее моей легок и незаметен для того, кто при жизни был звонарем и звался Валером Оствальдом и чью душу ждет теперь пламя ада...

.

Это простодушное изложение зверского преступления отыскано в бумагах художника Гойя, большого любителя подобных рукописей.

ПРИМЕЧАНИЯ

АЛЫЕ ПАРУСА. *Фесерия.* Впервые — отдельным изданием: М.—Пг., Л. Д. Френкель, 1923. Глава «Грэй» опубликована ранее в газете «Вечерний телеграф», 1922, 8 мая.

В посвящении повести своей жене — Нине Николаевне Грин, А. С. Грин поставил дату 23 ноября 1922 года. Однако можно считать, что первоначальный замысел «Алых парусов» возник в середине 1916 года, когда был написан набросок «Сочинительство всегда было внешней моей профессией». По воспоминаниям современников А. С. Грин писал свою фесерию в 1920 году в писательской коммуне в Доме искусств в Петрограде.

Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением на обоих мачтах.

Ревостиция — словообразование А. С. Грина.

Летучий Голландец — в морских преданиях — корабль-призрак, покинутый экипажем или с экипажем из мертвецов, как правило, предвестник беды.

Фантом — привидение, призрак.

Лафит — сорт вина.

Аликанте — вино, названное по местности в Испании.

Кромвель, Оливер (1599—1658) — вожь английской буржуазной революции XVII века.

Робин Гуд — легендарный герой английских народных баллад, неустрашимый атаман разбойников, защитник угнетенных от произвола феодалов.

Бушприт (прав.— бушприт) — здесь: носовая оконечность судна.

Бакборт — левый, по ходу судна, борт.

Бак — носовая часть верхней палубы; носовая надстройка.

Орфей — в древнегреческой мифологии — певец, пение которого очаровывало не только людей, но и диких зверей, деревья, скалы, реки.

Леер — туго натянутая веревка или трос, оба конца которого закреплены. *Леера* — ограждения на судне.

Стеньга — верхняя часть мачты.

Кнек (кнехт) — чугунная или деревянная тумба; кнехты могут быть расположены попарно для закрепления швартовых — канатов, которыми судно крепится к причалу.

Трехмачтовый галиот — ошибка А. С. Грина. Галиот — двухмачтовое парусное судно прибрежного или внутреннего плавания.

Штуртрос — цепной, из троса или комбинированный, привод от рулевого колеса к румпелю.

Кливер — косой парус впереди фок-мачты.

Арабеска — здесь: музыкальное произведение, причудливое и непринужденное по своему характеру.

Арнольд Беклин (1827—1901) — швейцарский художник, автор картин на мифологические сюжеты.

Иона — библейский пророк, по преданию, побывавший в чреве кита и вышедший оттуда невредимым.

Мурена — крупная морская рыба.

Пороховая ступка Бертольда — Бертольд Шварц, францисканский монах, один из первых изобретателей пороха и огнестрельного оружия в Европе XIV века.

Аспазия (V век до н. э.) — одна из выдающихся женщин Древней Греции, супруга афинского вождя Перикла.

БЛИСТАЮЩИЙ МИР. Роман. Впервые — журнал «Красная Нива», 1923, №№ 20—30. С большими сокращениями и изменениями отдельным изданием: М-Л, Земля и фабрика, 1924. Роман был написан А. С. Гриниом в 1921—1923 годах, на рукописи стоит дата 2 марта 1923 года, на печатном тексте 28 марта 1923 года.

Нерон (37—68) и *Гелиогабал* (прав. Элагабал 204—222) — римские императоры, чье правление отличалось деспотизмом и жестокостью.

Барнум — знаменитая цирковая династия XIX—XX веков, по фамилии ее основателя — владельца цирка в США.

A giorno (итал.) — как днем.

Каданс — здесь музыкальный эпизод виртуозного характера, исполняемый без сопровождения оркестра.

Клир — общее название служителей какой-либо церкви

Веды — книги древних индийцев, содержащие религиозные стихи, гимны, песни, а также светские произведения.

Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.

Лев VI — римский папа (X век).

Нострадамус (1505—1566) — знаменитый астролог.

Роланд — герой средневековой французской поэмы «Песнь о Роланде», историческим прототипом которого был маркиз Хруотланд, павший в бою с басками в 778 году.

Стикс — в древнегреческой мифологии — река, за которой обитали души умерших.

Фанданго — испанский народный танец.

Трильби — героиня одноименного романа английского писателя Джорджа Дюморье (1834—1895).

Санта-Лючия — итальянская народная песня, приведена А. С. Грином неполностью и неточно.

Калигула (I век н. э.) — римский император, известный своей жестокостью и причудами.

Катриона — героиня одноименного романа Р. Л. Стивенсона.

Махаоны — большие дневные бабочки из семейства парусников.

..обращенных вниз больших пальцев. — В Древнем Риме на состязаниях гладиаторов император обращенным вниз пальцем подавал знак убить побежденного.

Кохинур — индийский алмаз, один из крупнейших в мире.

Сады Гесперид — в древнегреческой мифологии — сады, где жили нимфы, дочери Атланта и Геспериды, охраняемые столбовым драконом.

Сарацины — в древности кочевое племя в Аравии, в средние века название это распространилось на всех арабов.

Кикс — неудачный удар при игре на бильярде.

Леандр и Гери — жрица Афродиты Гери любила Леандра, переплывавшего к ней через Геллеспонт. Когда Леандр погиб в бурном море, Гери бросилась с башни в воду.

«Пища богов» — роман Г. Уэллса.

ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Искатель приключений. Впервые — журнал «Современный мир», 1915, № 1.

Земля и вода. Впервые — журнал «Аргус», 1914, № 14.

Сладкий яд города. Впервые — журнал «Аргус», 1913, № 10.

Капитан Дюк. Впервые — журнал «Современный мир», 1915, № 8.

Линк — короткая веревка, тоньше одного дюйма (25 мм), с узлом на конце, служившая на судах для наказания.

Авессалом — сын библейского царя Давида, умер, запутавшись волосами в листве дуба.

Фрахт — плата за перевозку груза, здесь: предложение о перевозке.

Шкворень (шворень) — стержень, вставляемый в переднюю ось повозки, как рычаг поворота.

Рым — железное кольцо для швартовки, привязывания канатов, других снастей.

Охота на хулигана. Впервые — журнал «Аргус», 1915, № 6. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 11, Л., Мысль, 1928.

Львиный удар. Впервые — журнал «Огонек», 1916, № 2. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 8, Л., Мысль, 1929.

Всемирный теософический союз — вымышлен А. С. Грин. Теософия — религиозно-мистическое учение о единении человеческой души с богом и о возможности непосредственного общения с потусторонним миром.

Повесть, оконченная благодаря пуле. Впервые в сокращенном виде — журнал «Отечество», 1914, № 5. Первая полная публикация в кн. «Искатель приключений», М, 1916. В журнале после. «Его романы... к выгодным для себя преувеличениям» — следовало: «Сколько несовершенных вещей бросил он, видя их независимую от него естественную тенденцию стать простым изображением жизни, что почиталось им за грех, как вульгарность. Так, даже в произведениях своих уходил он от понимания жизни и работы над ней...».

Возвращенный ад. Впервые — журнал «Современный мир», 1915, № 12.

Аграф — нарядная пряжка или застежка.

Платшир — брус по верхнему краю бортов шлюпок или поверх фальшборта у больших судов.

Продавец счастья. Впервые — журнал «Аргус», 1913, № 9.

Жена Пентефрия (Потифара) по библейской легенде соблазнила Иосифа Прекрасного.

Убийство в рыбной лавке. Впервые — журнал «Аргус», 1915, № 4.

Птица Кам-Бу. Впервые — журнал «Русская иллюстрация», 1915, № 21.

РАССКАЗЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ А С ГРНПОМ
В СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЛЯ СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИИ ИЗД-ВА «МЫСЛЬ»

Рук а. Впервые — газета «Биржевые ведомости», утр. вып., 1908, 3 февраля.

Л с б е д ь. Впервые — журнал «Неделя «Современного слова», 1908, № 14.

И г р у ш к а. Впервые — журнал «Неделя «Современного слова», 1908, № 14.

Е р о ш к а. Впервые — газета «Маяк», 1908, 2 октября.

Н а к а з а н н е. Впервые — Литературное приложение к газете «Петроградский листок», 1916, 15 (27) декабря. В другой редакции, под заглавием «Каюков», газета «Маяк», 1908, 24 сентября (7 октября).

П о ч л е г. Впервые — журнал «Всемирная панорама», 1909, № 21.

В с н е г у. Впервые — журнал «Всемирная панорама», 1910, № 62.

Р е к а. Впервые — журнал «Весь мир», 1910, № 15.

В о з в р а щ е н и е «Ч а й к и». Впервые под заглавием «Серебро Юга» — журнал «Весь мир», 1910, № 22. Для публикации 1916 года (альманах «Новая жизнь», № 5) А. С. Грин значительно изменил рассказ, шхуна и действующие лица названы русскими именами.

Индиго — синяя краска, добываемая из растений.

Шканцы — часть верхней палубы между средней и задней мачтами судна.

Ют — кормовая часть верхней палубы судна.

П а с с а ж и р П ы ж и к о в. Впервые под заглавием «Заяц» — журнал «Всемирная панорама», 1912, № 2, под заглавием «Тоскливый заяц» — журнал «XX-й век», 1915, № 35.

Ремингтон — марка пишущей машинки начала века.

Т я ж е л ы й в о з д у х. Впервые под заглавием «Летчик Кириши» — журнал «Весь мир», 1912, № 26.

Фарман — тип самолета, названный по имени конструктора.

П р о х о д н о й д в о р. Впервые — журнал «Неделя «Современного слова», 1912, № 232.

«*Аквариум*», «*Олимпия*» — названия петербургских ресторанов.

Г р а н ь к а н с г о с ы н Впервые — журнал «Неделя «Современного слова», 1913, № 260.

Пестрядинная — из грубой льняной или бумажной ткани, обычно домотканой.

Туес — берестяной короб.

Пестерек — здесь: кулек.

Т р и п о х о ж д е н и я Э х м ы. Впервые — «Синий журнал», 1913, № 36.

Понсон дю Террайль (1829—1871) — французский писатель, автор «Похождений Рокамболя».

Буаюб» (Фортюне дю Буагобей, 1821—1891) — французский писатель.

Жизнеописание великих людей. Впервые — журнал «Солнце России», 1913, № 51; с многочисленными измене-

ниями — Литературное приложение к газете «Петроградский листок», 1916, 5 (18) мая.

Четвертаковые книжки — книги, стоимостью 25 коп.

Человек с человеком. Впервые — газета «Раннее утро», 1913, 28 декабря.

Айя-София — храм в Константинополе.

Годар, Бенжамен Луи Поль (1849—1895) — французский композитор и скрипач

Редкий фотографический аппарат. Впервые — журнал «Геркулес», 1914, № 10; под заглавиями. «Огненная стрела» — «Петроградский листок», 1916, 24 ноября; «Предательское пятно» — «Экран Рабочей газеты», 1924, № 23 (35).

Покаянная рукопись. Впервые под заглавием «Как силач Ганс Пихгольц сохранил алмазы герцога Поммерси» — журнал «Геркулес», 1914, № 11 (37). Рассказ подписан псевдонимом Эльза Моравская.

Ю. Киркин

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЫЕ ПАРУСА. <i>Феерия</i>	3
БЛИСТАЮЩИЙ МИР. <i>Роман</i>	70

ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Искатель приключений	225
Земля и вода	251
Сладкий яд города	265
Капитан Дюк	276
Охота на хулигана	296
Львиный удар	306
Повесть, оконченная благодаря пуле	315
Возвращенный ад	328
Продавец счастья	357
Убийство в рыбной лавке	367
Птица Кам-Бу	374

РАССКАЗЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ А. С. ГРИНОМ В СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЫСЛЬ»

Рука	380
Лебедь	385
Игрушка	391
Ерошка	395
Наказание	400
Ночлег	404
В снегу	409
Река	413
Возвращение «Чайки»	419
Пассажир Пыжиков	432
Тяжелый воздух	439
Проходной двор	446
Гранька и его сын	453
Три похождения Эхмы	459
Жизнеописание великих людей	464
Человек с человеком	471
Редкий фотографический аппарат	477
Покаянная рукопись	481
Примечания	487

А. С. ГРИН

Собрание сочинений
в шести томах

Том III

Редактор тома
Вл. Россельс

Оформление художника
А. И. Неровного

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 04.04.80 Подписано к печати 15.07.80
Формат 84×108¹/₄ Бумага типографская № 1
Гарнитура «Академическая» Печать высокая
Усл. печ. л. 26,46 Уч.-изд. л. 27,01 Тираж 600 000 экз.
(1-й завод. 1 — 200 000) Изд. № 1782 Заказ № 305
Цена 2 р. 50 к

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, 125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24

Отпечатано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16

Индекс 70687

2155